

ISSN 0201-470 X



Альманах XXII
библиофила

Всесоюзное добровольное общество любителей книги



**Выпуск посвящается
70-летию
Великой Октябрьской
социалистической революции**

Альманах АБ библиофила

Альманах библиофила

Выпуск 22

Главный редактор
Е. И. Осетров

Ответственный секретарь
Л. В. Букина

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

И. В. Абашидзе, К. С. Айни, О. М. Виноградова,
В. И. Десятерик, Н. Х. Еселев, Е. А. Исаев,
А. И. Калашников, Е. П. Кирилук, В. В. Кожин, В. В. Кожинов,
А. Ф. Курилко, В. Я. Лазарев, Д. С. Лихачев,
Ю. П. Некрошюс, Е. Л. Немировский, А. И. Овсянников,
Л. А. Озеров, П. В. Палиевский, В. А. Петрицкий,
В. Г. Утков, В. В. Чикин

Художник
В. В. Вагин

Книга
и
Кухня



Искусство, объединяющее собой людей в человечество, поучающее людей взаимопониманию, воспитывающее нашу веру и человека,— это искусство да послужит преградой войне.

КОНСТ. ФЕДИН

И. Беликов

ЛЮДИ, РУКОПИСИ, КНИГИ

Его называют то старателем и искателем книжных кладов, то открывателем и проходчиком литературных руд, то литературным археологом. И еще краеведом, летописцем вятского края, сибиреведом.

В справочнике Союза писателей СССР, членом которого Евгений Дмитриевич Петряев состоит с 1955 года, он значится очеркистом и литературоведом. Однако сфера его интересов гораздо шире: история культуры и книжности.

Альберт Лиханов, знающий Евгения Петряева еще по клубу «Вятские книголюбы», в эссе, предваряющем вышедшую в Москве книгу «Живая память», нарек ее автора *открывателем Отечества*. Высокий и ко многому обязывающий этот титул писатель комментирует следующим образом: «Он открывает Родину незнанию или молодости, собственной своей жизнью утверждая благо высочайшей образованности, исторической грамотности и любви к самому дорогому, что есть только в нашем сознании,— любви к святому во времени и пространстве — своему народу»¹.

Прочитированное может показаться несколько высокопарным, но то, что Евгений Петряев — подлинный искатель и открыватель в лучшем значении этих слов, бесспорно.

Вспоминается обсуждение книги «Живая память» на заседании «Краеведческого четверга» (есть в Кирове такой клуб книголюбов) в помещении областной научной библиотеки имени А. И. Герцена. Желających послушать и выступить собралось много, опоздавшие стояли в проходах и возле стен. Поздравляли, хвалили, благодарили, высказывали пожелания. Под занавес допоздна затянувшегося разговора слово взял автор. Ждали, вот он расскажет, как создавалась и складывалась книга, ответит на вопросы. Он же, лишь мельком упомянув о книге — все уже сказано, книга ушла к читателю, пора идти дальше, — принялся извлекать из недр выдавшего виды портфеля одну за другой

редкости: старые фотографии, афиши, буклеты, журналы, газеты, театральные программки, относящиеся к веку прошлому и нынешнему, и заговорил о том, сколь много еще в Кирове и его окрестностях любопытного, неизведанного, неисследованного, лежащего втуне, ждущего прикосновения пытливого, неравнодушного ума.

Немало ценного утрачено безвозвратно, ибо ушли из жизни люди, владевшие не только уникальными документами и бесценными реликвиями, но и незаменимым личным отношением к ним. И потребуется труд вдвойне-втрое напряженный, чтобы раскрыть ставшее тайной, расшифровать имена, даты, события...

Писатель привлек внимание присутствующих к некоторым фактам из истории городского драматического театра, одного из старейших в России, к издательской деятельности в Вятской губернии, к биографиям замечательных земляков кировчан.

Разнообразные материалы, представленные на обширной выставке, которую развернула к заседанию библиотека, свидетельствовали как о большом вкладе Е. Д. Петряева в отечественную литературу, так и о широте его творческих интересов, о многогранности и диапазоне поисков. Богата экспозиция: книги, альманахи, журналы с очерками и статьями писателя, каталоги, библиографические списки и справочники... Пространна география изданий: Москва, Горький, Новосибирск, Улан-Удэ, Иркутск, Чита, Киров...

С Сибирью, а затем с Кировом связана у Е. Д. Петряева вся жизнь, все радости поисков. Оценивая его заслуги, Владимир Лидин сказал: «История культурной жизни Сибири, Урала и Вятской земли не обойдется без работ Евгения Дмитриевича Петряева. С неутомимостью ищет он своих героев и не только успешно находит их, но обогащает других своими находками»².

В Забайкалье, в степной Бурятии, а затем в Чите началась в конце тридцатых годов после окончания Свердловского медицинского университета трудовая, долгая биография молодого врача Е. Петряева. Было все: и бытовая неустроенность, и постоянный непокой нелегкой работы, были тревожные боевые дни и ночи Халхин-Гола, и участие в разгроме японских милитаристов в 1945 году. Но было еще и такое, что выходило за рамки обычных будней, того, что заведено и предписано уставами и наставлениями. У молодого медика проявились неутоленная жажда познания окружающего, пристальный интерес к среде обитания, к новому.

Если говорить о проблемах чисто профессиональных, то молодого медика заинтересовали особенности краевой патологии, вопросы иммунологии, лечебные ресурсы Забайкалья, включая здешние лекарственные травы. Е. Петряев ведет научные исследования, публикует статьи, рефераты, издает книгу «Лекарствен-

ные растения Забайкалья», наконец, защищает кандидатскую диссертацию.

Всего же перу Е. Петряева принадлежит около ста специальных работ по вопросам медицины, в том числе выпущенная в столице книга «Методика и техника историко-медицинского исследования». А в библиографическом указателе «Краеведы и литераторы Забайкалья» собраны сведения о девятинах девяти служителях медицины — врачах, аптекарях, ветеринарах.

Но еще более сильной оказалась страсть к познанию истории культуры в этом отдаленном крае. Хотя, на первый взгляд, оказавшиеся в центре его внимания Кяхта, Нерчинск, Петровский Завод — это не просто забытая провинция, а самая настоящая глухомань.

Спросит, бывало, Петряев у сослуживца, что такое, к примеру, Кяхта. Теперешняя Кяхта, вобравшая в себя и бывшую торговую слободу, и город Троицкосавск, — небольшой, районного подчинения город с немалым числом населения на границе с Монголией. Меж тем когда-то слобода, известная как перевалочная база купцов-чаеоторговцев, процветала и славилась, называясь «песчаной Венецией». Открытие движения на Транссибирской магистрали, которая обошла Кяхту, снизило ее экономическую роль, привело и к застою общественной жизни.

Только не одной лишь чайной торговлей гордилась Кяхта. С караванами чая из Китая через нее в Россию доставлялись издаваемые Герценом в Лондоне «Полярная звезда» и «Колокол». Помнит Кяхта замечательных русских путешественников, исследователей Центральной Азии — Пржевальского, Потанина, Козлова, Обручева. С их помощью здесь был открыт краеведческий музей, отделение Географического общества. Здесь жили декабристы братья Бестужевы, Горбачевский, создатель знаменитой песни «Славное море, священный Байкал...» учитель Дмитрий Давыдов. Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабашниковых, Прянишниковых. Да и купечество местное не чуждалось общественной мысли. В 90-х годах прошлого века в Кяхте, насчитывавшей 8—9 тысяч жителей, работали городское училище, реальное училище, женская гимназия, ремесленная школа, четыре приходских училища...

Словом, древняя слобода эта, как и Нерчинск, долго была настоящим культурным «гнездом» и центром книжности огромного края.

Евгений Петряев доказывает своим оппонентам, что и Кяхта, и Нерчинск — беспросветная глухомань лишь для тех, кто небогат, ленив, инертен. Для него же самого нет на земле мест неинтересных, если там были и есть люди. Сибирь к тому же во многих отношениях замечательна по-особому. «Сибирь, —

писал Н. Г. Чернышевский,—получавшая из России постоянный прилив самого энергичного и часто самого развитого населения, издавна пользуется славой, что стоит в умственном отношении выше Европейской России...»³

С Кяхты начались у Е. Петряева забайкальские разыскания. «Везде была настоящая целина, встречалось много неизученного и просто забытого»,—вспоминал он впоследствии⁴.

Там, в Забайкалье—Чите, Петровском Заводе,—жили, отбывая каторжные работы, ссыльные декабристы, революционеры дворянского поколения, «цвет всего, что было образованного, истинно благородного в России»,—как отзывался о них А. И. Герцен. Они оставили свой неповторимый след в истории и культурном развитии края, его просвещении. Многие из них продолжали жить там на поселении до конца дней—после того, как истек срок каторги.

Вообще-то о декабристах в Восточной Сибири написано много, но немало оставалось—да и поныне еще остается—неисследованного, неразработанного. С ними тесно связана история накопления там книжных богатств, рост грамотности населения, увеличение числа читающих. Судьбы книжных сокровищ, связи декабристов с местными старожилками-забайкальцами, их влияние на культурную жизнь огромного региона—все это вошло в сферу поисков Е. Петряева. Так родились маршруты по следам декабристов. Собирая местные материалы, он открывает новые имена, адреса авторов, издателей, владельцев личных библиотек.

Находки оказались поистине поразительными. В тех отдаленных краях России жили и, презирая бесчисленные лишения, преследования, материальные затруднения, издавали газеты, создавали библиотеки, несли слово правды подлинными подвижниками. Встречи, многолетние поиски, поездки для собирания материала в Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, другие города позволили, например, вернуть современному читателю имя замечательного человека, каким был Николай Васильевич Кирилов—врач-энциклопедист, литератор, этнограф, путешественник, которого своим учителем считал известный писатель и путешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев. Кирилову Е. Петряев посвятил свои очерки, а затем и книгу («Н. В. Кирилов—исследователь Забайкалья и Дальнего Востока». Чита, 1960).

Были собраны и опубликованы материалы о селенгинском медике и краеведе Петре Андреевиче Кельберге, о враче и писателе Владимире Яковлевиче Кокосове, о летописце Даурии, редакторе и издателе газеты «Байкал» Иване Васильевиче Багашеве, о враче и литераторе Михаиле Владимировиче Танском и о многих-многих других. Для всех них единственным

девизом жизни было благородное самопожертвование, а целью — общественное благо.

Писателя по-настоящему волнуют судьбы людей, не щадящих себя ради общей пользы, занимающихся «рукописной» журналистикой, упорно пропагандирующих печатное слово в труднейших условиях преследований, гонений, борющихся против провинциального застоя, тьмы и невежества. И в этом своем качестве все они как выдающиеся, так и люди скромных дарований, несли в себе героическое начало. Бескорыстных подвижников этих Е. Петряев с любовью называет донкихотами культуры и просвещения.

Почти двадцать лет проработал Евгений Дмитриевич в Восточной Сибири и Монголии. О своих находках он рассказал в книгах «Исследователи и литераторы старого Забайкалья», «Люди и судьбы», «Нерчинск», «Вперед — огни», «Кяхтинский листок». Четыре десятилетия работал он над библиографическим указателем «Краеведы и литераторы Забайкалья», введя в научный оборот новые материалы о сотнях людей, своим трудом создававших историю культуры отдаленного региона. В нем помещено 768 библиографических справок об авторах книг, очерков и статей, посвященных этнографии, фольклору и культуре Забайкалья. Большое число материалов, относящихся к советскому периоду, остается пока необнародованным.

Забайкальские труды и поиски писателя, умелого врача Е. Д. Петряева оценены высоко: в 1972 году ему присвоено звание почетного гражданина города Нерчинска.

Более тридцати лет отдал Евгений Дмитриевич литературным раскопкам и изысканиям на вятской земле, где продолжает трудиться, уйдя на пенсию, и сейчас. Сегодня всеми, а не только Кировчанами, признано, что без Петряева культурную жизнь Кирова и области представить просто невозможно.

Оказавшись в середине пятидесятых годов в Кирове, куда его перевели по работе, он обнаружил поистине необозримое поле для приложения сил открывателя. С фактом проникновения вятских людей, землепроходцев на Ленские прииски, на Шилку, в Нерчинск случалось встречаться еще там, в Восточной Сибири. А шестисотлетняя история Вятки вообще богата знаменательными событиями и ролью своей в государстве Российском. Достаточно вспомнить ее ополчение в Смутное время и в войне против Наполеона, высокий революционный дух вятского пролетариата в годы трех революций. Но и став вятичем-кировчанином, Е. Петряев не порывает связей со своими забайкальскими друзьями.

А ведь по инерции за Вяткой следовала печальная известность края ссылок — не больше. И неудивительно, что, присту-

пая к освоению «вятской темы», писатель столкнулся с неожиданным казусом: «В статьях и книгах местных авторов преобладали отрицательные оценки культурного прошлого, хотя давние и хорошо известные факты говорили о другом»⁵.

Какие это факты? Ну, скажем, то, что Вятка и уездные города губернии, как подтверждали сопоставления, в культурном отношении не только не отставали от других городов, а иногда и опережали их. Так, по уровню грамотности населения в пореформенное время Вятская губерния выглядела лучше Астраханской, Псковской, Симбирской, Казанской. Шли вятичи впереди многих губерний Центральной России и по числу подписчиков на прогрессивные периодические издания, в частности, на журнал «Современник». Надо сказать, что основную роль в здешней культурной жизни играли местные библиофилы и любители искусств (удельный вес политических ссыльных среди коренного населения губернии был не столь значителен, как в Сибири).

Ложный вывод о культурной отсталости вятского края основывался на том, что не было достаточно полных и систематизированных сведений о составе библиотек, истории местных центров книжности и книгоиздания и т. д. Между тем у многих вятских интеллигентов-просветителей имелись прекрасные библиотеки с редкими изданиями, которых не было даже в самых крупных книгохранилищах страны. Да и издательская традиция вятичей заслуживала похвалы и кропотливого изучения — ведь только журналов по пчеловодству в губернии выходило пять одновременно.

...Вначале писатель занялся историко-медицинскими вопросами, в частности, деятельностью Вятского общества врачей — первого в губернии научного объединения специалистов, а затем постепенно втянулся и в более широкий круг краеведческих поисков. Внимательно изучается вятский период ссылки А. И. Герцена, круг его здешних знакомых, «подснежных друзей», корреспондентов. Е. Петряев пристально всматривается в многогранную деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина, семь лет проведенного в «вятском плену». Изучается все, что связано с именем и творчеством Александра Грина, который в Вятке жил и учился. Исследуются литературные и личные связи с вятским краем Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, В. Г. Короленко, А. М. Горького. Открываются неизвестные страницы творчества, письма, имена, штрихи биографий. Из очерков писателя мы узнаем о вятских нитях, ведущих к А. С. Пушкину...

Литература, как и культура вообще, это не одни лишь вершины. Подлинный, полнокровный ее облик образуется из совокупности имен нередко полузабытых, отошедших на второй план. Вот почему с особой любовью занимается Е. Петряев

поисками, связанными с творческой судьбой таких авторов. Приведем лишь один, из огромного числа, пример. Много лет Евгений Дмитриевич искал архив старого вятского писателя Александра Николаевича Баранова. Сегодняшнему рядовому читателю его имя, наверное, ничего не говорит. Но этот талантливый и смелый человек в свое время взбудоражил всю прогрессивную Россию, выступив в защиту безвинно преследуемых удмуртов. Интересна его переписка с В. Г. Короленко и А. М. Горьким. Так, усилиями Е. Петряева в историю русской литературы было возвращено еще одно имя.

Столь же неутомимо он ищет и делает широким достоянием материалы о деятельности таких вятских книжников, летописцев края, распространителей знаний, как Авксентий Петрович Батуев, Михаил Иранович Палкин, врач Савватий Иванович Сычугов, писательница Мария Егоровна Селенкина.

Терпеливо изучаются также литературные места города, дома, с которыми связана жизнь выдающихся деятелей науки и культуры, и где они бывали, создавали свои произведения, обсуждали общественные, научные, литературные проблемы.

Обо всем этом писатель поведал в своих книгах, выпедших в Волго-Вятском издательстве: «Литературные находки», «Люди, рукописи, книги», «М. Е. Салтыков-Щедрин в Вятке», «Кировский литературный музей», «Записки книголюбца», «Вятские книголюбцы». Имя Е. Д. Петряева хорошо знакомо также читателям «Кировской правды», других периодических изданий.

Глубоко заблуждается тот, кто представляет Е. Д. Петряева этаким кабинетным затворником, окруженным кипами книг и бумаг, архивными папками и рукописями, оторванным от кипучей действительности. Напротив, он всегда в постоянном активном действии, в трудах и хлопотах организатора. Ему принадлежит инициатива создания четырех музеев: литературного — в Чите, двух писательских (М. Е. Салтыкова-Щедрин и А. С. Грина) — в Кирове и здесь же — музея К. Э. Циолковского. Три первых открылись благодаря не только идее Евгения Дмитриевича, но и при самом непосредственном его личном участии. Музей «отца космонавтики» — последний по времени замысел Е. Петряева — в стадии создания.

У истоков традиционных ежегодных Герценовских, Салтыковских, Гриновских чтений в Кирове, которые ни разу еще не прошли без его деятельного участия, — тоже Евгений Дмитриевич.

Наконец, дорогим детищем Е. Петряева является клуб «Вятские книголюбцы», которым он бесменно руководит, начиная с первого заседания.

Клуб этот, отпочковавшись в марте 1973 года от упоминав-

шегося уже «Краеведческого четверга» (существует с 1962 года), стал и первой в Кирове организацией Общества любителей книги. Он представлял область на учредительном съезде ВОК в 1974 году. Добрую славу приобрел клуб и за пределами Кирова.

В деятельности «Вятских книголюбов», на его регулярных заседаниях, нашла практическое воплощение и стала популярной концепция *краевого книговедения*. Изучение истории местных «гнезд» книжности, особенно частных библиотек, редких изданий, жизни и трудов местных деятелей книжного дела, сыгравших неоценимую роль в распространении просвещения,— таково основное содержание этого направления в пропаганде краеведческих и библиографических знаний, формировании вкуса и культуры чтения, книжного собирательства.

Сам Евгений Дмитриевич, введя в обиход термин «краевое книговедение», следующим образом трактует его суть:

«Если книга не поставлена в органическую связь с другими явлениями культуры, не дана в «горизонтальном срезе» событий своей эпохи, она остается для многих «вещью в себе». Поэтому наш клуб стремится изучать книгу в конкретной местной „среде обитания“».

Краевое книговедение как составная часть экологии культуры привлекает сейчас все большее внимание не только в Кирове. Что касается вятской земли, то она дает поистине богатейший материал для деятельности книголюбов, библиофилов, краеведов...

Вот уже больше четырнадцати лет в последний четверг каждого месяца в лекционном зале областной научной библиотеки собираются педагоги, врачи, инженеры, журналисты, библиотекари, и Е. Д. Петряев неизменно, не признавая ни каникул, ни отпусков, открывает очередное заседание. Их состоялось уже более 150. Свыше 300 докладов и сообщений работников библиотек, музеев, архивов, кировских библиофилов заслушано и обсуждено на заседаниях «Вятских книголюбов».

А выставки? Ведь на них показано более десяти тысяч редких и ценных изданий из фондов «Герценки» и из личных собраний. А памятки-приглашения с богатейшей информацией: на скромной площади помещаются и портреты, и биографические сведения, и обстоятельная библиография по тематике заседаний...

Гостями и участниками заседаний клуба были известные библиофилы Москвы, Ленинграда, Воронежа, других городов Советского Союза. Несколько человек, самых заслуженных, объявлены его почетными членами.

Широкий резонанс вызвали сделанные на заседаниях «Вятских книголюбов» доклады и сообщения о методике библиографических изысканий и новых находках. Кропотливыми уси-

лиями книговедов-краеведов, состоявших в активе клуба (В. Шумихина, М. Ардашева, К. Палкина, В. Петрова, М. Огневой и других), удалось извлечь «из-под пепла угасших горений исторической жизни», по выражению В. Ключевского, немало забытых и полузабытых имен, раскрыть авторство анонимных публикаций, уточнить тиражи и судьбы некоторых вятских изданий, обогатить сведения о виднейших местных деятелях книги и библиофилах.

У «Вятских книголюбов» нашлись в области последователи, ученики. Вопросы краевого книговедения, библиофильства обсуждаются в клубах «Земляки Грина» и «Алый парус» в небольшом старинном городке Слободском. Юным собратом «Вятских книголюбов» стал также клуб научно-технической книги в политехническом институте.

Справочные картотеки кировских краеведов, каталоги домашних библиотек, коллекции вырезок — все находки и приобретения клуба — стали важнейшим источником для «Вятского библиографического словаря», над созданием которого Е. Д. Петряев работает сейчас вместе с научными работниками областной библиотеки.

— Дело это крайне сложное, — говорит писатель, — из-за пыленности материалов, неполноты комплектов местной газетной периодики и других изданий. И все же, накопленные сведения позволяют подготовить предварительный перечень имен людей, внесших свой вклад в историю культурного развития края...

Имен этих множество. Пусть любопытствующий заглянет хотя бы в именные указатели, завершающие книги «Живая память» и «Записки книголюбца», — сколько же там фамилий забытых или полузабытых писателей, общественных деятелей, издателей, библиофилов, краеведов! А ведь сведения о них вовсе не лежали на поверхности. Иногда уходили месяцы и годы на то, чтобы установить всего лишь дату рождения или смерти того или иного человека.

В небольшой статье невозможно даже бегло перечислить все то, что входило в круг поисков Е. Петряева. И трудно представить, что все это делалось и достигнуто одним человеком — исключительно по призванию, многие годы без отрыва от других обязанностей, при постоянном занятии медициной. Не могу умолчать еще об одном факте: Петряевым расшифрованы сотни псевдонимов сибирских писателей, не включенных в известный словарь И. Ф. Масанова.

Невзирая на годы и недуги, Евгений Дмитриевич продолжает трудиться с завидной энергией и неутомимостью. Он буквально переполнен планами, замыслами. Во время одной из встреч, помнится, показал фотографию, на которой вместе со своим учителем снят четырнадцатилетний гимназист Константин Ци-

олковский, и рассказал историю ее приобретения. А в следующий раз, спустя несколько месяцев, поделится и замыслом создания в Кирове музея основоположника космонавтики, ознакомил со своим письмом, адресованным первому секретарю обкома партии. («Состоялось решение обкома, положительное. Поддержка есть, дом на улице Энгельса, в котором жила семья Циолковских, освобождается от жильцов и переоборудуется под музей. Надо вот позаботиться об экспозиции. С Калугой, центром «циолковсковедения», по этому вопросу связь установлена», — сообщил Евгений Дмитриевич.)

Рассказывая о том, как прошли в городе очередные Гриновские чтения, Е. Петряев пишет мне: «Затеваем «Гриновскую энциклопедию», а для начала думаем подготовить «Словарь гриноведов». Материала много, нужен энергичный организатор». И в редком письме не встретишь упоминания о том или ином начинании неутомонного человека, находящегося в вечном творческом поиске.

Есть люди, которые гражданской активностью своей, неутомимостью дерзаний, дотошностью поиска невольно привлекают внимание окружающих, образуя вокруг себя невидимое, но весьма ощутимое силовое поле постоянного притяжения. Особенно приметны они в сравнительно небольших городах и селениях. Знают же о них далеко за пределами их скромного региона.

Живущий в Кирове писатель, библиофил, книголюб Евгений Дмитриевич Петряев — человек именно такой завидной судьбы. Он стал гордостью города. Недаром кировчанам по-хорошему завидуют те, у кого нет своего Петряева.

На XXVII съезде Коммунистическая партия Советского Союза как одну из важных выдвинула задачу «активнее вести работу по сохранению и приумножению национального культурного наследия, по сбережению памятников отечественной и мировой истории и культуры».

Своими исследованиями, книгами, статьями, устным словом, практическими действиями коммунист Евгений Петряев решает эту задачу.

...Когда этот номер «Альманаха библиофила» был готов к печати, из Кирова пришло сообщение — безвременно ушел из жизни Е. Д. Петряев. Но остались его друзья, его книги и его дело.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Петряев Е. Живая память. М., 1984. С. 1.

² Петряев Е. Записки книголюбца. Киров, 1978. С. 3.

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 904.

⁴ Петряев Е. Записки книголюбца. С. 33.

⁵ Петряев Е. Живая память. С. 32.

ЖИЗНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В «ТИХОМ ДОНЕ»

Мне приходилось довольно много заниматься изучением истории Октябрьской революции и гражданской войны. И выяснилась поразительная картина: в «Тихом Доне» подлинность исторического изображения удивительно точна. В романе М. Шолохова сюжет имеет временную протяженность: май 1912—март 1922 года. Вроде бы не очень много. Но это десятилетие русской истории наполнено событиями исключительного значения. События—безмерные по сложности и противоречивости—получили в романе М. Шолохова не только высокохудожественное, но и исторически точное отражение. Порой эта полнота жизненной реальности достигается скухими средствами, предельным лаконизмом текста.

Изображенная в романе станица Вешенская—один из центров Верхне-Донского округа области Войска Донского, а хутор Татарский—один из многих, подчиненных этой станице. В хуторе избирался атаман, а все важнейшие местные дела обсуждались (нередко формально) на сходе—общем собрании казаков. По общероссийским понятиям это— крупное село, здесь церковь, магазин, мельница, школа. (Кстати, Татарский—реально существующий и поныне хутор Калининский на правом берегу Дона, в нескольких километрах от Вешенской; он стоит над речным обрывом, и каждому приезжему показывают крутой спуск к реке, где Григорий встретился с Аксиньей...)

К началу второго десятилетия нашего века, то есть к тому времени, когда начинается действие романа, казачье население Донской области насчитывало около полутора миллионов человек—подчеркнем, что речь идет именно о казаках, в точном сословном смысле. На 1 января 1912 года в Донском казачьем войске числилось 161 348 рядовых, унтер-офицеров и офицеров.

Первое подлинное историческое событие, о котором упоминается в романе,—начало первой мировой войны. Подробно описывается знаменитая Галицийская битва. Это одно из крупнейших

Федор Подтелков



сражений войны происходило в августе—сентябре 1914 года между русскими и австро-венгерскими войсками. М. Шолохов детально прослеживает общую стратегическую канву битвы. Известно, какой именно научной литературой писатель пользовался. Не вдаваясь в детали, скажем, что все приведенные в романе факты реальны.

В описании мировой и гражданской войн герои «Тихого Дона» действуют, как правило, в своем «микромире», что редко попадает в поле зрения историков и мемуаристов. Но именно здесь открывается самое интересное в изображении М. Шолоховым реальной исторической действительности.

...Григорий Мелехов после призыва на действительную службу был зачислен в 12-й Донской казачий полк. Произошло это,

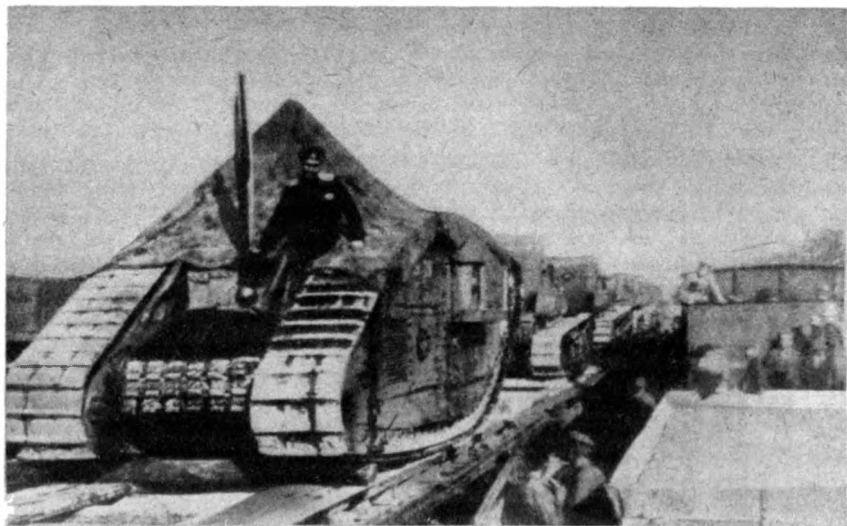
как можно судить по обстоятельствам действия, в январе 1914 года. Сотенным командиром Григория назван в романе подъесаул Полковников. Персонаж в «Тихом Доне» сугубо эпизодический, Полковников, как выяснилось, вполне реальная историческая личность, причем по-своему известная. В Центральном государственном военно-историческом архиве сохранился послужной список Григория Петровича Полковникова, из коего явствует, что с начала 1914 года он в чине есаула служил сотенным командиром в 12-м Донском полку, а с июля того же года — в штабе 11-й кавалерийской дивизии.

Когда начались сражения, полк Григория, говорится в романе, входил в 11-ю кавалерийскую дивизию. Здесь все соответствует исторической правде: по материалам того же архива удалось установить, что в 1914 году в состав 11-й кавдивизии входил 12-й Донской полк.

В главах, описывающих бои под Бродами, упомянут — как бы вскользь, мимоходом — сосед дивизии, в которой воевал Григорий, «12-я кавалерийская дивизия под командой генерала Каледина». Здесь опять-таки все точно, ибо эта дивизия действовала тогда (то есть в августе 1914 года) в составе 8-й армии знаменитого генерала А. А. Брусилова. 3-я и 8-я русские армии наступали в ту пору рядом. Мелкие операции начала войны, о которых идет речь в романе, в исторических работах не описаны, однако боевые действия были вполне вероятны.

Мелехов получил свое первое ранение, как сказано в тексте романа, 15 августа 1914 года в бою под городом Каменко-Струмилово (по нынешнему наименованию — Каменка-Бутская), в 32 километрах от города Львова. Эти временные и географические подробности выясняются позже, из письма есаула Полковникова Пантелею Прокофьевичу. В самом же описании боя никаких подробностей такого рода не дано и только прибавлено, что в наступлении наряду с другими частями участвовала 11-я кавалерийская дивизия. Привлечение специальной военно-исторической литературы не только подтверждает сам факт этого сражения, но и ставит его в общую цепь эпизодов Галицийской битвы. Именно с 13 по 21 сентября части 3-й и 8-й русских армий вели успешное наступление в направлении крепости Перемышль. В этой операции 11-я кавдивизия действовала до 18 сентября севернее Львова, выдвигаясь в сторону Равы-Русской — именно в то время и в тех местах, где был ранен главный герой «Тихого Дона».

Григорий Мелехов в течение всей мировой войны находился на фронте. Он воевал в Восточной Пруссии, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Все это показано в «Тихом Доне» с предельной краткостью, но одновременно с необычайной



Английские танки в Таганроге. 1919

художественной емкостью изображения исторической действительности, так что порой за одним лишь проходным, вроде бы, эпизодом выстраивается большая правда тогдашней жизни.

Вот один лишь пример. В мае 1916 года Григорий участвует в знаменитом Брусиловском прорыве. Это наступление продолжалось сравнительно долго, без малого три месяца, с 22 мая по 13 августа. В романе указано время, когда действует Григорий, — май. И не случайно: по данным Военно-исторического архива 12-й Донской полк участвовал в этих боях сравнительно короткое время, с 25 мая по 12 июня. Как видно, хронологическая примета здесь исключительно точна.

К исходу 1916 года Григорий «четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил», он один из уважаемых ветеранов полка, в дни торжественных церемоний стоит у полкового знамени. Краткое и единственное упоминание в романе о наградах Григория многозначительно. В старой русской армии боевые награды четко делились на две категории — для офицеров и для солдат. Для последних обычной наградой (кроме специально учреждавшихся медалей за отдельные кампании или сражения) были так называемые «знаки отличия ордена святого Георгия», в просторечии называвшиеся Георгиевские кресты и Георгиевские медали, которые в свою очередь делились на

четыре степени. Высшим солдатским достижением был так называемый «полный бант» — наличие у кавалера крестов и медалей всех степеней. Таких всегда насчитывалось сравнительно немного, доставалось подобное отличие только особо замечательным и удачливым храбрецам, имена их делались популярными в армии.

Григорий, следовательно, был из числа таких выдающихся солдат. Немаловажно, что прототипом Григория (о чем говорил сам Шолохов и подмечали исследователи) был казак с хутора Базки станицы Вешенской Евлампий Васильевич Ермаков; он тоже начал войну рядовым казаком, а в 1917-м вернулся в родной хутор с полным георгиевским бантом (дальнейшая судьба Ермакова, кстати говоря, тоже сходна с мелеховской: стоял за Советы, служил у красных, потом оказался втянутым в белоказачье восстание, раскаялся, был прощен, вернулся в родной хутор).

В описании революционных событий на Дону в конце 1917 года среди второстепенных персонажей «Тихого Дона» довольно заметно действует сотник Изварин. В то переломное время он оказывается в одном полку с Григорием Мелеховым (во 2-м запасном). Молодой, энергичный, умеющий темпераментно спорить, он принадлежал к числу яростных донских «автономистов». На какое-то время он даже оказал воздействие на Григория, расписывая перед ним маниловские картинки будущей жизни «вольной Донской республики», которая-де станет великой державой, «независимой от Москвы». Честолюбивый красноречивый Изварин, мечтавший, как бы стать деятелем «областного масштаба» хоть и ценой развала России,— это, оказывается, реальное историческое лицо.

В романе Изварин представлен как сын зажиточного казака гундоровской станицы... (к тому же он из «низовских», то есть наиболее консервативных и сословно замкнутых слоев донского казачества). Затем: «Образование получил в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании его отправился на фронт в 10-й Донской казачий полк» и т. д. Действительно, в сохранившихся архивных документах указанного полка он упомянут неоднократно.

В романе подробно описана политическая обстановка на Дону зимой—весной 1918 года. Среди действующих лиц — атаманы Каледин и Краснов; вожаки революционного казачества; множество других известных и малоизвестных реальных исторических персонажей. Фактический материал здесь основателен и добротен, в основном он почерпнут из обстоятельных сочинений, которые появились ко времени завершения пятой части романа.

Так, довольно подробно описан съезд казаков-фронтовиков в станице Каменской (ныне город Каменск-Шахтинский Ростовской области). Это было очень важное политическое событие в жизни края: большевистская партия, рабочий класс повели за собой основную массу трудового казачества Дона. М. Шолохов приводит на съезд Григория Мелехова, Котлярова и Хрисанфа Токина (Христоню). Через эпизоды с их участием в романе представлен обильный фактический материал. Виднейшим участником съезда был большевик Е. А. Щаденко, будущий герой Первой Конной армии. Член РКП(б) врач А. В. Мандельштам возглавлял делегацию из Петрограда, он был заметной фигурой на съезде.

Гражданская война на Дону началась относительно рано: ожесточенные бои в западной части Донской области вспыхнули уже в январе 1918 года. Они подробно описаны в романе (в них принимает участие Григорий Мелехов): наступление белогвардейского отряда есаула Чернецова, взятие им станицы Каменской, мобилизация красных казаков, контрнаступление их, бой под станицей Глубокая (теперь город Глубокий на железной дороге Ростов—Воронеж). Чернецов—подлинное историческое лицо, он упомянут (мимоходом) уже в первой книге; один из героев замечает: «Далеко пойдет сотник Чернецов, способный!» К зиме 1918-го уже есаул, то есть майор (по другим сведениям, накануне гибели его даже произвели в полковники), командир белоказачьих отрядов на Дону, путь его отмечен свирепыми расправами и жестокостями. Чернецов сделался популярной фигурой среди белогвардейцев.

Вторая книга заканчивается описанием знаменитой экспедиции Подтелкова на Дон и трагической гибели его отряда. Все это—реальные исторические события, давно и хорошо освещенные в советской литературе («приговор» белоказачьего суда в хуторе Пономарева был опубликован в печати еще в 1918 году). Федор Григорьевич Подтелков на съезде в Каменской 10(23) января 1918 года избирается председателем Донского Военно-революционного комитета, и Михаил Васильевич Кривошлыков—его секретарем. Позже, когда гражданская война обострилась, в Ростове 13 апреля открылся первый съезд Советов Донской социалистической республики, на нем Подтелков становится Председателем Совета народных комиссаров. Недавно удалось обнаружить фотографии, запечатлевшие последние минуты жизни Подтелкова и Кривошлыкова—перед их казнью, так сильно описанной в романе.

Изображение белоказачьего Вешенского мятежа занимает почти четверть текста «Тихого Дона». В ходе мятежа гибнут Петр Мелехов, Котляров, Штокман, дед Гришака, происходит трагический поворот в судьбе Григория Мелехова, его разрыв с

прежним другом Михаилом Кошевым — столкновение это во многом определит всю дальнейшую судьбу Григория. Вот почему о Вешенском мятеже следует сделать некоторые пояснения.

Еще в период работы над соответствующими главами романа М. Шолохов вынужден был печатно посетовать на слабую изученность описываемых им событий: «Трудность еще в том, что в третьей книге я даю показ Вешенского восстания, еще не освещенного в литературе». Лишь в самые последние годы появились некоторые данные в научной литературе, однако обобщающего исследования нет по сей день.

Автору «Тихого Дона» пришлось самому воссоздать историю народной трагедии, захватившей сотни тысяч людей, провокационно вовлеченных в бессмысленную братоубийственную войну. Как же М. Шолохов достиг этого? В одной из бесед с корреспондентами телевидения он сам с необычайной точностью дал исчерпывающий ответ:

«Надо иметь в виду, что формировался я и отроческие годы мои прошли в разгар гражданской войны. Тема была на глазах, тема для рассказов, очерков. Трагедийная эпоха была. Требовалось писать, больно много было интересного, что властно требовало отражения...

Отроческий взгляд — самый пытливый взгляд у человека. Все видит, все приметит, узнает, везде побывает. Мне легко было, когда касалось фактического материала. Трудности пришли потом, когда надо было писать и знать историю гражданской войны. Тут уже потребовалось сидение в архивах, изучение мемуарной литературы. Причем не только нашей, но и эмигрантской, в частности «Очерков русской смуты» Деникина. Затем знакомство с казаками, участвовавшими в этой войне. Сама профессия моя до писателя — учитель, статистик, продовольственный работник — знакомила меня с огромным количеством людей... Разговоры, воспоминания участников — так слагался костяк. А бытовая сторона, она ведь тоже наблюдалась, потому что жил я в разных хуторах. Мне даже ничего не стоило, скажем, второстепенных героев назвать своими именами».

Бесспорно, историческая достоверность фактографии романа объясняется отчасти кропотливой работой с печатными и архивными материалами. Но именно отчасти, ибо здесь следует подчеркнуть нечто другое: в романе содержатся сведения, которые вряд ли могли быть почерпнуты из какого-либо письменного источника. Диспозиции повстанческих частей в разный период борьбы, имена и звания их командиров, даты и подробности боев и многое, многое другое вряд ли могло быть отражено в каких-либо документах: повстанцы, в подавляющем большинстве малограмотные крестьяне, расписывать диспозиции не очень-то

могли (это, кстати, хорошо показано у М. Шолохова на примере переписки между Григорием Мелеховым и Кудиновым).

Писатель в свое время опросил многих свидетелей и участников гражданской войны на Дону. Недавно стало известно письмо М. Шолохова к Ермакову: еще в 1926 году писатель встречался с ним и беседовал.

Восстание казаков Верхнего Дона против Советской власти весной 1919 года приняло большой размах и вызвало ожесточенные, кровопролитные сражения. Какие же причины породили это трагическое событие? Весной 1931 года рапповские деятели задержали публикацию шестой части «Тихого Дона», обвиняя автора в «кулацком уклоне» и т. п. Тогда М. Шолохов обратился за помощью к М. Горькому и 6 июня 1931 года писал ему: «...6-я часть почти целиком посвящена восстанию на Верхнем Дону в 1919 году... Теперь несколько замечаний о восстании.

1. Возникло оно в результате перегибов по отношению к казаку-середняку.

2. Этим обстоятельством воспользовались эмиссары Деникина, работавшие в Верхне-Донском округе и превратившие разновременные повстанческие вспышки в поголовное организованное выступление».

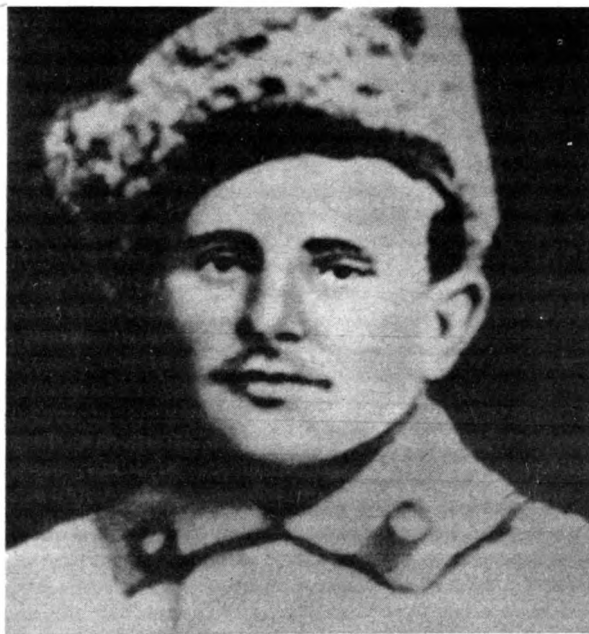
Силы повстанцев были немалые. По разведывательным данным, полученным штабом 8-й армии, численность вооруженных сил повстанцев исчислялась на начало апреля в 30 000 человек, 6 орудий и 27 пулеметов. В «Тихом Доне» приводятся на этот счет сходные сведения: 25 тысяч конных и 10 тысяч пеших бойцов, 6 артиллерийских батарей и около 150 пулеметов. Разность в исчислении воинской техники не должна настораживать: дело в том, что повстанцы имели крайне ограниченное количество боеприпасов, поэтому большинство их орудий и пулеметов бездействовали (о чем не раз говорят герои «Тихого Дона»), красная же разведка засекала, естественно, прежде всего действующую военную технику.

Опасный размах Верхне-Донского казачьего мятежа вызвал серьезную тревогу Советского правительства. Затянувшаяся операция по подавлению восстания привлекла пристальное внимание В. И. Ленина. О том, сколь важное значение придавал он этим событиям, говорит следующий факт: удалось установить четырнадцать ленинских телеграмм, записок и распоряжений, посвященных непосредственно боевым действиям на Верхнем Дону.

Сражения на Дону описаны в романе с необычайной подробностью, причем «крупный масштаб» войны постоянно перемежается здесь с «мелким».

...Мятеж уже в разгаре, мятежники наступают, идет, как

Герой гражданской
войны на Дону
Михаил Блинов



можно полагать, конец марта — начало апреля 1919 года. Дивизия Григория Мелехова продвигается на юг в сторону фронта. Это основное стратегическое направление, ибо повстанцы могут уцелеть только в соединении с белогвардейцами. Навстречу мелеховской дивизии двигались с юга, от Северного Донца, части Красной Армии. Вот Григорий допрашивает пленного красноармейца, им был казак с Верхнего Дона, хоперец. Григорий спрашивает:

«— Какие полки были в бою вчера?»

— Наш Третий имени Стеньки Разина. В нем почти все с Хоперского округа казаки. Пятый Заамурский, Двенадцатый кавалерийский и Шестой Мценский.

— Под чьей общей командой? Говорят, Киквидзе вел?

— Нет, товарищ Домнич свободным отрядом командовал.

Краткий и вроде бы малозначительный этот отрывок замечателен по своей исторической достоверности. По данным Центрального государственного архива Советской Армии Третий Донской казачий полк (так он официально назывался, а «имени Стеньки Разина», очевидно, бытовое наименование) входил в марте — мае 1919 года в состав 16-й стрелковой дивизии. В

указанный период дивизия вела бои в районе станции Глубокая, то есть в сотне верст от района мятежа. Возможно, один из полков дивизии (или подразделение его), а также 5-й Заамурский кавалерийский полк, входивший в состав 36-й стрелковой дивизии, были направлены на ликвидацию мятежа и вошли в состав экспедиционных войск, как и 6-й Мценский.

Далее отметим характерную деталь: среди частей Эксвойск не было 12-го кавалерийского полка. Был 13-й кавполк, действовавший против повстанцев. Им-то и командовал упоминаемый пленным красноармейцем И. Н. Домнич. Очевидно, пленный спутал или намеренно исказил факты — вспомним, что он не проявляет никакой охоты перейти к повстанцам, как предложил ему Григорий, хотя знает, конечно, какая участь его может ждать. Спутал или исказил намеренно номер полка именно пленный хоперец, а не автор — несколько страниц спустя в авторском изложении событий прямо говорится про 13-й кавалерийский полк, бойцы которого теснили мелеховских повстанцев.

Не случаен и вопрос Григория про Киквидзе. Третий полк входил в 16-ю дивизию, которой командовал знаменитый герой гражданской войны Василий Киквидзе. Григорий не мог о нем не слышать, так как эта дивизия покрыла себя славой под Царицыном в боях с белоказачьей Донской армией (в войсках которой довелось тогда служить герою «Тихого Дона»). Киквидзе был убит в бою 12 января 1919 года. Григорий, естественно, мог не знать о гибели начдива; характерно, что пленный хоперец не спешит ему об этом сообщить.

Хорошо известна сцена боя, когда Григорий Мелехов в сумасшедшей атаке зарубил четырех матросов. В ее основе — также реальное событие. В перечне частей Эксвойск значатся 1-й, 2-й, 3-й батальоны 3-го Кронштадтского полка и отдельно действовавший Морской батальон пехоты. Примечательно, что в другом месте романа М. Шолохов рассказывает, как «казаками был почти целиком истреблен только недавно прибывший Кронштадтский полк». Чуть позже описывается эпизод героической гибели окруженных на берегу Дона красноармейцев, который завершается авторской ремаркой: «Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты». А среди частей Эксвойск в документах перечислен 2-й Интернациональный батальон.

В декабре 1919 года Красная Армия победно вступила на территорию Донской области, казачьи полки и дивизии отступали, разваливаясь, неповиновение и дезертирство приняли массовый характер. С начала 1920 года на Дону окончательно утвердилась Советская власть.

Военный разгром деникинщины застает Григория и его



Командующий Юго-Восточным фронтом В. И. Шорин

товарищей в Новороссийске — последнем прибежище отступавших белогвардейцев. Утром 27 марта в город вошли части 8-й и 9-й армий, было пленено 22 тысячи деникинских солдат и офицеров. Никаких «массовых расстрелов», как пророчила белогвардейская пропаганда, не было. Напротив, многие пленные, в том числе и офицеры, не запятнавшие себя участием в репрессиях, принимались в части Красной Армии. Григорий вступил в Первую Конную армию и сразу получил назначение командиром эскадрона в 14-ю кавалерийскую дивизию. Это, как всегда в «Тихом Доне», исторически точно. Действительно, 14-я кавдивизия в составе Конармии была сформирована в апреле 1920 года и в значительной степени — из числа казаков, перешедших, подобно герою «Тихого Дона», на советскую сторону. Небезынтересно отметить, что командиром дивизии был знаменитый герой гражданской войны Александр Пархоменко.

Служба Григория Мелехова в Красной Армии продолжалась сравнительно недолго: уже осенью 1920 года его демобилизовали как бывшего участника вешенского восстания. В начале ноября он вернулся домой. А вскоре по зловещему капризу Григорий оказывается в банде Якова Фомина...

В научной литературе по истории гражданской войны нет никаких упоминаний о банде Фомина. В общем, не удивительно:

это был заурядный случай политического бандитизма. Однако в архивном фонде Северо-Кавказского военного округа сохранились документы, которые дают возможность сделать некоторые фактологические сопоставления с фабулой романа. Численность банды, как и рассказано в «Тихом Доне», сильно колебалась, но никогда не была большой. Так, по оперативной сводке штаба округа за 12 июля, число фоминовцев определено в 17 человек. По сводке за 19 сентября—80 сабель при трех тачанках. За 21 сентября есть более подробное донесение: 100 сабель, 200 лошадей, 4 подводы. Разумеется, это приблизительные данные, но точных не имелось, видимо, даже у самого Фомина, столь текучим и случайным было его деклассированное «воинство».

Положение в огромном округе в 1921 году было напряженным. В «Тихом Доне» говорится, что Капарин предлагал Григорию Мелехову соединиться с крупной бандой Маслака, которая, мол, «бродит где-то на юге области». Действительно, банда Маслака (Маслакова, который поднял мятеж против Советской власти в начале 1921 года) действовала, как видно по донесениям штаба округа, весной—летом в южных пределах Донской области. Позже герои романа говорят о Махно, появившемся со своим отрядом неподалеку. Махновцы, терпя поражения, забрели во второй половине июля в западную часть Донской области и скрывались там до 8 августа 1921 года. Силы некогда грозного «батяки» были уже ничтожны, по данным разведки, на 25 июля у него числилось всего «150 сабель при пулеметах».

Новая экономическая политика лишила кулацкий бандитизм какой-либо массовой социальной опоры. В «Тихом Доне» ярко показано, как к Фомину стекается всякий уголовный сброд, а рядовые казаки-крестьяне тайно бегут из банды.

Фоминовская банда окончательно разгромлена, а главарь ее убит в марте 1922 года (об этом рассказывает Григорию Мелехову Чумаков). Действительно, 10 февраля в Ростове состоялось совещание по борьбе с бандитизмом и было признано «необходимым, чтобы Фомин был ликвидирован в самом непродолжительном времени и во всяком случае до наступления весеннего периода». Вскоре так оно и произошло: 15 марта фоминовцев разгромили, а главарь пал в бою.

«Тихий Дон» так укоренен в историческую реальность, что возникла даже мысль иллюстрировать роман подлинными фотографиями. Оказалось, что таковых—громадное число. Прежде всего, в иллюстрированных изданиях начала века, где обилие изображений донских казаков, особенно батальных сцен. Были предприняты обширные изыскания в архивохранилищах Москвы и Ленинграда, в музеях Ростова-на-Дону, Новочеркаска, Вешенского районного музея, а также у современных жителей Верхнего

Дона с целью выявления портретов исторических деятелей и сцен с их изображением. Таковы, например, казак-революционер Михаил Блинов, командующий фронтом Шорин, герой гражданской войны Щаденко и другие. Упомянем лишь одну любопытную подробность: был обнаружен единственный, как считают, экземпляр журнала «Коммунист», где в 1915 году в Женеве напечатана статья В. И. Ленина «Крах II Интернационала» (отрывок из нее как раз цитирует офицерам Бунчук).

Роман «Тихий Дон», иллюстрированный фотодокументами (общее число их 96), вышел в свет в 1980 году в издательстве «Молодая гвардия». На основе подлинных материалов, а также натуральных съемок в станице Вешенской и в прилегающих хуторах был снят документальный кинофильм «„Тихий Дон“: за строкой романа» (Центрнаучфильм, режиссер Л. Цветкова).

Автору данной статьи выпала большая удача — неоднократно встречаться и беседовать с Михаилом Шолоховым в Вешенской. Писатель чрезвычайно интересовался историческими подробностями сюжета романа, очень любил рассматривать подлинные фотографии той эпохи (в том числе и те, которые воспроизведены здесь). Теперь, когда автор «Тихого Дона» ушел из жизни, каждое его замечание драгоценно для всех нас.

Нет сомнения, что изучение исторических реалий шолоховской эпопеи только начинается. Сделаны лишь первые шаги. И, бесспорно, — на этом пути исследователей ждут интересные открытия.

М. Рудомино

ДАР ИСПАНСКОГО НАРОДА

В одном из читальных залов Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, над старинными шкафами красного дерева, в которых тесными рядами выстроились книги, есть медная табличка с надписью: «Дар Республиканской Испании Советскому народу (1938)». И те, кто приходит в этот зал, нередко просят сотрудников библиотеки рассказать, как появилось здесь это собрание и почему ему отведено почетное место.

А история испанских книг необычна и, действительно, заслуживает подробного рассказа. О героических и трагических днях гражданской войны 1936—1939 годов в Испании есть уже тома исследований, романы, стихи. Я же как участник передачи уникальной коллекции могу рассказать подробнее об этом событии и о самом ценном даре.

Мысль о создании собрания испанских книг для нашей страны возникла на II Международном конгрессе писателей-антифашистов (июль 1937 года). Как известно, этот конгресс сыграл большую роль в деле сохранения культурных ценностей Испании.

В архиве ВГБИЛ есть копия письма от 15 октября 1937 года секретариата Министерства народного просвещения и искусств республиканской Испании, присланного в Народный комиссариат просвещения РСФСР. В письме говорится: «Мы посылаем в адрес Вашего Комиссариата первую партию (15 ящиков) наиболее характерных предметов испанской культуры, которые Министерство народного просвещения от имени испанского народа передает Советскому Союзу в канун празднования 20-й годовщины Октябрьской революции». В числе этих подарков была коллекция книг, насчитывающая более 1500 томов, которую весной 1938 года Наркомпрос РСФСР передал на вечное хранение Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы.

О том, как подбиралась эта литература, при каких обстоятельствах, где, когда и кем была создана коллекция, рассказыва-

ли и писали многие деятели советской культуры, участвовавшие в борьбе испанских республиканцев против франкистов.

Вот, например, что писал известный советский испанист, почетный доктор Мадридского университета, участник II Международного конгресса писателей-антифашистов Федор Викторович Кельин: «Культурное наследие Испании стремились сохранить и представители старшего поколения, назову в первую очередь знаменитого испанского поэта Антонио Мачадо (1875—1939), и творческая молодежь, выступавшая со своей собственной декларацией. Об этом стремлении проникновенно и ярко говорил один из виднейших испанских писателей Хосе Бергамин (1895—1983) на открытии Международного конгресса в Валенсии 4 июля 1937 года, а также члены нашей советской делегации Михаил Кольцов и Илья Эренбург».

Мысль о создании коллекции испанских книг в дар Советскому Союзу, которая впервые зародилась на II Международном конгрессе писателей-антифашистов (Валенсия—Мадрид—Барселона—Париж), была проведена в жизнь почти сразу.

В августе 1937 года в Валенсии—в то время столице республиканской Испании, при активном содействии Ассоциации культурных связей с СССР, была создана специальная правительственная комиссия, под руководством которой начали собирать «Библиотеку испанских книг», как ее называли в то время в Испании. В состав комиссии вошли крупнейшие ученые, писатели, представители общественности, среди них—видный архитектор Санчес Аркас, он же президент Ассоциации культурных связей с СССР. Возглавлял комиссию министр народного просвещения, член Компартии Испании Хесус Эрнандес, а его заместителем был известный испанский ученый, коммунист, профессор Венсеслао Росас.

Комиссия работала в чрезвычайно тяжелой обстановке—в промежутках между бомбардировками (Валенсию почти непрерывно бомбили фашистские самолеты). Однако в короткие сроки была собрана ценнейшая коллекция испанских книг, которая дала возможность советским людям более подробно узнать об Испании, о ее культуре, ее прошлом и настоящем.

В истории советских библиотечных коллекций этот книжный фонд получил устойчивое название—ДИН, то есть «Дар испанского народа». В фонд вошли книги, вышедшие в крупнейших издательствах Мадрида и Барселоны во второй половине XIX и первой четверти XX века. Книги и другие печатные издания подбирались так, чтобы можно было проследить развитие испанской культуры и науки, начиная с периода раннего средневековья до времени создания коллекции, по наиболее значительным произведениям испанских писателей, философов, ученых,

вошедшим в золотой фонд мировой культуры и науки и прославившим творческий гений испанского народа. Почти полвека назад эти книги обрели новую жизнь в Библиотеке иностранной литературы в Москве. Прошедшие десятилетия показали, что ДИН сыграл чрезвычайно важную роль, особенно в предвоенные годы, в формировании школы советских ученых-испанистов; по существу, впервые появилась широкая возможность читать книги выдающихся испанских писателей на языке оригинала. И сейчас ежедневно приходят в библиотеку люди, чтобы работать с этими книгами, делать выписки, составлять рефераты.

Исключительную ценность ДИНа представляет 71-томная серия под названием «Библиотека испанских авторов» — неоспоримое доказательство высочайшей духовной силы испанского народа. Уникальная «Библиотека» поражает широтой охвата имен, жанров, тем. Сюда вошли не только замечательные творения художественной литературы, начиная с «Песни о моем Сиде» до произведений писателей XVIII века, но и классические труды испанских историков, философов, лингвистов, образцы частной и деловой переписки XIV—XV веков, хроники завоевателей Латинской Америки и другие документы. В серии представлены лучшие произведения испанской культуры и науки средних веков и эпохи Возрождения, классицизма и романтизма, труды испанских просветителей, основные научные работы испанских авторов до XVIII века. Надо сказать, что «Библиотека», где в одном издании собраны все лучшие творения испанской культуры, практически почти не имеет себе равных по издательскому уровню тех лет. Каждый том серии представляет собой книгу большого формата в бежевом с золотом переплете, напечатанную мелким шрифтом в две-три колонки. Нумерация томов по срокам их выхода в свет не всегда соответствует хронологическому порядку развития испанской истории и культуры. Так, например, первые тома серии — это произведения Сервантеса, а в 40-й том включены рыцарские романы, написанные задолго до «Дон Кихота». Произведения Лопе де Вега и некоторых других испанских классиков рассыпаны по томам, которые выходили в разные годы. Знаменитые «Хроника кастильских королей» и «Хроника Альфонсо Мудрого», относящиеся к XIII веку, помещены в 66 и 70 томах. Однако это обстоятельство ни в коей мере не умаляет научно-исторической значимости всей серии.

Каждый том «Библиотеки» заслуживает подробного отдельного рассказа, поскольку в ее издании принимали участие крупнейшие испанские литературоведы, критики и ученые — авторы предисловий, комментариев, библиографических указате-

лей и т. д. «Библиотека» — ядро собрания ДИНа, представляющего огромную научную ценность.

Идея создания этой выдающейся «Библиотеки» принадлежит не академику, не писателю или издателю, она обязана своим появлением типографскому наборщику Мануэлю Риваденейре (1805—1878).

История жизни М. Риваденейры, полная ярких и удивительных приключений, могла бы стать сюжетом захватывающего романа. Его портрет находится в крупнейшем мадридском Музее современного искусства. Ему и созданной им книжной серии посвящены статьи в испанских энциклопедиях и специальные исследования. Вспоминаю, с каким восхищением рассказывал о нем один из пионеров советской испанистики В. С. Узин, называя Мануэля Риваденейру отважным и смелым героем, совершившим подвиг во славу испанской культуры. «Его жизнь — легенда», — говорил Владимир Самойлович.

В последнем, 71-м томе первого издания «Библиотеки испанских авторов» и его последующих переизданиях есть пространная биография Мануэля Риваденейры, написанная его сыном Адольфом.

Из этой биографии мы узнаем, что Мануэль Риваденейра был человеком, наделенным неистовой энергией, поразительной страстью к путешествиям, мужеством, любовью к риску. Должно быть, мужество и воля прежде всего помогли ему осуществить столь невероятную по трудности задачу, как издание огромной «Библиотеки испанских авторов», равной которой никогда не было в его стране. В молодости Риваденейра был простым наборщиком, но, пройдя школу мастерства на родине, а также в разных странах Европы, сумел стать первоклассным типографом. Он часто испытывал тяжелую нужду, но не падал духом.

В возрасте 35 лет он приступил к осуществлению своей мечты. В многотомную «Библиотеку испанских авторов», по его планам, должны были войти все лучшие произведения испанских писателей, философов, историков за все столетия. М. Риваденейра не располагал средствами для осуществления такой грандиозной задачи. Но неистовая вера в необходимость создания «Библиотеки» вселяла в него силы, и он отправился в Латинскую Америку, где, как он мыслил, ему удастся скопить денег для того, чтобы осуществить невиданное по размаху дело. В первый раз М. Риваденейра попал в Латинскую Америку в 1838 году и прожил в Чили до 1842 года. Расчеты М. Риваденейры оправдались. В Чили он основал несколько типографий, разбогател, добился славы и, по-прежнему одержимый мыслью о создании «Библиотеки испанских авторов», решил вернуться на родину. Возвращение длилось больше года, и по дороге домой он побывал

во многих странах Латинской Америки, проехал и исходил пешком сотни километров.

По тем временам М. Риваденейра был типографом самого высокого класса, однако понимал, что для издания энциклопедической «Библиотеки» нужны опытные помощники, глубоко знающие испанское культурное наследие. Совладельцем основанной им типографии «Публисидад» стал выдающийся каталонский литератор, критик и философ Карлос Арибау Буэнавентура (1798—1862), составитель и комментатор многих томов знаменитой «Библиотеки». Именно он привлек к литературной работе над «Библиотекой» самых блистательных писателей, исследователей и эрудитов Испании того времени — Х. Э. Арсенбуча, А. Дурана, К. Роселла, А. Фернандеса Герру, А. де Кастро и др.

Издание каждого тома обходилось очень дорого. Тиражи часто залеживались на полках книжных магазинов и в издательстве. Не раз барселонцу М. Риваденейре и его компаньонам грозил финансовый крах. Первый том «Библиотеки», опубликованный в 1846 году, спустя почти десять лет после зарождения столь фантастичной по тем временам идеи, не принес никакого дохода. Последующие тома выходили с большими интервалами. Но «Библиотеку» спасло упорство издателя. Еще три раза переплывал М. Риваденейра Атлантический океан. Он вез в Латинскую Америку немалую часть тиражей изданных томов, кое-какие товары, которые надеялся продать с немалой выгодой, в разных странах континента основывал книжные лавки, находил покупателей, подписчиков и снова возвращался на родину с деньгами, которые целиком уходили на издание «Библиотеки». Порой ему на помощь приходили испанские меценаты, но, по существу, издание каждого нового тома было подвигом М. Риваденейры и его соратников. В 1856 году депутат Кандило Поседаль внес на рассмотрение кортесов предложение о государственном субсидировании «Библиотеки испанских авторов». Предложение было одобрено, и с 38-го тома «Библиотека» стала стабильным и регулярным изданием. 64-й том появился уже после смерти ее основателя. В подготовке последних семи томов приняли участие его сыновья. В 1880 году после публикации 71-го тома серия «Библиотека испанских авторов» завершилась.

В первой половине XX века она не раз переиздавалась (в ДИНе хранится 8-е издание), а в 1954 году было возобновлено издание «Библиотеки» под руководством Испанской Королевской Академии.

Рядом с большими томами «Библиотеки испанских авторов» в ДИНе стоят сто четырнадцать томов «Библиотеки кастильских классиков» — маленького изящного формата в красивом коричневом переплете. Создание серии кастильских классиков было



*Испанский писатель И. Асеведо и директор ГБИЛ
М. И. Рудомино на открытии выставки ДИНа (1938, апрель)*

начато в 1910 году мадридским издательством «Чтение» («Ла Лектура») под руководством известного испанского литературоведа и критика Хосе Мариа Коссио. Эта «Библиотека» рассчитана на более широкий круг читателей. В ней представлены лучшие образцы испанской литературы, начиная от первых ее памятников и кончая художественными произведениями начала XX века. Серия кастильских классиков наряду с «Библиотекой» М. Риваденейры остается тоже одним из достижений книгоиздания Испании. Каждый том снабжен предисловием и комментариями наиболее авторитетных литературоведов и критиков Испании. Открывается «Библиотека кастильских классиков» стихами выдающейся испанской поэтессы XVI века Тересы де Хесус, а последний, 114-й том содержит классический плутовской роман Матео Алемана (1547—1614) «Жизнеописание плута Гусмана де Альфараче». В настоящее время новые тома этой серии выпускает в свет крупнейшее испанское издательство «Эспаса Кальпе».

Еще одна серия памятников художественной литературы, достойная упоминания,— это «Кастильские поэты» (в 14-ти томах); антология содержит лирические произведения испанских поэтов до конца XVI века. Каждый том предваряет обширное историко-литературное введение.

Большую научную ценность представляют также академические издания собрания сочинений классиков. Среди них произведения Сервантеса в 7-ми томах, 13-томное издание Лопе де Вега, 14 томов испанской лирики и другие собрания, подготовленные Королевской Академией Испании. Широко представлены в ДИНе ведущие испанские прозаики XIX и начала XX века. Особенно полно подобраны произведения выдающегося романиста Бенито Переса Гальдоса (1843—1920). Испанские друзья прислали в нашу страну 23 тома его исторических романов, объединенных в эпопею «Национальные эпизоды». Можно выделить также 15-томное издание сочинений прославленного испанского романиста, представителя «Поколения 1898 года»—Пио Барохи (1872—1956).

Украшением раздела художественной литературы ДИНа можно считать иллюстрированные факсимильные издания «Дон Кихота» Сервантеса, «Песен святой Марии» Альфонсо Мудрого, «Песенника» Хуана дель Энсины.

В собрании имеются монографии и исследования почти всех выдающихся испанских филологов и критиков XIX—начала XX века. Большой интерес представляют книги по лингвистике, и прежде всего труды Рамона Менендеса Пидалья «Происхождение испанского языка», «Лингвистические документы Испании», а также труды известного испанского лингвиста Томаса Наварро Томаса.

Широко представлена и литература по истории Испании. В первую очередь следует назвать «Всеобщую историю Испании» Модесто Лафуенте; фундаментальный труд в 4-х томах «Испанская цивилизация» известного историка и общественного деятеля Рафаэля Альтамыры.

Среди книг по искусству — красочные альбомы с репродукциями работ итальянских художников, монографии о всемирно прославленных мастерах испанской живописи Эль Греко, Мурильо, Веласкесе, Гойе, Рибейре. В этот раздел вошли редкие издания по архитектуре Испании. Особый интерес для советских людей представляет комплект журнала «Архитектура» за 1918—1936 годы.

В собрании ДИНа немало книг, знакомящих нас с обычаями, праздниками, народными традициями разных областей Испании. Библиографической редкостью стали отдельные монографии и каталоги выставок, посвященных испанским национальным костюмам, веерам, гребням. Среди изданий по испанской музыке — сборники народных испанских романсов с нотами, знакомящие с богатым музыкальным фольклором Испании.

Почти все подаренные книги были одеты в новые переплеты, специально заказанные отборочной комиссией республиканской Испании. На обороте титульного листа каждой книги поставлена круглая красная печать с надписью на испанском языке «Дар Министерства просвещения и искусств». В свою очередь Библиотека иностранной литературы постаралась сразу выделить эту коллекцию в своем фонде, подчеркнуть ее особую историческую и научную ценность.

Для ознакомления советских читателей с даром испанского народа Библиотека иностранной литературы организовала выставку, которая помещалась в те годы в небольшом здании ГБИЛ — бывшей церкви Козьмы и Демьяна по Столешникову переулку.

В архиве Библиотеки сохранилась докладная записка на имя наркома просвещения РСФСР от 23 мая 1938 года, в которой говорится, что выставка была развернута на 10 стендах. Она имела четыре раздела. В первом — «Борьба за революционную Испанию» — были представлены документы республиканской Испании, сражавшейся против фашизма. Второй раздел посвящался отражению в испанской литературе идей свободы, независимости, гуманизма. Из фондов ГБИЛ были отобраны для третьего раздела переводы испанской литературы на русский язык, изданные в СССР, а четвертый раздел рассказывал об изучении испанского языка.

Выставку посетила Надежда Константиновна Крупская и дала о ней одобрительный отзыв.

В праздничной обстановке в присутствии видных представителей советской науки, литературы и искусства 15 апреля 1938 года Библиотека иностранной литературы организовала общественный смотр выставки испанских книг. По традиции была разрезана алая лента. Заместитель народного комиссара просвещения РСФСР — председатель торжественного собрания — подчеркнул: «Этот подарок собирался с исключительным энтузиазмом и теплотой... Даже при белом осмотре мы видели, какую громадную литературно-историческую ценность представляет собрание. Замечательный подарок Испанской Республики позволит нашим читателям еще шире познакомиться с сокровищницей испанской литературы...»

С большим вниманием была выслушана речь только что прилетевшего в Москву из мужественно борющейся с франкистами республиканской Испании Михаила Кольцова, который сказал:

«Война уничтожает культурные ценности, но на этот раз это революционная война, война народная, она пробудила колоссальную жажду народа к знаниям, пробудила интерес к литературе, и мы знаем, что в условиях труднейшей борьбы правительство народного фронта развертывает просветительную работу, устраивает рабочие факультеты, создает библиотеки не только на фронте, но и в тылу. Мы видели, как в осажденном Мадриде в нетопленных холодных библиотеках под покровительством военных частей ученые и литераторы продолжают свою работу. Огромная тяга к культуре, которая проснулась у испанского народа, — быть может, то, что более всего поражает в этой войне, и для всех, кто готов осмыслить эту жизнь, эти события, борьба испанского народа есть борьба за культуру, за знание, за те книги, которые присланы сюда...»

Закончил свое выступление М. Кольцов словами: «Мы принимаем этот подарок с волнением и любовью, как залог нашей дальнейшей дружбы с испанским народом, который сейчас пишет лучшую страницу в истории человечества».

Илья Эренбург посвятил свою речь важнейшим этапам развития испанской литературы, рассказал о том, что происходило в Испании в те дни: «Вчера ночью я слушал радиопередачу из Саламанки. Фашисты сообщили, что 1500 испанских книг, подаренных Республикой советскому народу, прибыли в Москву. Они говорят об этом не только с привычной бранью, но и с глубоким прискорбием. По примеру своих германских наставников, фашисты любят жечь на площадях книги. Им обидно: эти 1500 книг они не сожгут. Конечно, им не уничтожить ни духа испанского народа, ни его великолепного литературного наследства... С любовью, с благодарностью, с благоговением мы принимаем в дар

книги великих писателей Испании. В них мы находим новое объяснение мужеству защитников Мадрида...»

Взволнованно выступил на собрании 70-летний писатель, один из основателей Компартии Испании Исидоро Асеведо (1867—1952). Он говорил о героизме своих соотечественников, о своем участии в борьбе с фашизмом. В моей памяти И. Асеведо, который с 1937 года постоянно жил в СССР, навсегда остался близким другом Библиотеки иностранной литературы, неустанным помощником в деле пропаганды испанской литературы. Он часто выступал в стенах Библиотеки, читал произведения писателей Испании и свои рассказы.

Крушнейший испанист Виктор Кельин подробно рассказывал, в каких трудных условиях создавалась коллекция испанских книг в Валенсии, Мадриде и других городах сражающейся Испании.

Закрывая собрание, председатель выразил глубокую благодарность республиканскому правительству за исключительный подарок.

Большую работу провели сотрудники Библиотеки иностранной литературы, чтобы познакомить широкие круги советских читателей с этим бесценным даром. Следует напомнить, что еще в конце 20-х годов Библиотека организовала свои филиалы на фабриках и заводах столицы. В этих филиалах работали открытые библиотекой кружки иностранных языков для рабочих и инженерно-технических работников, в том числе и кружки по изучению испанского языка.

Через две недели после торжественного собрания в ГБИЛе вся выставка испанских книг была перевезена в филиал Библиотеки на автозавод Москвы. 28 апреля 1938 года здесь, во Дворце культуры, состоялся большой вечер. О выставке, о книгах испанских авторов говорили И. Эренбург, В. Финк, М. Урнов. Вечере приняли участие И. Асеведо, итальянский прозаик Д. Джерманетто и китайский поэт Эми Сяо. Затем рабочие автозавода читали стихи на испанском языке.

В специальном приказе наркома просвещения РСФСР от 14 июня 1938 года была выражена благодарность коллективу Библиотеки иностранной литературы за активную и успешную организацию выставки.

В настоящее время фонд ВГБИЛ на испанском языке насчитывает более 50 000 томов. Ежегодно из Испании приходит сюда около тысячи книг.

Олег Ласунский

ПЕРЕЧИТЫВАЯ КАТАЛОГИ

Как всякое самобытное явление культуры, библиофильство с годами вырабатывает внутренние, так сказать, «ведомственные» привычки, без которых, я уверен, оно потускнело бы, обесцветилось. К их числу надлежит отнести традицию выпуска специальных малотиражных изданий, на первый взгляд, незначительных, в действительности же весьма полезных, более того — насущно необходимых, поскольку они выполняют функцию своеобразных стимуляторов в библиофильском движении.

Разобраться в этом пестром «хозяйстве», учесть и освоить накопленные богатства, наконец, наметить четкие перспективы — задача весьма существенная. Не претендуя на ее окончательное решение, попытаюсь осмыслить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию.

В обзоре будут фигурировать издания последних лет. Это преимущественно справочно-библиографические труды, увидевшие свет на заказных началах по линии Общества книголюбов или крупных общественных библиотек.

Важным элементом в системе советского библиофильства были и остаются клубы книголюбов, сплотившие в своих рядах самых ревностных и бескорыстных поклонников печатного слова. Некоторые из клубов имеют многолетнюю историю, другие созданы сравнительно недавно. Но если у руля стоят энергичные люди, можно не сомневаться: там кипит жизнь. Одно из ее проявлений — издание клубных хроник. Формально они отражают прошлое, но, как любой итоговый, суммарный материал, не в меньшей мере ориентированы на будущее, так как помогают оценить слабые и сильные стороны деятельности, вычленив в ней позитивные тенденции, определить динамику роста и дальнейшую стратегию.

В 1983 году в столице вышли два указателя, подготовленные клубом книголюбов при Центральном Доме литераторов им. А. А. Фадеева (тираж 1500 экз.) и секцией книги Московского

Дома ученых АН СССР (тираж 2000 экз.). Принцип организации материала в указателях различен: в первом случае берется за основу статистический подход (150 проведенных заседаний), во втором — временной (30 лет существования секции). Не схожи и другие, более частные параметры изданий. Но сейчас важнее подчеркнуть то, что, напротив, сближает этот московский опыт и что, следовательно, делает его образцом для периферийных библиофильских объединений.

Перед нами — не просто механически выполненная опись тематики прослушанных докладов, сообщений, выступлений, а некая «движущаяся система». Печатные хроники, несмотря на их лаконичный библиографический язык, дают достаточно яркое представление о характере деятельности этих клубов. Знакомясь с перечнем названий и ораторов, сопоставляя и анализируя тематику с разных точек зрения, ясно видишь картину большой плодотворной работы.

Вот, к примеру, писательский книжный клуб, о котором в емком предисловии говорит его председатель Е. И. Осетров. Хроника 150 заседаний отчетливо запечатлела роль и место клуба в литературской среде. Каких только уважаемых имен не встретишь тут — В. Лидин, В. Шкловский, А. Барто, С. Наровчатов, И. Андроников, А. Жигулин, В. Каверин, Л. Озеров и многие другие! Хорошо просматривается специфика клуба. Издательские премьеры, автор и его книги, судьбы писательских библиотек — эти и другие магистральные направления в деятельности книголюбительского объединения формируют его лицо, привлекают своего постоянного посетителя. Заслуживает внимания география выступающих (не мешало бы это зафиксировать и в самом указателе!). На заседания приезжали библиофилы из Воронежа, Еревана, Кирова, Ленинграда, Тбилиси, Харькова, Ялты. Клуб стал подлинным очагом книжной культуры, привлекающим на свой гостеприимный огонек энтузиастов из различных уголков страны.

Нельзя не упомянуть и о внешнем облике издания. Элегантный малый формат, мелованная бумага, строгие шрифты, эмблема-заставка и множество иллюстраций (воспроизведены преимущественно писательские экслибрисы) — все это доставит эстетическое наслаждение библиофилам.

Чего не хватает хронике? Вспомогательного справочного аппарата. В этом смысле необходимо похвалить аналогичное издание секции книги Одесского Дома ученых — «15 лет — 300 заседаний» (Одесса, 1982. Тираж 800 экз. Составительский коллектив: Б. С. Амчиславский, Ю. М. Иноземцев, С. З. Лущик). В нем есть аннотированный алфавитный указатель докладчиков и выступавших. Имеется и соответствующая ссылка к номерам

заседаний. Это дает в руки ключ к книге, работа с нею сразу становится более эффективной.

Одесская хроника позволяет судить о жизни одной из старейших библиофильских организаций на периферии. Тут — свой профиль, свои опорные точки. Секция пристальное внимание уделяет книгам, посвященным родному городу. Это — естественно. Но отрадно, что она не замыкается в местной тематике, а охотно выходит на «оперативный простор». Многие заседания посвящены корифеям русской и мировой литературы (особое внимание — к А. С. Пушкину), биографиям знаменитых книг. Судя по разным хроникам, и одесской в частности, можно отметить, что в практику все активней входит такая интересная форма коллективного общения, как устный альманах библиофила. Одесский указатель густо насыщен фамилиями докладчиков — это свидетельствует о значительных книголюбских резервах города.

К чести одесситов надобно сказать, что по части внешней изысканности они превзошли москвичей. Хроника отпечатана в миниатюрном формате (это как бы автоматически повышает в глазах некоторых собирателей класс издания), в твердом переплете, облаченном в суперобложку. Одесские библиофилы, наследуя старые добрые традиции, сделали внутри основного тиража 100 особых нумерованных экземпляров — некоторые из них даже имеют дополнительные вложения или оттиснуты на разноцветной бумаге.

Во второй части указателя, выпущенной два года спустя (Одесса, 1984. Тираж 400 экз. Составитель С. З. Лущик, под редакцией Ю. М. Иноземцева), скрупулезно учтены все издания секции (60 названий), отклики о ее работе на страницах центральной и местной прессы, публикации членов секции на библиофильские темы и пр. Информация, которая содержится в книжке, значительно дополняет представление о характере и направленности многообразной деятельности секции. Удобен справочный аппарат, позволяющий легко находить необходимые сведения. Указатель вышел тем же миниатюрным форматом и в однотипном оформлении...

Немалый интерес представляет хроника 50-ти собраний секции миниатюрных изданий Ленинградской организации ДОК РСФСР (Л., 1984. Тираж 400 экз. Составитель В. В. Манукян). Требуемая по самой природе жанра лаконичность записей не помешала насытить их максимальной информацией. Из миниатюрной книжечки мы узнаем о проблематике очередного собрания и о том, например, кто из иногородних гостей на нем присутствовал, где оно проходило, каков состав секционного бюро в данном сезоне. В виде приложения даны список изданий

секции (9 названий), перечень печатной литературы о деятельности секции, а также указатель публикаций, посвященных ее членами миниатюрным изданиям. «Мальшка» украшена гравюрами, нарезанными известным ленинградским художником Ф. Ф. Махониным, и «упрятана» в суперобложку. К сожалению, в хронике отсутствует именной указатель.

К числу плодотворно работающих клубов следует отнести «Орловский библиофил». Перед нами любовно подготовленная хроника двадцати пяти заседаний (Орел, 1984. Тираж 100 экз. Составитель и автор вступительной статьи А. С. Захаров). Издание вышло как специальное приложение к памятке 26-го заседания клуба. Вообще, орловский опыт весьма поучителен. Он еще и еще раз убеждает: там, где есть инициативные люди, многое можно сделать. Например, к 17-му заседанию была выпущена восьмистраничная памятка — по виду маленькая брошюрка: в ней помещен краткий словарь деятелей книги — уроженцев орловского края. Ценное начинание. Было бы хорошо, если бы ему последовали в других городах.

А. С. Захаров внес в свою хронику любопытное нововведение: стал указывать, сколько лиц присутствовало на том или ином заседании. Ясно, что количественный показатель в библиофильстве еще менее объективен, чем где бы то ни было. И все же как дополнительный мазок к общей картине он приемлем. Остается добавить, что из общего числа экземпляров хроники 15 пронумерованы от руки и снабжены офортом, произведением местного графика.

Пермь... Вот еще один город, снискавший себе среди библиофилов авторитет. Здесь с большой творческой отдачей работает областная секция любителей миниатюрных изданий. Передо мной — две одинакового, «карликового» формата книжечки, на обложке которых оттиснуты золотом цифры 50 и 100. Формально это — памятки к соответствующим заседаниям секции, а фактически — «двухтомная» хроника ее деятельности (Пермь, 1980 — 1982. Тираж 200 экз. Составители И. Я. Дюдин, Э. Н. Нелюбина).

В предисловии ко второму выпуску справедливо утверждается, что такого рода издания могут и должны иметь большое значение в качестве методического пособия для городских и районных организаций Общества книголюбов. Заметим, кстати, что уже первый выпуск пермяков не остался незамеченным. Он получил одобрение Президиума республиканского правления ДОК РСФСР.

Удивительное дело: изучаешь печатную хронику и воочию представляешь, никогда не бывав в Перми, дружеский круг увлеченных своей страстью собирателей. Они отнюдь не только узкие специалисты: их волнует искусство, они часто навещают

свою художественную галерею, бывают на театральных премьерах, вернисажах. Примечательная черта пермяков: они не терпят оседлости, привычки к одним и тем же стенам. Хроника пестрит сообщениями о выездных заседаниях. Книголюбые сами много ездят по свету (и непременно потом отчитываются перед товарищами), да и к себе нередко приглашают коллег из других, ближних и дальних мест. Эта хорошо отлаженная система взаимных межбиблиофильских связей и контактов — серьезное достижение пермяков. Нельзя не подчеркнуть стабильности их работы в целом, о чем, в частности, говорят постоянно действующие тематические циклы.

Пермские миниатюристы прославились не только содержанием, но и изяществом своих изданий. Чувствуется, что им нравится экспериментировать, искать новые пути, доставлять себе и другим библиофильские радости.

Создание клубных историй-хроник — дело нужное и перспективное. Приходится сожалеть, что многие ведущие организации книголюбов (например, в Ленинграде, Киеве, Минске) до сих пор не располагают подобными указателями. Это сильно обедняет современный библиофильский процесс, лишая его возможности рационального обмена идеями, методикой, опытом...

Существенной формой пропаганды книги, в том числе редкой и ценной, знаний о ней является проведение разнообразных публичных выставок. С их помощью сокровища домашних библиотек зачастую становятся общественным достоянием. Толково спланированная, тщательно подготовленная и широко разрекламированная (в хорошем смысле слова) книжная выставка в состоянии стать ярким событием в духовной жизни города, области, края.

Любая экспозиция недолговечна. Но есть испытанное средство продлить выставку — издать ее каталог. Дело это, хотя и хлопотливое, но вполне реальное. Перелистаем страницы некоторых новейших каталогов.

Вот описание литературы из личных коллекций членов секции краеведения ДОК УССР (Киев, 1982. Тираж 300 экз.). Его составил В. Г. Киркевич, большой знаток прошлого и настоящего украинской столицы. В перечне более 350 названий. В виде приложения выделены экземпляры с автографами и дарственными надписями деятелей национальной культуры профессору М. И. Коломийченко (из собрания М. А. Грузова).

Выставка краеведческой литературы, а тем более выпуск соответствующего каталога — увы, не частое явление. А ведь именно подобные выставки и каталоги демонстрируют и пропагандируют подлинные богатства печатного слова, сосредоточенные в частных коллекциях. Библиографические указатели такого

типа резко отличаются один от другого по своему содержанию, поскольку сам материал разнороден.

Как ни печально, этой индивидуальности лишены бесчисленные местные каталоги выставок миниатюрных книг. Все они поразительно однообразны (исключение составляют, пожалуй, только пермские издания), повторяют друг друга и в совокупности представляют довольно унылую картину.

Иное дело — выставка специализированная, которая побуждает ее творцов идти не вширь, а вглубь. Каталог ее несет гораздо бóльшую информативную нагрузку, да и обличье у него, как правило, оригинальнее. Назовем, к примеру, такие издания, как «Миниатюрная Пушкиниана» (Дзержинск Горьковской обл., 1980. Тираж 125 экз. Составители В. А. Разумов, С. А. Першин), «Старые одесские миниатюры» (Одесса, 1983. Тираж 300 экз. Составитель М. Р. Бельский), «Из книг об экслибрисах» (Л., 1983. Тираж 400 экз. Составитель В. В. Манукян) и др.

Вообще, к изданию выставочных каталогов нужно относиться с высокой мерой ответственности. Только тогда гарантирован успех. Отличным подтверждением этой простой истины может служить ленинградский каталог «Художник и полиграфия» (Л., 1981. Тираж 150 экз. Составитель и автор статьи «Из истории русских иллюстрированных изданий» Я. С. Сидорин, автор вступительной статьи И. Г. Мямлин). Известный собиратель Я. С. Сидорин представил на выставку — она проходила в стенах Ленинградского художественно-промышленного училища им. В. И. Мухомой — отечественные шедевры, выпешшие под эгидой Кружка любителей русских изящных изданий, а ленинградская типография № 3 им. Ивана Федорова — образцы своих полиграфических работ.

Вот некоторые внешние особенности каталога этой выставки: мелованная бумага, суперобложка нежно-серебристого тона, отдельный листок с изъявлением благодарности экспонентам и коллективу учебно-производственных мастерских Ленинградского издательско-полиграфического техникума, где печаталась книжка, а к 25 экземплярам приложен нумерованный пригласительный билет на выставку — для ее устроителей. Все продумано до мелочей, на всем лежит отсвет добросовестного и пристрастного отношения к реализации замысла.

В Москве высоких результатов достиг научно-методический совет по выставкам при городской организации ДОК РСФСР. По его почину было проведено несколько впечатляющих выставок, каждая из которых оставила заметный след в библиофильских анналах столицы. Издания М. и С. Сабашниковых, сатирические журналы эпохи первой русской революции, издания И. Н. Кнебеля, издания и книжная графика «Academia», иллюстрированные

самоделки М. И. Полякова — эти выставки сопровождались отменно сработанными каталогами, способными украсить любую библиотеку.

Московские каталоги — заметное явление в сегодняшнем библиофильском мире. Все они заслуживают, бесспорно, обстоятельного разбора. Остановимся только на одном из них: «Рукописные книжечки М. Полякова» (М., 1984. Тираж 500 экз. Составитель М. Ю. Панов).

М. И. Поляков имел «странную» привычку выполнять для себя и друзей написанные от руки книжечки. Он был виртуозом каллиграфии и талантливым гравером. Раньше других увлечение оценил искусствовед М. Ю. Панов, который любил похвалиться перед приятелями-библиофилами полным комплектом поляковских книжечек. Он-то и составил их подробный указатель, где учтено 28 названий. Одно из них, пушкинский «Пророк», цинкографически воспроизведенное, дается как приложение к каталогу.

Поляковские самоделки хранятся сейчас в личных коллекциях, оседают в музеях и государственных архивохранилищах. Поэтому выпуск каталога следует рассматривать не только как дань памяти оригинального художника, но и как необходимое подспорье для всех, кого волнует судьба этих созданий пера и штихеля...

Библиофилам, как хлеб и воздух, нужна многообразная справочно-библиографическая литература. Без нее мертво любое собрание. Она вооружает неопитов той ариадниной нитью, с которой не страшно вступить в пределы книжного лабиринта. Она требуется и выдавшим виды ветеранам. С этих позиций достойна поддержки всякая инициатива, даже если она исходит не от профессионалов, а от любителей — лишь бы качество работы было достаточно высоким.

Библиофилы-любители чаще всего пробуют себя в таком жанре, как описание собственной библиотеки. Благодаря этому на местах появилось немало изданий, которые вводят в общественный обиход огромный массив книг, находящихся в личном владении. Каждое из таких изданий по-своему примечательно и вызывает к персональному вниманию. Новейшие каталоги домашних собраний — также любопытный повод для обзора.

В. Петров

БИБЛИОФИЛЫ СПОРЯТ

2-я научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы теории и истории библиофильства».
Ленинград, октябрь 1985

В глубь тысячелетий уходит своими корнями волнующее чувство любви к книге, стремление обладать ею, желание знать о книге как можно больше. Людей, одержимых этой высокой страстью, именуют библиофилами.

Но что знаем мы о библиофильстве — общественном явлении, сопутствующем человечеству вот уже почти шесть тысяч лет? Каким потребностям общества отвечает оно? В какой степени зависит от развития материальной и духовной культуры общества? Изменяется ли библиофильская психология или в основных чертах остается неизменной?.. Можно ставить все новые и новые вопросы, и сегодня еще не на все из них можно получить однозначные ответы.

Во второй половине XX века в социалистическом обществе интерес к книге стал всенародным. Именно этим обусловлено рождение массовой организации — Всесоюзного добровольного общества любителей книги. На повестку дня стала проблема управления сложными социальными процессами — потреблением книги, воспитанием читательских и собирательских вкусов. В решении этих важных и неотложных задач призваны были сказать свое слово и библиофилы, ценители и знатоки книги, обладатели подчас уникальных культурных ценностей.

Не случайно в 60—80-х годах появились работы П. Н. Беркова, В. В. Кунина, О. Г. Ласунского, В. Г. Лидина, А. И. Маркушевича, Е. И. Осетрова, В. А. Петрицкого, Е. Д. Петряева, М. В. Раца, И. Н. Розанова, А. А. Сидорова, Н. П. Смирнова-Сокольского, в которых не только рассматривались отдельные этапы истории отечественного и мирового библиофильства, но и предпринимались попытки выявить его природу и сущность.

Большой и все возрастающий интерес к различным сторонам библиофильства, установлению его социальных функций и роли в современном социалистическом обществе побудил группу энтузиастов-исследователей Секции книги и графики Ленинградского

Дома ученых АН СССР провести в 1982 году первую в истории нашей страны научно-практическую конференцию библиофилов. Она имела бесспорный успех, и решено было через три года вновь собраться в Ленинграде.

16 октября 1985 года в Ленинградском Доме ученых АН СССР открылась 2-я научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и истории библиофильства». С приветствием к ее участникам обратился председатель Центрального правления ВОК академик И. В. Петрянов-Соколов. «Ваша общественная деятельность,—подчеркивалось в приветствии,—способствует распространению знаний истории и искусства книги, формированию высоких читательских вкусов, культуры чтения, навыков работы с книгой».

Ответственные задачи «более глубокого постижения сущности библиофильства как общественного явления» и дальнейшей активизации сотрудничества библиофилов с обществом книголюбов, государственными книгохранилищами наметил перед участниками конференции в своем вступительном слове член-корреспондент АН СССР, председатель Правления Ленинградской организации ДОК РСФСР М. Н. Боголюбов.

Если попытаться коротко охарактеризовать отличительные особенности конференции, ее следовало бы назвать форумом единомышленников и одновременно — оппонентов. На конференции — и при обсуждении сообщений, и в кулуарах, и даже в обеденный перерыв — много спорили. Споры были подчас эмоциональными, но всегда плодотворными.

Естественно, в центре внимания оказались вопросы теории. Они ставились и решались в сообщениях И. К. Григорьева «Объект и предмет библиофиловедения» (Ленинград), О. Г. Ласунского «Жизнь книги как библиофиловедческая проблема» (Воронеж), В. А. Петрицкого «Сущностные черты библиофильства» (Ленинград).

Отмечалось, что библиофильство было порождено общественной потребностью сохранять и передавать из поколения в поколение материально зафиксированную в книгах информацию. Именно поэтому оно определяется как разновидность творческой деятельности, заключающейся в целенаправленном индивидуальном собирательстве книг, рукописей, документов, их описании и изучении. Теория призвана исследовать библиофильство как целостную систему идей, принципов, своеобразной психологии, непременно учитывая при этом индивидуально-пристрастное отношение человека к книге и особенности жизни отдельно взятого экземпляра того или иного издания.

Что и как собирать — эти вопросы обсуждались в сообщениях, посвященных методике библиофильства. Своеобразной «библи-

офильской целиной», как убедительно показал Ю. В. Маретин, все еще остается массив изданий периода Великой Отечественной войны. Немало открытий сулит библиофилам собирательство и тщательное изучение изданий, вышедших в действующей армии. «Задача библиофилов,— подчеркнул докладчик,— выявить и сохранить для потомков эти уникальные документы истории».

Культурному и научному значению собирательства, изучению отечественной старопечатной книги посвятил сообщение Ю. П. Яковлев (Ленинград). И здесь возможны открытия нового, ранее неизвестного науке — вариантов изданий, пополнения корпуса владельческих и дарственных записей. Библиофилам, собирающим русскую старопечатную книгу, по мнению докладчика, необходимы методическая и правовая консультации со стороны заинтересованных научных учреждений.

Комплексный подход к изучению личных писательских библиотек, говорилось в сообщении В. Н. Баскакова, открывает много новых возможностей для исследования как биографии, так и творческой лаборатории писателя. Полученные материалы обогащают понимание психологии творчества, питают ценными фактами литературную науку, историю библиофильства.

Значительный практический интерес представило сообщение Ю. М. Иноземцева (Одесса) о возможностях издательской деятельности клубного библиофильского объединения, их реализации в работе секции книги Одесского Дома ученых. Докладчик продемонстрировал немало отличных изданных библиографических указателей, памяток заседаний и выставок секции и рассказал о том, как силами библиофилов в содружестве с Одесской организацией ДОК УССР и другими общественными организациями осуществляются интересные издательские начинания.

Как ни парадоксально, но мы сегодня больше знаем о прославленных книжных собраниях XVIII века, о знаменитых библиофилах пушкинской поры, нежели о тех ревнителях книги, которые жили в недалеком от нас время. Поэтому одна из актуальных задач — изучение истории отечественного библиофильства. Участники конференции впервые услышали о библиотеках П. П. Кудрявцева (сообщение С. И. Белокопя, Киев), Е. Я. Архипова (сообщение В. П. Купченко, Феодосия), Ф. Ф. Нотгафта (сообщение А. А. Матьшева, Ленинград), И. М. Саркизова-Серазини (сообщение М. П. Иващенко, Феодосия).

Малоизвестные факты о роли книги в жизни и творчестве А. Н. Радищева (сообщение А. А. Шмакова, Челябинск), декабристов Бестужевых (сообщение Р. И. Цуприк, Чита), Н. А. Добро-

любова (сообщение Б. Ф. Егорова, Ленинград) соседствовали с оригинальным материалом об эстонских библиофилах XIX—начала XX века (сообщение Э. К. Тедера, Таллин), о вкладе русских библиофилов XIX века в коллекцию «Россика» Публичной библиотеки в Петербурге (сообщение Н. А. Гринченко, Ленинград).

Изучение личных библиотек все основательнее ставится на солидную научную основу. Лучшим доказательством тому явилось сообщение А. С. Мыльников «Каталоги библиотек ученых как историко-культурный источник» (Ленинград). Докладчик получил новые, весьма интересные факты, используя системно-региональный метод исследования библиотек. Е. Л. Немировский (Москва), используя материалы изучения частных русских библиотек XVIII—XIX веков, рельефно осветил роль библиофилов в сохранении славянской старопечатной книги (на примере изданий Ф. Скорины).

Внимание участников конференции привлекли также сообщения Л. А. Мнухина (Москва) о проблеме воссоздания библиотеки Марины Цветаевой, Ф. М. Лурье—о библиотеке известного историка П. Е. Щеголева, С. А. Полозковой—о сокровищах книжного собрания Н. К. Пиксанова, которое хранится ныне отдельным фондом в Пушкинском Доме.

Не забыты и имена наших современников. Н. М. Сикорский (Москва) представил насыщенное малоизвестными фактами и важными выводами сообщение о библиофильской и книговедческой деятельности А. И. Маркушевича. Ж. К. Сералиева, опираясь на архивные материалы, установила органичную связь организационно-библиофильской работы П. Н. Беркова с его исследованиями по истории советского библиофильства. Большое оживление в работу конференции внесло выступление Ю. Ф. Шульца (Москва). Он поделился воспоминаниями об А. И. Маркушевиче.

Бурной дискуссией сопровождалось заседание, посвященное книжной графике и экслибрису. Споры вызвали сообщения В. М. Бреслера «Прошлое и будущее библиофильских иллюстрированных изданий» (Ленинград) и М. В. Раца «Искусство книги в библиофильском собрании» (Москва). Выступавшие так и не пришли, кажется, к единому мнению о том, что же следует понимать под библиофильским изданием и в каком случае обычное издание становится библиофильским.

Закономерен был интерес к сообщению С. И. Богомолова «Свод российского книжного знака (1800—1918)» (Москва). Подвижнический труд, предпринятый энтузиастом, несомненно заслуживает внимания и поддержки со стороны книговедов, историков культуры, издателей.

Конференция завершилась принятием рекомендаций. Для гостей были организованы экскурсии в отдел редкой книги Библиотеки АН СССР и в фонды библиотеки Государственного Русского музея. Выпущен сборник тезисов сообщений, сделанных на конференции. А интерес ко всему, о чем говорилось на заседаниях, несомненно велик: участники конференции представляли 22 города нашей страны, приехали в Ленинград из восьми союзных республик. Среди них 16 докторов и 34 кандидата наук, 16 членов творческих союзов — писателей, художников, ВТО, 14 председателей библиофильских секций и клубов...

Поистине, любви к книге «покорны» физики и лирики, стар и млад, жители столиц и далеких северных селений.

Новую встречу библиофилов намечено провести на берегах Невы в 1988 году.

Ян Маерник

«КОГДА ПОЭТ ПЕРЕВОДИТ...»

Беседу вела Людмила Букина

Ян Маерник — известный словацкий поэт и переводчик, автор книг «Миг взросления», «Это случилось», «Откуда», «За светом в окошке», «Я шел по грибы». Стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Асеева, Александра Твардовского, Бориса Слуцкого, Евгения Винокурова, Беллы Ахмадулиной стали достоянием словацкого читателя благодаря переводам Яна Маерника.

— *Расскажите, пожалуйста, о вашем пути к русской литературе, о книгах, повлиявших на ваше мировоззрение и определивших выбор профессии.*

— Мое отношение к русской и советской литературе складывалось, можно сказать, в несколько этапов. Помимо школы любовь к ней мне привил словацкий поэт Янко Есенский, который не просто переводил Пушкина, Есенина — они самым серьезным образом повлияли на его собственное творчество. Помню, фотографию Есенина я даже окантовал в березовую рамку и повесил в своей комнате. Незадолго до окончания школы я влюбился — мы как раз проходили Пушкина — вот я и сподобился сочинить такого провинциального «Евгения Онегина»... Он благополучно канул в Лету, ведь пушкинский Онегин — неповторим!

Жил я в южном пыльном равнинном городке и там впервые увидел кочующих цыган. Это настолько разбредило мою жаждущую романтики юношескую душу, что на одном дыхании перевел «Цыган» Пушкина (наверное, не безнадежно плохо — позже опубликовал часть этого первого в жизни перевода). Потом пришло восхищение мастерством Гончарова — «Обрыв» и «Обломов» перечитывал в оригинале несколько раз и, возможно, поэтому мне удалось написать хорошее сочинение на выпускном экзамене по русскому языку.

В Братиславский университет поступил на исторический факультет. Впрочем, после первого же семестра перешел на филологический (русский и словацкий языки) и тем самым перевел свой интерес к русской и советской литературе с

Ян Маерник



романтических на реалистические рельсы. Университет закончил в 1959 году.

— *Ваша дипломная работа была связана с филологией или с лингвистикой?*

— Тему я выбрал такую: «Современная молодая словацкая литература». Мне не стоило особого труда написать дипломную работу, потому что во время учебы я уже работал редактором журнала, где печатались молодые литераторы (сейчас они стали маститыми писателями), то есть многое знал об их творчестве в отличие от преподавателей, которые еще не успели их заметить. К моей работе была всего одна претензия — неверное построение фразы, — так что диплом я все-таки защитил.

В то время я был чрезвычайно активен творчески: редактировал, заседал в комиссиях, редсоветах, писал и публиковал

стихи, критические статьи, переводы. Тогда же издал две книги современной индийской поэзии...

— Мне как переводчику монгольской поэзии особенно дорог ваш интерес к Востоку. И в то же время понятно тяготение к славянским литературам: зная основательно два-три родственных языка, чувствуешь себя свободно в стихии славянской речи. Так, русский, украинский и польский делают для меня, например, доступным белорусский язык, дают возможность читать со словарем на словацком...

— Я немного научился польскому и перевел избранные стихи Тадеуша Ружевича («Тревога», 1961), Константы Галчиньского («Волшебные дрожки», 1963), позже — чешского поэта Ивана Скалу («Что возьму в дорогу», 1979). С помощью специалиста по украинскому языку перевел избранные стихи Ивана Драча («Полевой цветок», 1971), а в дальнейшем уже самостоятельно работал над книгой Бориса Олейника «Повторение огня» (1982), антологией «Чистыми руками» (1980), над стихами поэтов из национальных республик, переведенными на русский язык, — хотя такой «многоступенчатый» перевод не считаю идеальным.

— Лет десять назад, вступая в литературный мир, я с удивлением и недоумением узнала о том, что существует отряд переводчиков, не пишущих стихи, но активно переводящих поэзию. Они чрезвычайно плодовиты, производимый ими «поточный вал» переводной поэзии угрожает захлестнуть поэзию истинную. Может быть, существует особый дар — умение рифмовать слова, — который становится профессией? Но ведь от зарифмованных строчек до поэзии — такой же долгий, вернее, безнадежный путь, как от манекена до живого человека. Невольно вспоминается шуточное определение поэзии, данное А. Жаровым:

Стихи — это строчки разной длины

С пустыми местами с каждой стороны...

Вы много лет работаете в литературе, имеете большой опыт как поэт и переводчик и наверняка размышляли над этими вопросами.

— Переводчиков прозы у нас много, при этом отнюдь не все — прозаики; поэтов-переводчиков — мало. Переводчик поэзии и сам обязан быть поэтом. Подчеркиваю: поэзию непременно должны переводить поэты.

— Конечно, и здесь есть счастливые исключения — у нас они связаны с ориенталистикой. Вспомним хотя бы блистательные переводы с китайского В. Алексеева, Л. Эйдлина... Эти ученые-китаисты, не будучи стихотворцами в общепринятом смысле, то есть не имея собственных поэтических сборников, были настоящими поэтами в своих переводах, искали и находи-

ли пути постижения восточной поэтики русским словом. Каждый раз эти пути были иными. Так, в предисловии к переводам Ли Бо В. Алексеев пишет: «Мне было бы приятнее всего переводить ритмически, отвечая стихом на стих, но, не желая жертвовать словами, которых, с моей точки зрения, замещать уже нечем, от этой соблазнительной перспективы я еще раз отступаю и даю только точный, дословный перевод, укладывавая в пять значащих русских слов пять слов китайского стиха».

Однако этот «дословный» перевод, снабженный простран-ным комментарием, вовсе не синоним подстрочного,— он стал самоценным поэтическим явлением. Хотя В. Алексеев считал свою работу сугубо научной, филологической: «Вероятно, наиболее правильным путем пересадки чужого поэтического уклада на нашу почву нужно считать промежуточное появление Фицджеральдов для всякой восточной поэзии. Пока же такового для китайской поэзии не нашлось, нам, филологам, нужно прокладывать для них же дорогу и смело браться за трудное дело перевода тех вещей, от которых в былое время китаисты отказывались».

Прошли годы—и появились восточные переводы Анны Ахматовой... О них кратко, но всеобъемлюще написал Л. Эйдлин в статье «Когда поэт переводит...», опубликованной в журнале «Иностранная литература». Говоря об ахматовских переводах Ли Бо, ученый отметил: «Так волнующе свежо написано это, как будто все происходило вчера, а не по крайней мере тысячу двести лет тому назад, так, как будто написано это самой Ахматовой. Оно и не мудрено: не столь уж долгий срок эти тысяча двести лет, чтобы изменить человеческие чувства и не позволить поэту вновь услышать знакомую ему иволгу и вновь пережить старую свою печаль: „Я слышу иволги всегда печальный голос и лета пышного приветствую ущерб...“».

Долгие годы, тщательно шлифуя каждое слово, готовил свои переводы с китайского Л. Эйдлин. И эта несуетность, неспешность живут в свободном дыхании поэтических строк Тао Юаньмина, Мэн Хаожаня, Бо Цзюйи, Ли Бо, Ду Фу... Мне довелось несколько лет работать в Институте востоковедения АН СССР в секторе литератур Дальнего Востока и Индоки-тайского полуострова, который возглавлял Л. Эйдлин, и это была настоящая творческая школа—академическая, уже уходящая, к сожалению... Не только на заседаниях, в докладах, но и в повседневном рабочем общении, в самой манере держаться и говорить, в умении оценить ситуацию, найти мягкое и точное слово,—во всем равно чувствовалась человеческая одаренность Льва Эйдлина. И, говоря о переводах, он особенное значение

придавал неторопливой, обстоятельной работе, потому что все, сделанное наспех, не способно жить долго.

— Да, это особая проблема. Кто переводит поэзию, избегая делать свое дело плохо, тот знает, что поэт-переводчик должен иметь возможность и время познакомиться с творчеством своих авторов поближе, а еще лучше — встретиться с ними лично и обсудить все вопросы до того, как приняться за работу. Однако издательства с этим не считаются... Немного похоже на жалобу, но вы интересовались моим личным опытом.

Поэтическому переводу я отдал лучшие свои годы и силы, в основном выполняя заказы издательств и мечтая о том, чтобы переводчик, если он к тому же и поэт, сам выбирал авторов или хотя бы отдельные стихи. Мне лично такое счастье выпадало довольно редко. Издательская практика, видимо, закрепила на вечные времена противоречие между тем, что переводчику *нужно* переводить, и тем, что ему *хотелось бы* перевести, дабы представить автора во всем многообразии творчества. Вот уж поистине тяжелая работа — это самое вживание в поэтический мир других при обязательном условии репродуцировать его в переводе, сохранив при этом собственное поэтическое кредо. Возможно, именно поэтому мне удалось создать всего пять оригинальных поэтических книг стихов и одну книгу прозы — «Они растут!», дважды выходящую на словацком. В 1984 году, переведенная на чешский язык, эта книга была издана для членов Клуба друзей советской литературы. С другой стороны, переводческая практика помогла мне избежать экспериментального модничанья и дала возможность черпать силы, свежесть и правду жизни в реализме советской поэзии. Поэтому я многим ей обязан.

— *Редакция журнала «Советская литература» отметила вашу переводческую работу почетным дипломом. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что уже сделано, и каковы ваши планы на будущее.*

— Считаю большим успехом тот факт, что мне удалось немало перевести из советской, главным образом русской поэзии. Надеюсь, свою работу делал не хуже других — впрочем, самому судить трудно... Переводил книги самых разных поэтов: Бориса Слуцкого («Время», 1963), Евгения Винокурова («Лицо человеческое», 1963), Евгения Евтушенко («Три стихотворения», 1963), Беллы Ахмадулиной («Моя родословная», 1966; «Уроки музыки», 1974), Александра Твардовского («Книга лирики», 1974), Риммы Казаковой («Набело», 1980), Сергея Михалкова («Басни», 1982), Николая Асеева («Косой дождь», 1984). Перевел также избранные стихотворения еще двадцати советских поэтов — главным образом для журнала «Советская литература», а для «Ревю всемирной

литературы» переводил Ахматову, Цветаеву... В газетах и журналах публиковались переводы отдельных стихов других авторов или небольшие их подборки. В издательстве «Словацкий писатель» вскоре выйдет книга моих избранных переводов. Сейчас работаю над сборником Мусы Джалиля.

Творческие планы? Я бы покривил душой, если бы сказал, что предпочитаю труд переводчика оригинальному творчеству. Наряду с критикой и публицистикой стал заниматься сатирой. Готовлю новый сборник рассказов, начал научно-фантастическую повесть... И, опровергая суждение, что лирику пишут до определенного возраста (который, говорят, я уже перешагнул), по-прежнему пишу стихи. Что касается переводов, то, пожалуй, пора присмотреться к современной молодой советской поэзии и одновременно найти созвучное себе в классике.

— *В последнее время у нас наметился спад интереса к поэзии — по крайней мере, об этом свидетельствует снижение тиражей и то, что поэтические книги плохо раскупаются. Появилось так много имен, что читатель не в силах ориентироваться в безбрежном книжном море.*

— Это наша общая проблема. Только у нас — в меньших масштабах. Отношение читателей к поэзии в Словакии хорошее, хотя в последнее время большее внимание привлекает проза. Тиражи поэтических книг сравнительно невелики — от 800 экземпляров до трех тысяч, прозаических — от трех до десяти тысяч. Количество авторов необыкновенно увеличилось, именно молодых — не знаю, хорошо ли это, так как свидетельствует о снижении издательских критериев. Но вопреки модной волне интереса к прозе поэзия остается поэзией — без нее литература немислима.

Александр Блок

* * *

Там человек сгорел.

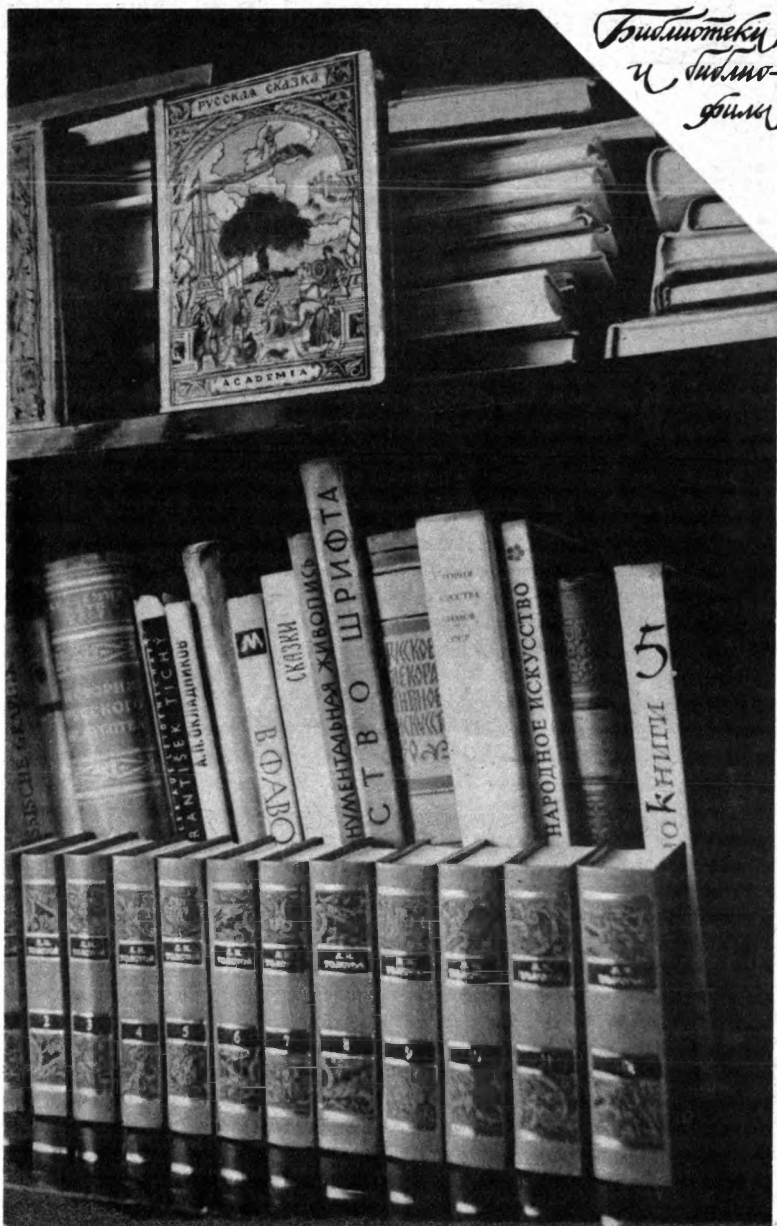
Фет

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

1910

Библиотека
и фильмо-
фонда



Я была довольна и покойна, только когда погружалась в чтение или занималась музыкой... Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги.

Е. Р. ДАШКОВА

И. Спектор

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АНДРЕ МОРУА В МОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ

Французский писатель — академик Андре Моруа (1885—1967) известен всему миру. Им написано около 200 книг и тысячи статей, многие из которых переведены на различные языки мира, в том числе и на русский. Начиная с шестидесятых годов книги Андре Моруа выходят в нашей стране одна за другой: «Жизнь Александра Флеминга», «Три Дюма», «Фиалки по средам», «Превратности любви», «Семейный круг», «Лелия, или Жизнь Жорж Санд», «Прометей, или Жизнь Бальзака», «Машина для чтения мыслей», «Путешествие в страну эстетов», «Литературные портреты», «Париж», «Олимпиа, или Жизнь Виктора Гюго», «Шестьдесят лет моей литературной жизни».

Мой интерес к творчеству Андре Моруа не случаен. Хотя я не могу сказать, что всегда относился к этому писателю с безусловным восторгом, однако совершенство стиля, гармония языка, ясность мысли, мудрый скепсис, который никогда не унижает человека, но выражает понимание людей и жизни, — были для меня привлекательными. Это не просто классик биографического жанра, но писатель, который олицетворяет прочность и жизненность французской литературной традиции, став воплощением французского духа. Словно сам прожил он не 82, а добрых 300 лет: прозаик XX века соединился в Моруа с философом и эссеистом XVII столетия. И если бы вдруг воскресла какая-нибудь мадам Севинье, он, кажется, вступил бы с ней в самую непринужденную и живую беседу.

Мое увлечение творчеством Андре Моруа началось в 1964 году. В то время еще не вышел библиографический указатель его изданий, имеющиеся библиографические источники были неполными. Начался трудный поиск, не лишенный радостей и горестей, ожиданий и разочарований. Библиофилам и букинистам это знакомо. Через 15 лет моя библиотека насчитывала около 600 книг, связанных с именем Андре Моруа. Это — произведения писателя, его статьи в газетах, журналах, рецен-

зии, предисловия, фотографии, книги и статьи о его творчестве, неопубликованные переводы с автографами переводчиков. О наиболее редких и ценных мне и хочется сейчас рассказать.

В августе 1918 года Эмиль Эрзог (под псевдонимом Андре Моруа) выпустил в свет свою первую книгу «Молчаливый полковник Брембл». Книга неизвестного ранее автора имела успех.

Правда, до этого была написана стихотворная трагедия «Одетт де Шандивер» в пяти актах по всем правилам классического искусства. Она была посвящена печальной истории возлюбленной безумного французского короля Карла VI. Эмиль написал эту трагедию в возрасте 11 лет. (Кстати, когда Моруа работал над биографией знаменитого Бальзака, он узнал, что и Бальзак, будучи совсем юным, тоже написал пьесу об Одетт де Шандивер.) «Она потеряна. Моя мать долго ее хранила, но в 1940 году рукопись была украдена оккупантами, это не самое страшное из их злодеяний»¹,— вспоминает Моруа. Кроме этой трагедии, Эмиль написал несколько рассказов, которые были изданы тиражом 12 экземпляров, причем один рассказ был напечатан в журнале «Эфор», издаваемом Ж.-Р. Блоком. Все это сохранилось в семье Андре Моруа.

Найти первую книгу любимого писателя всегда большая радость для библиофила. Успех пришел неожиданно. В 1977 году, делая очередной обход букинистических магазинов, я зашел в «Академкнигу» на Литейном проспекте. На одной из полок лежала книжка на французском языке, с обложки которой иронически улыбался офицер в пилотке. Когда я сообщил об этой находке заведующей магазином, она искренне удивилась, так как книга была оценена в 1 рубль. Томик был выпущен в Париже известным издателем Бернаром Грассе и посвящен Жанине Шимкевич. Посвящение написано на английском языке. Издание выполнено на простой бумаге без иллюстраций, стоимость— 3 франка 50 сантимов (впоследствии книги Моруа издавались с великолепными иллюстрациями известных художников и графиков, в том числе русских, и очень жаль, что первая книга не иллюстрирована).

На русском языке она не издавалась, если не считать маленького отрывка, переведенного Н. Эркесом и напечатанного под названием «Рассказ английского офицера» в газете «Марийская правда» 16 сентября 1967 года².

После неожиданного успеха первой книги Андре Моруа решил написать продолжение, и в 1922 году он публикует роман «Речи доктора О'Треди».

В моей библиотеке несколько изданий этой книги. Одно из них можно считать редким— опубликовано в 1939 году в Пари-

же, серия «Le livre moderne illustré». В книге 39 гравюр Жерара Коше.

Следующая замечательная книга, на которой хочется остановиться,— это двухтомник А. Дюма «Путешествие в Россию». Вот полный перевод надписи на титульном листе: «Александр Дюма. Путешествие в Россию. С рисунками Жана-Пьера Муане, выполненными в 1858 году по ходу путешествия. Предисловие Андре Моруа — члена Французской Академии. Обоснование текста, примечания и введение Жака Сюффеля. Распределяется обществом библиофилов». (Жан-Пьер Муане — художник, друг Дюма, путешествовавший вместе с ним по России.)

Перед нами редкая книга, в которой 27 рисунков, дающих представление о России тех лет; комментарий текста сделан Жаком Сюффелем, в 1963 году написавшим книгу «Андре Моруа».

Возможно, библиофилам будет интересен также перевод текста на обратной стороне титульного листа: «Воспроизведенные здесь рисунки были выполнены в 1858 году с натуры художником и декоратором Жаном-Пьером Муане (1819—1876 гг.). Впервые они появились в «Художественном обозрении» в 1860 году в качестве иллюстраций к статье о Троицком монастыре, а в 1872 г. как сопровождение ряда статей о России в журнале «Вокруг света».

Оригинальное издание этой книги было опубликовано в Париже Германским издательством науки и искусства. Издательская служба Женева».

Вот уж поистине библиофильский экземпляр!

В 1965 году издательство «Ашетт» выпустило «Историю Французской Академии» Пьера Гаксота. Мне посчастливилось найти эту книгу, в которой есть две фотографии Андре Моруа. На одной из них запечатлено прибытие писателя в Академию, на другой — Андре Моруа и другие академики во время пребывания в Брюсселе в 1952 году. Книга представляет ценность для всех библиофилов, интересующихся французской Академией и ее историей.

...«Страдания молодого Вертера» А. Моруа вышли очень маленьким тиражом — вероятно, распространялись только по подписке, на самой лучшей бумаге ручной работы издателя Шифрина. Книжка небольшого размера, в ней 11 глав, 5 отдельных иллюстраций во всю страницу, 11 заставок в начале глав, 8 концовок в форме небольших виньеток... Несколько специальных экземпляров были раскрашены А. Н. Бенуа и вошли в состав именных номеров. (Первый именной экземпляр книги хранится в семье А. Моруа.) Начальные буквы глав скомпонованы и исполнены пером в двух тонах Ю. Ю. Черкесовым. Эта

книга — большая библиографическая редкость. Константин Андреевич Сомов в письме от 12 августа 1926 года из Парижа пишет своей сестре Анне Андреевне Михайловой, что «...по дороге домой зашел в магазин книг и с интересом рассматривал только что вышедшую в роскошном издании книгу Андре Моруа (автора *Ariël'*, которого ты читала)...³ («Страдания молодого Вертера» с иллюстрациями А. Бенуа)». К большому сожалению, К. А. Сомов эту книгу, видно, не купил, не купил. Я был почти у всех его родственников, но среди многих сохранившихся великолепных книг этой, увы, нет.

На одной из выставок в Русском музее были представлены рисунки, акварели, наброски Александра Николаевича Бенуа. На стенде я увидел также письмо Моруа к А. Бенуа, написанное в 1926 году, и визитную карточку писателя.

Все это передала в дар Русскому музею дочь Бенуа, Анна Александровна. Итак, еще раз подтвердилось, что Моруа и Бенуа были близко знакомы.

В моей библиотеке есть книги А. Моруа на французском, английском, польском, чешском, румынском, венгерском, болгарском, латышском, литовском, молдавском, украинском, эстонском и других языках. Многие — с прекрасными иллюстрациями.

Это великолепные издания книги «Париж», первые издания «Жорж Санд» и «Олимпико», книги серии «*Livres de poche*», американское издание «Олимпико», «Тургенев» на украинском языке с автографом переводчицы — украинской писательницы О. Д. Иваненко и многие другие книги и статьи. Все перечисленное и составляет первый раздел моей библиотеки.

Второй раздел — книги Андре Моруа на русском языке. Он делится на два подраздела: довоенный и послевоенный. О довоенных книгах мне хочется рассказать более подробно.

Первая книга Андре Моруа, опубликованная в нашей стране, — «Ариэль. Роман из жизни Шелли и Байрона» (1925). (Первая русская рецензия на это произведение появилась в 1924 году в журнале «Современный Запад».) Затем последовали «Бернар Кенне» (1926), «Мец, или Освобождение» (1928), «Путешествие в страну эстетов» (1929), «Превратности любви» (1930), «Карьера Дизраэли» (1934), «Байрон» (1936), «Трагедия Франции» в сборнике «О тех, кто предал Францию» (1941). Из перечисленного видно, что Андре Моруа уже тогда был у нас довольно популярен. И если учесть, что тиражи книг невелики, то можно понять, как было трудно найти их.

Первая приобретенная мной книга Моруа — биография Байрона. Мне повезло: экземпляр имеет вкладку — «Карту путешествий Байрона»⁴.

Еще в самом начале своего увлечения я нашел книгу Андре

Моруа «Мейп, или Освобождение». Ее выпустил в Ленинграде Госиздат в 1928 году. Обложка работы С. М. Пожарского. Но, увы, книга была в плохом состоянии, ее пришлось реставрировать.

Я долго искал хороший экземпляр, и труды увенчались успехом. Книга, которая хранится в моей библиотеке, — удивительной сохранности, она не разрезана — приятная библиофильская находка.

Недавно мне посчастливилось найти еще две книги Андре Моруа: «Карьера Дизраэли» (1934) и «Трагедия Франции» (1941). Они хорошо сохранились и теперь украшают мою библиотеку.

В 1974 году издательство «Художественная литература» выпустило книгу Ф. С. Наркирьера «Андре Моруа». «Я очень горжусь тем, что после Франции Россия — страна, где моего отца читают больше всего. Это единственная страна, где появилась посмертная биография Андре Моруа, чем мы обязаны профессору Наркирьеру...» — писал сын писателя Жеральд автору этой статьи в феврале 1979 года⁵.

Благодаря его усилиям в 1977 году издательство «Книга» выпустило библиографический указатель «Андре Моруа» (составитель Г. И. Лещинская. Ответственный редактор и автор вступительной статьи доктор филологических наук Ф. С. Наркирьер).

Мне, библиофилу, собирателю книг о творчестве Моруа, это издание оказало огромную помощь. (Правда, надо заметить, что в библиографии есть ряд упущений и неточностей.)

В 1933 году Андре Моруа издал свой первый исторический труд «Эдуард VII и его время». Старые букинисты и библиофилы говорили мне, что на русском языке они книгу эту не встречали. Ф. С. Наркирьер на мои запросы тоже отвечал отрицательно. Но один из библиофилов в беседе со мной рассказал, что видел ее на русском языке, правда, изданную где-то за границей. И начался поиск... Я знал, что в архиве ЦГАЛИ в фонде Всеволода Вишневского есть отзыв В. Г. Финка на книгу А. Моруа «Эдуард VII и его время». Сделал запрос в архив. Через некоторое время, благодаря любезной помощи директора архива Н. Б. Волковой, мне прислали ксерокопию отзыва: «Книга Моруа — не роман. Она вообще не содержит никаких элементов художественного вымысла...

Она написана целиком на основании исторических документов, из которых многие были дотоле неизвестны и представлены автору из различных государственных и частных архивных хранилищ...

Кстати сказать, число государственных, политических, общественных и других деятелей описанной эпохи — как английских, так и иностранных и в том числе русских — настолько велико,

что их перечень, приложенный к концу книги, занимает 10 печатных страниц...

Книга написана простым и ясным языком и читается не только с интересом, но и с увлечением. 23.XI.40. В. Финк»⁶.

Все это еще более вдохновило меня, но время шло, книга нигде не встречалась, и я решил, что знакомый библиофил просто заинтриговал меня, а отзыв В. Г. Финка был, по видимому, сделан на французское издание, тем более, что он нигде не публиковался.

Книгу я все-таки нашел! Это стоило больших усилий. Да, действительно, книга издана на русском языке. (Шанхай. Книгоиздательство «Гонг». Перевод с французского Ю. Крузенштерна. Год издания отсутствует.) На титульном листе два штампа, оставленных, по-видимому, одним из владельцев книги: «Берегите книгу» (штамп красный) и «Библиотека культурно-просветительного общества» (штамп синий). Книга редчайшая, но, по мнению многих переводчиков, этот перевод на русский язык оставляет желать много лучшего и, конечно же, не передает ясного и четкого языка Андре Моруа.

В моей библиотеке имеется очерк Андре Моруа «Негритянская поэзия и театр» в переводе Е. С. Коц, напечатанный в журнале «Красная панорама» от 15 марта 1929 года. Кроме этого редкого издания, у меня есть множество журналов 20—30-х годов, в которых дается характеристика произведений Моруа.

Всякий библиофил, интересующийся творчеством любимого писателя, задает себе вопрос: был ли сам писатель библиофилом? Андре Моруа — безусловно. Судьба его библиотеки уже давно занимает меня. Приведу несколько примеров. Академик АМН СССР И. Кассирский рассказывает: «У него огромная, ничем не перегруженная, кроме книг, как бы «выглаженная» квартира; рядом с его кабинетом — зал, где располагается его изумительная библиотека — ровные ряды стеллажей, книги, книги без конца и до потолка...

— Я не могу лишиться себя удовольствия показать свои книжные сокровища, — сказал Моруа и пригласил меня в библиотеку.

Старинные уникальные фолианты в золотых, серебряных, кожаных и пергаментных переплетках замелькали передо мною, а сам Моруа, перебирая эти книги, весь прямо-таки озарился.

— У меня те же книжные эмоции, что и у Фейхтвангера. Он на закате отдал последние силы, чтобы разыскать и вновь поставить на свои полки оставленные в Германии драгоценные книги — «память сердца и ума»...⁷

Сын Андре Моруа Жеральд в своем письме к автору этих строк пишет: «...как Вам известно, во время войны 1940—

1945 гт. немцы похитили всю его библиотеку, все рукописи и все архивы...»⁸

У меня имеется каталог второй библиотеки А. Моруа, который был составлен после смерти писателя его детьми Мишель, Жеральдом и Оливье. (Дочь Моруа Мишель — довольно известная французская писательница. Несколько ее новелл были опубликованы в нашей печати. Мишель Моруа посетила Советский Союз в 1971 году.)

Каталог тщательно изучается и, может быть, скоро советские библиофилы и книголюбцы узнают о судьбе библиотек Андре Моруа... (Маленькое сообщение было сделано мною 15 января 1980 года в «Секции книги и графики» Дома ученых им. Горького АН СССР в Ленинграде.)

Андре Моруа любил нашу страну и нашу культуру. Ему принадлежат статьи о Толстом, Чехове, Гоголе. Он автор интересной книги о Тургеневе. В последние годы своей жизни Моруа хотел написать биографию Толстого, но тяжелая болезнь помешала осуществить этот замысел, хотя были собраны многие материалы и сделаны наброски. Андре Моруа принадлежат предисловия к французским изданиям «Войны и мира».

Писатель был активным борцом за мир и другом нашего народа. В 1962 году он выпустил вместе с Луи Арагоном книгу «Параллельная история США и СССР (1917—1961)».

В августе 1967 года Моруа заявил: «Октябрьская революция привела к созданию могучего, первого в мире социалистического государства. СССР придерживается принципов мирного сосуществования государств с различными социальными системами. Советский Союз оказывает благотворное влияние на судьбы народов, способствует делу мира на земле»⁹.

Изучению творчества знаменитого писателя-академика предстоит большое будущее как во Франции, так и в нашей стране.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Моруа А. Шестьдесят лет моей литературной жизни. М., 1977. С. 29.

2 Моруа А. См.: Библиографический указатель. М., 1977. С. 41.

3 Сомов К. См.: Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 306.

4 Моруа А. Байрон. М., 1936. С. 450.

5 Личный архив И. Н. Спектора. Письмо Жеральда Моруа от 19 февраля 1979 г. автору статьи.

6 Финк В. Андре Моруа. «Эдуард VII и его время» — отзыв (1940). ЦГАЛИ. Фонд В. Вишневского (Ф. 1038, оп. I, ед. хр. 4272. Л., 10 б).

7 Кассирский И. Встреча с Андре Моруа//Неделя, 1969. № 15. С. 8—9.

8 Письмо Жеральда Моруа от 19 февраля 1979 г. автору статьи.

9 Известия, 1967. № 199.

Уильям Батлер

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВ ЭКСЛИБРИСИСТОВ

Каждые два года Международная ассоциация обществ экслибрисистов (FISAE) проводит в разных странах свои съезды. Съезды эти полезны во многих отношениях, но главное их достоинство заключается в том, что все национальные общества, входящие в ассоциацию, могут сравнить здесь свою работу с деятельностью аналогичных обществ в других странах, оценить свои преимущества, обратить внимание на недостатки и, обменявшись опытом, наметить пути к совершенствованию. Вот как представляется дальнейшее развитие этой отрасли собирательства английскому Обществу любителей экслибриса после трех последних съездов, проходивших в Линце (Австрия, 1980), Оксфорде (Великобритания, 1982) и Веймаре (ГДР, 1984).

Членство. Большинство обществ экслибрисистов — национальные общества. Некоторые имеют местные отделения. Все национальные общества с готовностью принимают в свои члены и представителей других стран. Однако почти все они жалуются на то, что численность их слишком мала; поэтому публикации обществ появляются нерегулярно, а интерес к искусству книжного знака и у художников, и у собирателей растет медленно. Исключение в этом смысле представляет собой японское Общество экслибрисистов: недавно число желающих вступить в него пришлось ограничить — теперь число его членов не должно превышать 1750 человек. Остальным кандидатам приходится дожидаться своей очереди. Дело в том, что все члены общества получают календари, где на каждый месяц приходится по авторскому отпечатку экслибриса, иногда сделанного с нескольких клише. Из-за сложности производства тираж таких календарей соответствует числу членов общества, поэтому и пришлось ограничить прием в него.

Что же касается принятия в общества зарубежных представителей, то согласованные действия всех обществ в этом направлении несомненно пойдут им на пользу.

Уильям Батлер



Публикации. С конца XIX века общества экслибрисистов выпускают периодические издания и справочники, чтобы популяризировать эту отрасль собирательства. Во многих странах наиболее полные справочные материалы были выпущены в 1892—1910 годах. Для знакомства с современным экслибрисом собирателям приходится обращаться к журналам, информационным бюллетеням и ежегодникам—почти каждое общество экслибрисистов выпускает по меньшей мере два таких издания. Среди изданий как в отношении публикуемых материалов, так и в полиграфическом отношении, выделяются английский «Журнал экслибриса» и бельгийская «Графика». Замечательными примерами этого рода изданий служат также «Мир экслибриса» (Нидерланды) и «Северный журнал экслибриса» (Дания). Общества выпускают и бюллетени, сообщающие о выставках, аукци-

Экслибрисы У. Батлера



онах, о новых экслибрисах, открытиях, публикациях и т. п. Не все бюллетени представляют равный интерес, но важен уже сам факт их издания. Ряд обществ экслибрисистов выпускает свои ежегодники. Особенно высокий уровень отличает ежегодники обществ ГДР, Австрии, ФРГ и США. Многие периодические издания прошлых лет служат экслибрисистам прекрасным справочным материалом. К ним относятся «Труды Ленинградского общества экслибрисистов» и журналы, вышедшие в Великобритании, Германии, Австралии, Испании, Италии и Португалии. Необходимо предпринять выпуск факсимильных изданий и микрофиш этих журналов. Впрочем, кое-что в этом направлении уже делается.

Выставки. Судя по информационным бюллетеням, организация выставок экслибриса налажена хорошо. Повсеместно устраиваются персональные и тематические выставки; некоторые общества имеют постоянную экспозицию для организации передвижных выставок. Причем западным обществам экслибрисистов есть чему поучиться у социалистических стран в отношении популяризации экслибриса. Ни одна западная страна не может сравниться с Советским Союзом ни в масштабах организации регулярных выставок, ни в том, насколько плодотворно участвуют в их подготовке и проведении библиофилы. Росту интереса к искусству экслибриса несомненно способствовало бы издание подробных каталогов таких выставок.

Прочие справочные материалы. Каждому обществу следует составить и издать необходимые справочные указатели. Лучший на сегодняшний день библиографический справочник по отечественному экслибрису издается в СССР. Публикуются прекрасные библиографические материалы по истории отечественного экслибриса, например, в Советском Союзе, во Франции, в Дании (только книги), в Великобритании и США (только статьи). Совершенно очевидно, что в этой области предстоит еще многое сделать. Каждой стране необходимо выпустить справочник национальных собраний экслибрисов, в котором был бы указан состав коллекции, адрес, время доступа для посетителей и пр. Следует издать также справочник художников-экслибрисистов, которые принимают заказы на изготовление книжных знаков. В этом справочнике должны быть указаны адреса художников и, если возможно, приводиться образцы их работ.

Перспективы. Современные методы микрокопирования и компьютерная техника открывают перед экслибрисом новые возможности. Видеодиски и микрофиши при минимальных затратах позволяют полностью воспроизводить хорошо подобранные коллекции вместе со всеми справочными данными о каждом знаке. Таким образом, библиотекари и собиратели теперь могут пользоваться не просто напечатанным в каталоге описанием экслибриса, но и увидеть его изображение, сравнить с другими вариантами того же знака, установить авторство, оценить стиль и технику исполнения. Уже составляются каталоги экслибрисов для микрокомпьютеров. При нынешнем состоянии техники недалеко то время, когда собиратели вместо того, чтобы тратить время на классификацию своей коллекции вручную, смогут с помощью компьютера просто обмениваться информацией с соответствующими учреждениями и другими коллекционерами. Ряд обществ уже пытается разработать единую международную систему символов и создать образцы экслибрисов для ввода в память компьютера.

Алексей Черников

УИЛЬЯМ БАТЛЕР И АНГЛИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСЛИБРИСА

В один из зимних вечеров в конференц-зале Центрального Дома архитекторов, что расположен на уютной старомосковской улочке, собрались писатели и журналисты, художники, исследователи и собиратели книжной графики и экслибриса. На эту встречу их привело желание познакомиться с профессором Лондонского университета Уильямом Батлером — известным книголюбом, членом Ассоциации личных библиотек Великобритании, ответственным секретарем английского Общества экслибрисистов, редактором «Журнала книжного знака», вице-президентом Международной ассоциации обществ экслибрисистов, автором книг и статей о современной книжной графике и экслибрисе.

Прежде чем рассказать о библиофильской деятельности У. Батлера, остановимся на биографии этого интересного человека, на его профессиональных занятиях и на том, как он пришел к увлечению книгой и книжным знаком.

Уильям Эллиотт Батлер, внук штукатура и сын бухгалтера, родился в 1939 году в городе Миннеаполис (США), расположенном в верховьях реки Миссисипи. Здесь прошли его детские годы и здесь же зародилась и окрепла с годами его любовь к книге. Интересно, что уже в раннем детстве у Батлера проявилась тяга к систематизации, когда в возрасте около десяти лет он составил свою собственную энциклопедию. Это была рукопись в несколько сот страниц с многочисленными картинками, вырезанными из журналов, включавшая биографические статьи и вообще все то, что вызывало у мальчика большой интерес.

Профессию У. Батлер выбрал себе довольно рано. Прежде всего ему стало ясно, что естественные науки не для него; наибольший интерес сначала вызывали история и экономика. А закончив школу, он решил заняться юриспруденцией, которая и стала его профессией.

Высшее образование для У. Батлера началось с колледжа, потом он учился в университетах Вашингтона, Балтимора и в Гарвардском, где в 1966 году получил диплом доктора права.

В том же году У. Батлер поступил в университет имени Дж. Хопкинса, но уже в качестве докторанта, и в 1970 году защитил докторскую диссертацию «Советский Союз и морское право». Затем успешно прошел конкурс в Лондонском университете и переехал в Англию. И наконец в 1979 году У. Батлер защитил в Лондонском университете докторскую диссертацию на тему «Международное и сравнительное право, и в частности русское и советское право», и получил диплом доктора права и юридических наук.

У. Батлер — крупный ученый, профессор. У него около 450 научных трудов, в том числе 40 книг. К числу наиболее значительных своих работ сам У. Батлер относит монографию «Советский Союз и морское право», опубликованную в 1971 году в США и Англии, в основу которой положена его первая докторская диссертация, а также книги «Североморской путь» и «Собрание документов о СЭВе», редакцию книги «Международное право в сравнительной перспективе», перевод книги известного советского ученого Г. Тункина «Теория международного права» и, наконец, монографию «Советское право».

Для библиофилов и особенно тех, кто интересуется историей русского права, небезынтересно узнать, что в 1723 году в Нью-Йорке было опубликовано факсимильное издание книги русского дипломата П. П. Шафирова «Рассуждения о причинах войны между Россией и Швецией» (1717) с обстоятельными комментариями профессора У. Батлера. Труд П. Шафирова — первая русская книга по международному праву, до нее в России публиковались лишь переводные издания. Петр I очень заинтересовался книгой, взял на себя труд редактировать ее, написал к ней заключение. В 1722 году в Лондоне вышел анонимный перевод этой книги, в котором автор был представлен лишь инициалами «P.S.». Профессор У. Батлер сличил оба текста и в результате сумел идентифицировать автора — Петра Шафирова. При составлении комментариев им были использованы обширные архивные данные.

Огромная эрудиция и научный авторитет позволили У. Батлеру не только получить звание профессора Лондонского университета и должность заведующего кафедрой сравнительного права в Университетском колледже в Лондоне, но и стать директором Центра по изучению правовых систем социалистических стран, активным участником англо-советского правового сотрудничества.

Интерес к книге, возникший в раннем детстве, постепенно перерос у У. Батлера в увлеченность. Рубежом для него стал 1962 год, когда во время очередной поездки в Европу и Советский Союз он познакомился с одним почтенным библиофилом,



Экслибрисы из коллекции У. Батлера

увлекшим его своими рассказами. Начались поиски книг. Постепенно сформировалась ориентация в коллекционировании: россика (все о России, включая ее историю, географию, право и проч.) и история международного права, в которой слились воедино профессиональные интересы и библиофильство.

В 1973 году У. Батлер натолкнулся в еженедельной литературной газете «Таймс Литерари Сапльмэнт» на рецензию о книге Северина и Рида «20 лет европейского экслибриса», которая заинтересовала его тем, что в ней упоминались советские графики. Началась новая страница библиофильских увлечений У. Батлера — интерес к книжному знаку.

Летом того же года профессор, будучи в Ленинграде, обратил внимание на транспарант, висевший на Невском проспекте, который извещал о выставке работ художника А. И. Калашникова. Того самого Калашникова, который так полюбился У. Батлеру

еще по книге Северина и Рида. Так началось знакомство с работами замечательного советского графика, а вскоре между ними завязалась дружба.

«Экслибрис — это естественное продолжение интереса к книге. Он соединяет в себе книгу и искусство...» — говорит У. Батлер.

Сначала он коллекционировал только советские и английские экслибрисы. Потом стал собирать также работы американских и некоторых других европейских художников.

Однако самым серьезным шагом в расширении коллекции несомненно следует считать приобретение У. Батлером в США в 1983 году крупного собрания экслибрисов. В свое время эта коллекция, насчитывающая около 150 тысяч знаков, выполненных преимущественно до начала 40-х годов, была завещана библиотеке редких книг в Нью-Йорке, где владелец состоял членом совета. 14 лет коллекция пролежала в библиотеке без движения. В конце концов было решено ее продать. На объявление о продаже откликнулся целый ряд лиц, желавших приобрести эту обширную коллекцию, включавшую англо-американские знаки, лучшие европейские, а также тысячи дублей. Из всех поступивших заявок нью-йоркская библиотека остановила свой выбор на одной, особенно ее заинтересовавшей. Покупатель одновременно с приобретением коллекции брал обязательство издать каталоги, организовать выставки, публиковать статьи о ней и т. п. Этим покупателем и был профессор У. Батлер.

Как человек не только любознательный, но в первую очередь целеустремленный и последовательный, У. Батлер сближается с членами английского Общества любителей экслибриса, а вскоре становится одним из его наиболее активных членов. В 1977 году он избирается ответственным секретарем Общества, а с 1983 года, с момента основания «Журнала книжного знака», становится его редактором.

Общество экслибрисистов основано в Англии недавно — в 1972 году. Однако корни его уходят в прошлое. Поклонники экслибриса в Англии считают, что это Общество является наследником Общества экслибрисистов, основанного в Лондоне в 1891 году и существовавшего до 1909 года.

Членами английского Общества любителей экслибриса состоят люди самых различных профессий. Среди них встречаются библиофилы, художники и просто собиратели и знатоки экслибриса. В 1984 году Общество насчитывало 217 членов, а к началу 1985 года — 275.

Деятельность Общества включает в себя издание журнала, ежеквартальных информационных писем, организацию и проведение крупных выставок экслибриса, выпуск (примерно раз в год) книг, посвященных экслибрису, подготовку статей об экслиб-



Образцы изданий советских экслибрисов

рисе для публикации в других изданиях (например, в журнале Общества личных библиотек) и, наконец, проведение заседаний (не реже четырех раз в год). Как правило, программа заседания включает обсуждение работ одного художника, посещение общественной или частной коллекции, доклад о каком-либо аспекте коллекционирования экслибриса. Традиционно в июне каждого года проводится вечер членов Общества, посвященный обмену экслибрисами.

На страницах «Журнала книжного знака» публикуются полные списки экслибрисов тех или иных художников, статьи о связи между экслибрисом и другими видами искусства, творческие портреты художников, статьи об отдельных книжных знаках и связях (на примере экслибриса) книги, ее владельца и художника. Так, в одном из номеров журнала была опубликована статья Стэнли Уэртейна «Приключения книжного знака Артура Конан Дойла», в которой захватывающе, под стать автору знаменитых детективов, рассказывалась история о том, как совершенно неожиданно в течение последних пяти-шести лет в целом ряде букинистических магазинов Европы и Америки появлялись книги Артура Конан Дойла, якобы из его личной

библиотеки. «Свидетельством» тому служил вклеенный в книги неизвестный до этого экслибрис Конан Дойла.

Интересна и статья самого У. Батлера «Неизвестный знак Добужинского». Автор статьи в увлекательной и в то же время строго научной форме рассказывает и о самом владельце библиотеки, Д. Н. Мавросе, и о художнике Мстиславе Добужинском, и о его книжных знаках.

Большой интерес представляют выставки, организуемые английским Обществом любителей экслибриса. Вот тематика некоторых из них: «Английские художники-экслибрисисты XX века» (1976), «История книжного знака в Великобритании» (1979), «Лондон на книжных знаках» (1984). Целый «букет» выставок был организован в связи с проведением в Оксфорде XIX Международного конгресса экслибрисистов (1982): международная выставка новых экслибрисов, выставка английского экслибриса, выставка японских книжных знаков, ретроспективная выставка польского экслибриса, персональная выставка известного английского художника Рейнольдса Стоуна и ряд других.

Одной из крупнейших, организованных к конгрессу в содружестве с Всесоюзным добровольным обществом любителей книги, следует считать выставку «Современное советское искусство экслибриса». На ней были представлены работы девяносто советских художников-графиков почти из всех республик Советского Союза. По существу это была первая столь представительная зарубежная выставка советских художников книжного знака. В ней участвовали москвичи Анатолий Калашников, Вадим Фролов, рижанин Петерес Упитис, киевлянин Александр Миклода, Александр Аксинин из Львова, Альфонсас Чяпаускас и Гражина Диделите из Вильнюса, Эвальд Окас из Таллина, Николай Селещук из Минска и многие другие. Выставка была открыта в залах Лондонского Университетского колледжа, где хранятся рисунки и гравюры таких великих художников, как Рубенс, Рембрандт, Дюрер и многих других, в том числе экслибрис Дюрера, выполненный художником в 1518 году для Пиркхаймера.

Большому интересу к выставке, к работам не только маститых мастеров советской графики, но и молодых художников, несомненно, способствовала деятельность профессора У. Батлера. Он не только активно участвовал в подготовке и формировании экспозиции, но издал каталог, который предваряла его статья о современном советском экслибрисе.

Была подготовлена к конгрессу также экспозиция графических работ А. И. Калашникова, которая была развернута в выставочном зале библиотеки Лондонского университета. На 24 стендах были представлены книжные знаки Калашникова, иллю-

страции, почтовые марки, конверты и открытки, разнообразные графические работы: серии, посвященные старинным русским городам (Суздалью, Владимиру, Вологде и др.), древним городам Средней Азии, городам Европы, многочисленные портреты и т. д. К выставке был издан полный каталог работ Калашникова, подготовку которого, редактирование и написание вступительной статьи осуществил У. Батлер.

Как видим, работы советских художников вызывают немалый интерес у английских библиофилов и любителей искусства, в этом — заслуга и профессора У. Батлера. Необходимо отметить, что он способствует развитию этого интереса и собственными статьями. В 1981 году в Лондоне были опубликованы «Очерки о коллекционировании экслибриса в Ленинграде», а в 1982 году там же вышло в свет факсимильное издание «Словаря монограмм русских художников-экслибрисистов». В эти же годы в различных журналах публиковались его рецензии: на книгу Е. Осетрова «Золотой ключ» (журнал «Прайвит лайбрэри», 1980), на первые 12 выпусков «Альманаха библиофила» (там же, 1983), на библиографический указатель экслибрисов Библиотеки имени Н. А. Некрасова («Журнал книжного знака», 1983) и др.

Прекрасный пример творческого содружества представляет совместная работа У. Батлера и А. И. Калашникова «Англо-русские отношения XVIII—начала XX века» (1984). Десять гравюр-импровизаций, выполненных советским художником, сопровождаются текстом У. Батлера. Всего десять гравюр и несколько страниц текста, но из них читатель узнает интересные сведения о связи культур двух стран — России и Англии: о Петре I, проявившем интерес не только к судостроению Англии, но и к книгопечатанию, посетившем типографию Оксфордского университета; о русском поэте К. Бальмонте, читавшем лекции в Оксфорде, о других выдающихся людях, причастных к англо-русским контактам тех времен.

Профессор У. Батлер — частый гость нашей страны: встречи с учеными, совместные заседания и дискуссии с советскими правоведами и обязательное посещение библиотек, беседы с художниками и любителями экслибриса. Всегда скромный, с приветливой улыбкой внимательный собеседник, он охотно рассказывает о себе, о старой и новой Англии, ее традициях и обычаях, с большим интересом выслушивает рассказы о прошлом и настоящем нашей страны, о нашей культуре, стремясь понять наши национальные традиции, понять и рассказать в Англии обо всем этом с позиции доброжелательного исследователя.

*По следам
героев
книг*



**Истинно глаголю вам: дано печатному слову
 пребыть не только во времени, но и над временем.**

Н. С. ЛЕСКОВ

ПЕЧОРИН И ПЕЧЕРИН *

«— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*».

Еще в школьные годы, впервые читая «Героя нашего времени», обратил я внимание на курсив, которым выделена фамилия Печорина при ее появлении на страницах романа. Казалось, этим Лермонтов хотел что-то сказать читателям. Но что именно?

В литературе первой трети XIX века обычными были фамилии Ленский, Онегин, Ильменев, Муромский, Верейский, Ижорский, Вырин, происходящие от названий рек, озер, городов. В этом смысле фамилия лермонтовского героя не составляет исключения. Однако почему ее выделил автор? О чем говорила она первым читателям «Героя нашего времени»?

Впервые фамилия Печорин появляется у Лермонтова в 1836 году в незавершенном романе «Княгиня Лиговская». Тогда же эта фамилия мелькает в драме «Арбенин» — так называлась одна из редакций «Маскарада».

...Летом 1836 года молодой ученый и поэт, профессор Московского университета Владимир Печерин уезжает за границу, навсегда покидая пределы Российской империи. Предвосхищая судьбу А. И. Герцена, он предпочитает полную лишений скитальческую жизнь политического эмигранта благополучному существованию и успешной карьере в России времен Николая I.

Впервые их имена были поставлены рядом в середине прошлого столетия Герценом на страницах «Былого и дум», где писатель размышлял о горестной судьбе поколения, которое взрыв в четырнадцатого декабря застал юношами, еще стоявшими на пороге жизни. «Их общее несчастье состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно... Им раннее

совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным «Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печерин...»

Настоящий Печерин... Судьба этого человека была яркой и необычной — точно метеор, промелькнула во тьме глухой ночи николаевской реакции и, бесспорно, заслуживает того, чтобы вспомнить о ней. (Интересная монография М. О. Гершензона «Жизнь В. С. Печерина», увидевшая свет в 1910 году, хорошо известна специалистам.)

Если предположить, что герой Лермонтова действительно существовал, то Григорий Александрович Печорин оказался бы ровесником Владимира Сергеевича Печерина. «—...Этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти», — так начинает рассказ о Печерине Максим Максимыч.

Как известно, Лермонтов (повествование в «Бэле» ведется им от первого лица) был на Кавказе в 1837 году — там по воле автора и происходит встреча с Максимом Максимычем. Реальный же Печерин родился в 1807 году.

«Я никогда не был и не буду верноподданным! Я любил правосудие и ненавидел беззаконие, и потому умираю в ссылке! Вот эпитафия к моей жизни и моя эпитафия после смерти», — писал на закате своих дней Владимир Сергеевич Печерин.

Юношеские годы Печерина прошли под небом полуденной России — в южной армии служил офицером его отец. Глубокий след в сознании только еще вступающего в жизнь юноши оставило знакомство с замыслами будущих декабристов — волнующая атмосфера свободолюбия и вольномыслия окружала его. Испытывая неограниченное доверие к своему ученику, наставник Печерина гувернер Кессман вместе со своим другом отставным офицером Сверчевским (они были близки к декабристским кругам) обсуждали в присутствии юноши планы готовящегося восстания.

«В то время все подготовлялось к взрыву. Стихии были в брожении. Воздух напоитан был электричеством... Приближалось 14-е декабря и, как все великие события, бросало тень перед собою. Полковник Пестель был нашим близким соседом. Его

В. С. Печерин



просто обожали. Он был идолом 2-й армии»,— писал Печерин много десятилетий спустя, пробуждая в памяти «заветные воспоминания», составлявшие «драгоценнейшее достояние души».

Герцен оказался прав: несмотря на горячее сочувствие идеям декабристов, Печерин был в то время еще слишком молод, чтобы не сердцем, а умом осознать их замыслы и принять участие в подготовке восстания.

Получив домашнее образование, Печерин в 1825 году уезжает в Петербург. Избрав своей специальностью классическую филологию, он поступает на словесное отделение Петербургского университета и блистательно оканчивает его в 1831 году со званием кандидата.

В студенческие годы он снова оказывается в атмосфере вольнолюбия и свободомыслия в кружке университетской молодежи, собиравшейся дома у товарища Печерина— А. В. Никитенко. «Здесь царствовали непринужденность, идеализм и поэзия; горячие споры о театре сменялись чтением

стихов, вслух высказывались утопические мечты о будущей деятельности на пользу человечества, высмеивалось мещанство общества и, конечно, больше всего с горечью обсуждалось политическое состояние России—тогдашние злобы дня, как усмирение бунта военных поселян, польское восстание, гнет цензуры, запрещение «Европейца» и пр.,—так характеризовал круг интересов автор монографии о Печерине М. О. Гершензон.

Вместе с тем Печерин ведет и светскую жизнь. Его стихи—оригинальные и переводные—появляются на страницах альманахов и журналов. На сделанные им переводы из греческой антологии обратил внимание С. С. Уваров, считавший себя знатоком литературы древней Эллады. Вследствие этого начинающий ученый стал, по собственному признанию, «ужасным любимцем» видного сановника (Уваров был в то время товарищем министра народного просвещения), начал часто бывать у него и попал под его влияние. «Я стоял на краю зияющей пропасти»,—вспоминал Печерин много лет спустя.

К счастью, молодой ученый по рекомендации Уварова был командирован в Берлин «для усовершенствования в науках и приготовления к профессорскому званию». Он слушает лекции знаменитых профессоров, с неослабевающим вниманием наблюдает за политической и общественной жизнью Европы, во время каникул путешествует по Швейцарии, Италии, Австрии. По собственным словам Печерина, его разбудил от душевной дремоты гром июльской революции во Франции. Вспоминная об этом периоде, Герцен отмечал в «Былом и думах»: «Славное было время, события неслись быстро... какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы—все снова сделалось пропагандой, борьбой».

Из Берлина Печерин присылает друзьям свою поэму-мистерию «Торжество смерти». Она проникнута свободолубием, ненавистью к злу и насилию, которые, подобно чуме, свирепствовали в Российской империи. В образе древнего тирана Поликрата Самосского был изображен Николай I. Пять померкших звезд воплощали пять казненных им декабристов, рыцарей «Полярной звезды». Поэма завершалась изображением гибели царства несправедливости и насилия под бушующими волнами.

Разумеется, «Торжество смерти» не могло быть напечатано в России—поэма распространялась в списках. Ее читал А. И. Герцен, хорошо знал Ф. М. Достоевский, давший в романе «Бесы» обстоятельный пересказ многих эпизодов поэмы.

В глубокой тоске вернулся Печерин в Россию, представлявшуюся ему тюрьмой.

«Возвратились из-за границы студенты профессорского института...—записывает в своем дневнике А. В. Никитенко.—Они

отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве (крепостного) рабства. Особенно мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть Европы и теперь опять заброшен судьбою в Азию».

Едва встретившись со своими друзьями после длительной разлуки, Печерин вынужден вновь расстаться с ними: волею высшего начальства он назначен в Москву преподавать в университете. Тяжело было пылкому молодому человеку из атмосферы революционных бурь, противоборствующих политических стихий перенестись в среду застоя, сытой пошлости, самодовольной тупости, мелкой зависти, интриг из-за чинов и орденов, прибавки к жалованью, расположения начальства. Горьким напутствием прозвучали для Печерина и двух его товарищей по профессорскому институту, также назначенных в Московский университет, слова, сказанные их старшим коллегой М. П. Погодиным: «Те профессора, которых вы теперь сменяете... были ведь смолоду так же ревностны, так же благоговели к науке, так же горели желанием распространять истину, а что случилось с ними теперь в их несчастной среде? Увидим, что будет с вами».

Единственным светлым лучом в этой безотрадной жизни было для Печерина общение со студенческой молодежью—на лекциях он сумел настолько заинтересовать слушателей, что многие начали изучать греческий язык.

«В короткое время своего профессорства он успел внушить и слушателям, и товарищам чувство самой живой симпатии,— писал о Печерине И. С. Аксаков.— Строгий ученый, он соединял с замечательной эрудицией по части классической древней литературы живое поэтическое дарование и нежную, хотя постоянно тревожную душу, болезненно-чутко отзывавшуюся на все общественные задачи своего времени, на всякую боль тогдашней русской действительности... Направление мыслей его было атеистическое, общее почти всем его товарищам».

Обладая глубоким аналитическим умом, позволявшим верно судить об окружающем обществе, видеть его пороки, будучи человеком деятельным и волевым, Печерин не может заставить себя примириться с действительностью николаевской России. Беспредельная тоска от сознания невозможности претворить в жизнь стремления, найти применение своим силам, горестные думы о бесцельности существования, овладевшие разумом Печерина,— все это так близко герою Лермонтова! Из этого заколдованного круга был только один выход...

«Вряд ли! да и зачем?...» — так, по словам Лермонтова, можно было истолковать жест Печерина, которым тот ответил на вопрос Максима Максимыча: когда же он вернется в Россию? Не

вставал вопрос о возвращении и для Печерина — ему незачем было возвращаться в общество, где он оказался лишним.

Печерин решает навсегда покинуть порабощенное отечество и принять участие в освободительном движении на Западе.

Чудная звезда светила
 Мне сквозь утренний туман,
 Смело поднял я ветрило
 И пустился в океан.
 Солнце к западу склонялось,
 Вслед за солнцем я летел:
 Там надежд моих, казалось,
 Был таинственный предел...
 Мрак и свет, как исполины,
 Там ведут кровавый бой...

— так описывал он впоследствии свои стремления, отмечая при этом: «В этих стихах целая программа. Все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию».

Вначале Печерин живет в Швейцарии, пытается установить связи с итальянскими революционерами. Затем он направляется во Францию — Париж был в то время средоточием революционных замыслов. В дороге его арестовали и выслали из Франции как подозрительного человека. По свидетельству И. С. Аксакова, Печерин «увлекся крайними теориями европейских революционеров». Он скитается по Европе — Лугано, Цюрих, Брюссель, снова Цюрих, Льеж, тщетно пытаясь найти применение своим силам. Изучает труды Сен-Симона, Фурье, других социалистов-утопистов.

«Мы, верно, уже никогда не узнаем... — пишет о переживаниях Печерина М. О. Гершензон, — сколько метаний от одного радикального кружка к другому, сколько отчаянных усилий, ужасных разочарований, ночей бессонных и нескончаемых, когда голова пылала, а сердце медленно пило горечь смерти, сколько голодных, бесприютных дней и одиночества. Эта жизнь продолжалась четыре года».

Слишком велика была пропасть, отделявшая мечты от действительности, и Печерин рано или поздно не мог не увидеть это. Несмотря на страстное желание быть полезным, он не имеет возможности найти применение своим силам. На смену мечтам о деятельности, об участии в освободительном движении приходит горькое разочарование. Сознание утраченных возможностей преследует Печерина. Обладая чуткой душой, он глубоко переживает крушение надежд. В его судьбе происходит резкий перелом.

Осенью 1840 года друзья Печерина в Петербурге узнают, что он принял католичество и вступил в монашеский орден редemptористов. Все, кому довелось его знать, с изумлением восприняли это известие. «Странный переворот, — записывает в своем

дневнике А. В. Никитенко.— Печерин — католический монах! Это просто непостижимо».

Много страстей обуревало мятежную душу изгнанника, пока он не облачился в сутану католического священника, и — погрузился в глубокий сон. Но даже в обращении к религии выразился неосознанный протест против действительности николаевской России, против канонов Российской империи.

«Я проспал двадцать лучших лет моей жизни (1840—1860),— с горечью писал Печерин впоследствии.— Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то, и другое сделал: и проспал, и проигрался в пух».

В 1853 году в монастыре близ Лондона Печерина навещил Герцен. В английском монастыре встретились революционный демократ, всей своей деятельностью способствовавший подготовке русской революции, и мечтатель, добровольно обрекший себя на заключение. Этой встрече Герцен посвятил одну из интереснейших глав седьмой части «Былого и дум». В скором времени он вновь навещил соотечественника и передал по его просьбе свои книги «Русский народ и социализм» и «О развитии революционных идей в России».

Встречи и беседы с Искандером, чтение его книг имели огромное значение для Печерина — он начинает пробуждаться от долгого сна. Тревога о судьбе отечества возрастает во время Крымской войны. Всем сердцем стремится он из монастырского заключения — к живым людям, к активной деятельности.

По инициативе Герцена поэма Печерина «Торжество смерти» смогла наконец увидеть свет — в 1861 году она была напечатана дважды: на страницах «Полярной звезды» и сборника «Русская потаенная литература XIX столетия». «Поэма, несмотря на ее отвлеченность, обличала сильный поэтический талант, который мог бы развиться,— писал Н. П. Огарев.— Каким образом автор ее погиб хуже всех смертей, постигнувших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу? Это остается тайной; тем не менее мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни?... Как знать?»

Вести из далекой России о подъеме освободительного движения, чтение «Колокола», переписка с Герценом и Огаревым произвели переворот в сознании изгнанника. Словно отвечая на вопрос Огарева, он пишет ему: «Я выхожу из могилы и вижу рассвет русского дня».

Печерин заявляет о том, что оставляет орден редемптористов и покидает монастырь. Он мечтает о возвращении на родину, хотя отчетливо понимает, что при существующем политическом строе сделать это невозможно. Когда М. П. Погодин заявил на страницах «Московских ведомостей», что Печерину следует запретить вернуться, изгнанник ответил ему письмом, опубликованным в русской эмигрантской печати. «Оно удивительно, как все, что написал Печерин, но самое непостижимое в нем — это свежесть ума и чувства», — пишет об этом письме М. О. Гершензон.

«Господин Погодин очень наивно запрещает мне въезд в Россию. Он совершенно прав: с его точки зрения, от меня ничего путного ожидать нельзя! Если, вследствие какого-нибудь великого переворота, врата отечества отверзнутся передо мною — я заблаговременно объявляю, что присоединюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству и хотел бы обнять их во имя будущего!..»

С восторгом приветствуя молодое поколение, Печерин верил, что оно может решить задачи, не решенные его современниками. Он с жадностью воспринимает поступающие из далекой России известия о деятелях революционной демократии. «Все мои мысли, все сочувствия на противоположном берегу, с передовыми людьми обоих полушарий...», — писал он другу своей юности Ф. В. Чижову.

Скитальческая жизнь изгнанника окончилась в 1885 году за много тысяч верст от России, в Дублине, где он служил священником при больнице. Преклонные годы, отсутствие пристанища и средств к жизни помешали Печерину пойти на окончательный разрыв с церковниками, которых он называл «презренной и ненавистной кастой».

...С литографированного портрета смотрит импозантный господин почтенных лет, одетый в форменный вицмундирный фрак; на шее — орденский крест, в петлице фрака — другой. Так выглядел профессор Московского университета академик Степан Петрович Шевырев. Консервативный ученый и литератор, усердно пропагандировавший выдвинутую графом Уваровым теорию «официальной народности», он сделал успешную карьеру — чины, ордена, почетные звания и назначения следовали одно за другим. Примерно так, думается, мог выглядеть и Печерин, если бы остался в России — участь сделаться с годами «благодарным старым профессором, насыщенным деньгами, красками и всякой мерзостью» страшила его.

Подвизаясь много лет на поприще литературной критики, Шевырев откликнулся на выход «Героя нашего времени» про-

странной статьей. Стремясь нейтрализовать действие романа на умы и сердца современников, он тщился представить лермонтовского героя чуждым русской жизни, целиком принадлежащим к «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада». «Где причина того, что Печорин переживает томительную скуку и непомерную грусть духа?..» — спрашивал Шевырев. Источник всех бед он видел в западном воспитании и отходе от православия. Все эти обвинения, адресованные Печорину, вполне можно отнести и к Печерину.

Шевырев знал Печерина отнюдь не понаслышке — в течение целого года они постоянно встречались в Московском университете. У будущего критика «Героя нашего времени» было достаточно времени, чтобы пристально рассмотреть коллегу, в скором времени решительно и бесповоротно переменившего свою судьбу. И когда Шевырев выплеснул в статье всю желчь и раздражение против Печерина, провозглашенного Лермонтовым героем времени, он не мог не вспомнить о мятежном и мечтательном человеке со столь сходной фамилией, навсегда порвавшим с ненавистным ему обществом.

Образ Печерина, безусловно, ассоциировался с Печериным в сознании современников.

И реальный Печерин, и лермонтовский Печорин наделены острым аналитическим умом, позволяющим верно судить об обществе, сознать его пороки, и горячим сердцем, способным глубоко чувствовать и сильно переживать. Это — волевые, деятельные натуры, которые идут на решительный разрыв с окружающей действительностью, оба они покидают пределы Российской империи с намерением никогда не возвращаться обратно.

Человек иного, последующего поколения, Н. Добролюбов был убежден, что при других условиях жизни, в другом обществе Печорин совершил бы великие подвиги. То же самое «бесплодное стремление к деятельности», о котором писал Добролюбов, было характерно и для реального Печерина. И не вина его, а беда, что мечты о подвиге на благо человечества не сделались для него реальностью.

Разумеется, было бы ошибкой считать, что Лермонтов скопировал своего Печорина с Печерина. Герой Лермонтова — это портрет целого поколения. И все же сходство фамилий не случайно. Не случайно поставил рядом эти фамилии — «Печорин Лермонтова» и «настоящий Печерин» — Герцен. Образ вымышленного героя ассоциировался с реальным человеком в сознании тех, кто знал молодого ученого.

А знали его — непосредственно или по рассказам — многие современники. И. С. Аксакову не довелось встречаться с Печери-

ным, однако он хорошо представлял его по «тем воспоминаниям — добрым воспоминаниям, которые оставила в сослуживцах и учениках его профессорская деятельность». Натура Печерина была столь обаятельна, что люди, которым довелось с ним встречаться, долго сохраняли в памяти его образ. Выдающийся филолог Ф. И. Буслаев, слушавший в студенческие годы лекции Печерина, много лет спустя в своих записках воспроизвел живой портрет ученого, имени которого он не запомнил: «Профессор греческого языка... был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших вместе с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собою, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда, объясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом».

Встречался ли с Печериным Лермонтов? С абсолютной точностью на этот вопрос ответить нельзя, хотя видный лермонтовед В. А. Мануйлов склонен допустить вероятность подобной встречи. «Возможно, что фамилия Печорин возникла в творческом сознании Лермонтова в какой-то связи с Владимиром Сергеевичем Печериным... — пишет он в работе «Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий», — который в 1831 году блестяще окончил Московский университет...» Это досадная ошибка — Печерин учился не в Московском университете, студентом которого в то время был Лермонтов, а в Петербургском, и встречаться они не могли.

Мануйлов также предполагает, что по возвращении Печерина в 1835 году из-за границы в Петербурге «он мог встречаться если не с Лермонтовым, то с его другом С. А. Раевским».

И все же на вопрос, был ли знаком с Печериным Лермонтов, я бы ответил: скорее всего, нет. Их жизненные пути не пересекаются — по крайней мере, об этом ничего не известно. Однако Лермонтов, как и многие другие, бесспорно, слышал о необычной судьбе этого человека. Хотя поэт восемнадцатилетним юношей покинул Москву, он по-прежнему был с ней связан — там жили люди, которых он любил, с которыми дружил, о которых не переставал думать — с ними он переписывался и встречался. Неудивительно, что Лермонтов, как и прежде, был в курсе московских новостей. И, конечно же, он узнал и о смелом поступке молодого ученого, всколыхнувшем покой московской жизни. Мог слышать Лермонтов о Печерине и от своих петербургских знакомых — В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского, хорошо знавших всех, кто был причастен к литературе. Вступив в скором времени в круг литераторов, Лермонтов познакомился с другом Печерина А. В. Никитенко. И, узнав о вызове, решитель-

но брошенном обществе, Лермонтов дал фамилию этого человека своему герою, изменив в ней лишь одну букву.

Читал ли роман Лермонтова Печерин? Когда роман вышел в свет, Печерина уже не было в России. Можно предположить, что он читал его много лет спустя, вдали от родины, от друзей. Однако, будучи человеком очень скромным, счел сходство фамилий случайным совпадением.

Но многие строки из «Дневника Печорина» — суждения, размышления, переживания лермонтовского героя Печерин мог отнести к самому себе. «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные...»

И разве не были понятны и близки изгнаннику слова героя романа: «И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею!»

М. Ю. Лермонтов

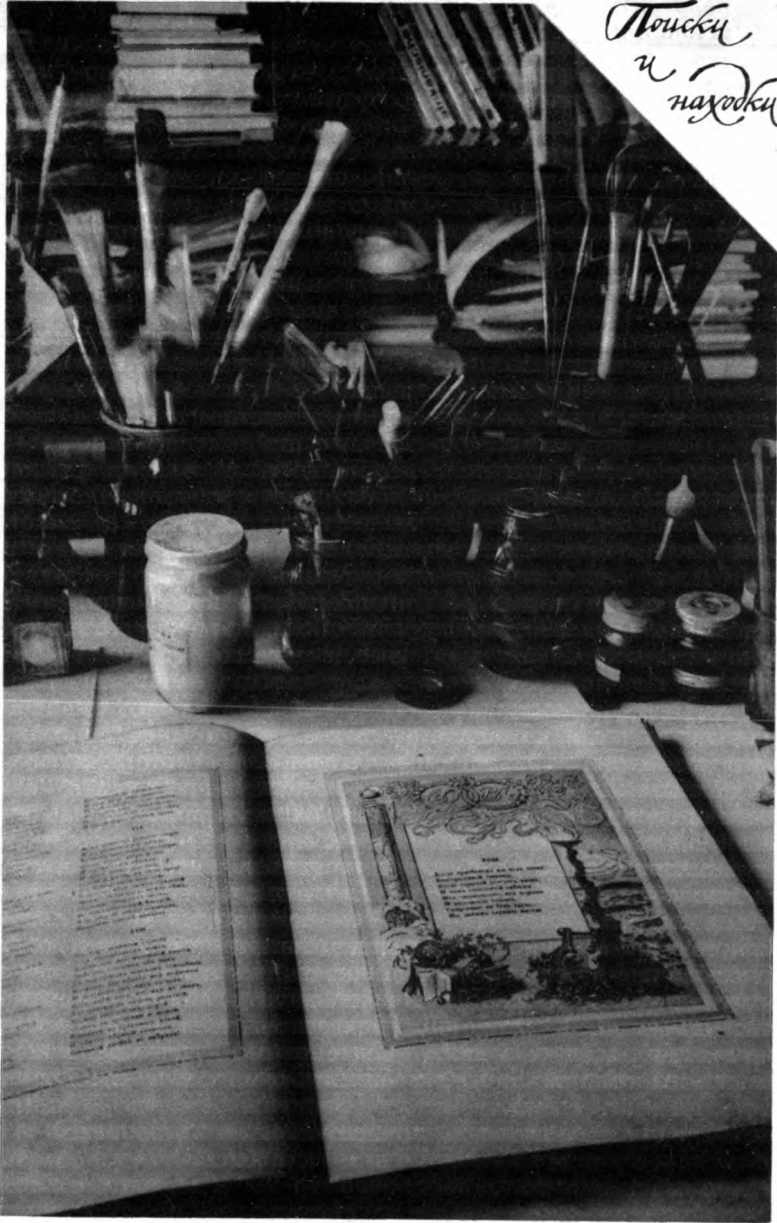
* * *

Пускай поэта обвиняет
Насмешливый, безумный свет,
Никто ему не помешает,
Он не услышит мой ответ.
Я сам собою жил доньше,
Свободно мчится песнь моя,
Как птица дикая в пустыне,
Как вдаль по озеру ладья.
И что за дело мне до света,
Когда сидишь ты предо мной,
Когда рука моя согрета
Твоей волшебною рукой;
Когда с тобой, о дева рая,
Я провожу небесный час,
Не беспокоясь, не страдая,
Не отворачивая глаз.

СЛАВА

К чему ищу так славы я?
Известно, в славе нет блаженства,
Но хочет все душа моя
Во всем дойти до совершенства.
Пронзая будущего мрак,
Она, бессильная, страдает
И в настоящем все не так,
Как бы хотелось ей, встречается.
Я не страшился бы суда,
Когда б уверен был веками,
Что вдохновенного труда
Мир не обидит клеветами;
Что станут верить и внимать
Повествованью горькой муки
И не осмелятся равнять
С земным небес живые звуки.
Но не достигну я ни в чем
Того, что так меня тревожит:
Все кратко на шару земном,
И вечно слава жить не может.
Пускай поэта грустный прах
Хвалою освятит потомство,
Где ж слава в кратких похвалах?
Людей известно вероломство.
Другой заставит позабыть
Своею песнию высокой
Певца, который кончил жить,
Который жил так одиноко.

Полски
и находки



Я начал читать книгу... И как случается иногда человеку, ищущему серебро, найти золото... так и я, искавший утешение, нашел не только успокоение в моих слезах, но также и поучение.

ДАНТЕ

Ким Ляско

ХРАНИЛИЩЕ РЕЛИКВИЙ

Путешествие по фондам ЦГАЛИ СССР

Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства.

А. С. Пушкин

1. БАСТИОН КУЛЬТУРЫ

Время оседает в архивохранилищах подшивками газет, коробками кинолент, связками писем, папками деловых бумаг... «Рукописи не горят»,— сказано в знаменитом романе. Горят и еще как! Только заботливая рука архивиста спасает от забвения мало что значащие в глазах беспечных современников и бесценные для грядущих поколений вещественные свидетельства душной жизни эпохи.

Разглядывая автограф писателя, клавиры композитора, фотографию художника за мольбертом, мы ощущаем прикосновение к документу как личное общение с теми, кто является властителями наших дум, общение, которому не мешает ничто—ни время, ни расстояние, ни вкусы, ни привычки. Всесильна власть документа—свидетеля минувшего.

Отправимся же, читатель, в удивительный дом, где хранится само Время. Запомните адрес: Ленинградское шоссе, дом 50.

На первый взгляд здание ничем особенным не выделяется, вот только узкие окна, похожие на бойницы, делают его похожим на крепость. В сущности, это и есть бастион культуры. Вывеска при входе гласит: **«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СССР»**.

Итак, перед нами знаменитый, полный тайн и сюрпризов дом, который в нашей стране и далеко за ее пределами знают под именем «ЦГАЛИ». Прежде чем войти в заветные двери и отправиться в путешествие по его фондам, послушаем вступительное слово. Его произнесет писатель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, член ученого совета ЦГАЛИ СССР, друг и помощник цгалийцев во всех их начинаниях Ираклий Луарсабович Андроников. Цгалийцев он называет «хранителями правды».

— 29 марта 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР,— говорит И. Андроников,— предписал «организовать в г. Москве Центральный государственный литературный архив для хране-

ния в нем литературных фондов государственных архивов и соответствующих документальных материалов музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов и других учреждений».

В начале это постановление в литературных и архивных кругах было принято сдержанно. Однако ученые организацию Центрального государственного литературного архива одобрили. 14 мая положение о ЦГЛА было утверждено. Центральный архив получал права на материалы Гослитмузея и на все то, что хранится по литературе и искусству в других центральных архивах страны, а также в музеях, театрах, учреждениях художественных и музыкальных.

Когда началась передача материалов, грянула война. Фонды (примерно 150 тысяч единиц хранения) срочно эвакуируются в тыл — в Саратов и Барнаул: архивы Гоголя, Жуковского, Сухово-Кобылина, Салтыкова-Щедрина, Герцена, Аксакова, Некрасова, Лескова, Короленко, Блока, Есенина, Маяковского, Макаренко, «Окна РОСТА».

На Москву уже падали зажигательные и фугасные бомбы. Надо было срочно собрать и вывезти в безопасное место литературные материалы, сосредоточенные в других хранилищах. Центральный архив древних актов передает ЦГЛА Остафьевский архив Вяземских, материалы Зинаиды Волконской, Герцена, Суворина, редакций газет «Русские ведомости», «Речь», «Курьер»... Третьяковская галерея — архивы кружка «Среда», Строгановского училища, Школы живописи, ваяния и зодчества, фонды П. М. и С. М. Третьяковых, Остроухова, Клодта... В 1942 году Музыкальное издательство передает ЦГЛА две с лишним тысячи писем композиторов к издателю П. И. Юргенсону, Мурановский музей — бумаги Тютчева, Баратынского. В спешном порядке сдают свои архивы «Литературная газета», издательство «Искусство», Гослитиздат, Детгиз, журналы «Октябрь» и «Знамя». Часть материалов в ЦГЛА переходит из Исторического музея, ценные бумаги поступают из Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина... И вот вторая партия фондов (280 тысяч единиц хранения) вывозится в Барнаул: это рукописи, письма, дневники братьев Киреевских, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Венецианова, Крамского, Айвазовского, советских писателей, издателей, художников, искусствоведов...

В конце 1944 года, — продолжает Иракий Луарсабович, — все фонды возвращаются в Москву. Сразу же после войны к ним приобщаются материалы: из Ярославля — Некрасова, из Горького — Короленко, из Воронежа — Никитина и Кольцова. Еще прежде Саратов передал в ЦГЛА материалы Н. Г. Чернышевского. К 1952 году издан первый «Путеводитель». В 1954 году, с учетом огромной исторической ценности фондов музыкантов, художни-

ков, деятелей кино и театра, новый архив получает свое нынешнее название: Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

(Замечу в скобках: удивительно умение Ираклия Андроникова — что в устном рассказе, что в книге — коротко и емко обрисовать портрет человека или, как в нашем случае, полную драматических событий историю создания прославленного архива.)

2. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» АРХИВА

Я держу в руках книгу. В ней почти 450 страниц. И хотя отпечатана она на бумаге отнюдь не высшего сорта и иллюстрации в ней получились не очень четко, книга эта — предмет вожделений многих читателей, интересующихся историей. Название сборника — «Встречи с прошлым» — хорошо знакомо библиофилам. Перелистываю пятый выпуск, целиком состоящий из сообщений и очерков научных сотрудников ЦГАЛИ. Как и предыдущие, он вышел в свет в издательстве «Советская Россия».

Дух захватывает от одной аннотации: «В сборнике «Встречи с прошлым» литература, театр, музыка, изобразительное искусство, кино — в самых различных сочетаниях и аспектах». А какие имена! М. Горький и А. Чехов, Е. Вахтангов и Д. Шостакович, Н. Лесков и В. Поленов, М. Волошин и К. Бальмонт, С. Судейкин и И. Эренбург, Ф. Шаляпин и Р. Глиэр, А. Белый и М. Цявловский...

Можно ли устоять перед таким блестящим созвездием? Удивительно ли, что любой из нас находит в нем «свою» звезду?.. Не только ученые и исследователи, но и самые широкие читательские круги проявляют все возрастающий интерес к «Встречам с прошлым». Сборник документов выходит теперь тиражом 100 тысяч экземпляров — и все равно — мало. Первые выпуски, появившиеся в скромном оформлении, теперь переиздаются в новом, так сказать, облагороженном виде: твердый переплет с золотым тиснением на корешке, больше иллюстраций... Все это не может не радовать читателя.

Каждый выпуск по традиции предваряется вступительным словом крупного писателя, актера или режиссера. Так, сборник 1976 года представлял Константин Симонов: «Значение этого очередного сборника, выпускаемого ЦГАЛИ, — не только в его собственном богатом содержании, но и в том, что это своего рода визитная карточка, — если мне будет позволено так выразиться, — которая напоминает о всем содержании этого уникального архива, о всем богатстве и разнообразии этого содержания. Этот

сборник заставляет думать не только о том, что мы узнали из него, но и о том, что нам еще предстоит узнать, о тысячах и тысячах интереснейших историко-культурных документов, над которыми еще предстоит работа, которые еще будут публиковаться, обогащая наше представление и наши познания».

3. В ГОСТЯХ У МУЗ

Гидом в нашем путешествии по фондам хранилища реликвий будет Наталья Борисовна Волкова — директор архива, заслуженный работник культуры РСФСР, кандидат филологических наук, рачительная «хозяйка» несметных богатств, неустанно пекущаяся об их умножении и сбережении. С Натальей Борисовной мы знакомы давно. В памяти словно стоп-кадры: то она выступает перед членами клуба книголюбов ЦДРИ СССР, предвзярая устный выпуск сборника «Встречи с прошлым», то внимательно слушает доклады и сообщения на вечере в библиотеке Ждановского района столицы, посвященном дочери М. И. Цветаевой — Ариадне Сергеевне Эфрон. Вот она, сообщает хроника, в Париже, приехала с выставкой рисунков С. М. Эйзенштейна (150 работ великого кинорежиссера)... Сейчас предстоит увидеть Наталью Борисовну на ее обычном рабочем месте.

Несколько шагов по коридору мимо редких фотопортретов А. Твардовского, В. Мейерхольда, В. Маяковского, А. Толстого — и я в ее кабинете.

— Наталья Борисовна, вот пятый выпуск сборника «Встречи с прошлым». Какие еще существуют способы ознакомления научной и читательской общественности с богатствами архива?

— Сразу хочу предупредить: в сборники «Встречи с прошлым» входит, может быть, лишь незначительная часть всего массива документов и материалов, хранящихся у нас. Мы отбираем самые интересные темы, самые известные имена. Обращаем внимание и на литературную сторону публикаций; стремимся придавать им занимательную форму, ведь выпуски, как вы знаете, рассчитаны на широкую читательскую аудиторию.

Что касается научной общественности, то для исследователей выпускаем «Путеводители по ЦГАЛИ». В какой-то степени они похожи на «Ученые записки» Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, однако есть и разница. Если в «Записках» — лишь перечень новых поступлений и обзоры отдельных фондов, не раскрывающих полно их содержания, иначе говоря, выборочная информация, то в наших «Путеводителях» читатель найдет полную информацию о всех без исключения поступлениях и приведенных в порядок фондах. Как они выглядят, вы сейчас увидите...

Наталья Борисовна встает из-за стола и подходит к шкафу. Один за другим передо мной возникают пять увесистых томов.

— Вот наши «Путеводители». В первом, который издан в 1960 году, четыреста сорок четыре страницы. В него вошли описания фондов мастеров искусств. Во втором, вышедшем в 1963 году, уже восемьсот десять страниц. В нем вы найдете описания всех литературных фондов. Последние три выпуска — 1968, 1975 и 1982 годов — дают представление о дальнейших поступлениях. В частности, в пятом — описание фондов, которые поступили в 1972—1977 годах. Шестой выпуск, охватывающий поступления с 1978 по 1984 год, сдан в печать. Таким образом, справочник — продолжающееся издание. Что это значит, поясню на примере архива Веры Федоровны Пановой.

Основную его часть писательница постепенно передавала нам еще при жизни. Описание материалов дано в третьем выпуске «Путеводителя по ЦГАЛИ» (372 единицы хранения): рукописи повести «Евдокия» (1958), пьес «Илья Косогор» (1939), «В старой Москве» (1940—1956), «Метелица» (1942—1956)... Тут и сценарии «Поезд милосердия» (1955—1963), «Евдокия» (1960), статьи об А. П. Чехове (1960), выступления на юбилейных вечерах, посвященных памяти Ф. М. Достоевского (1956), А. С. Пушкина (1962), письма самой Веры Федоровны и письма к ней Г. Николаевой, Ю. Завадского, А. А. Игнатьева, Н. Охлопкова, К. Паустовского, А. Твардовского, фотографии сцен из спектаклей, кинокадры из фильмов по ее сценариям... Затем Вера Федоровна передала нам еще часть своего архива — 444 единицы хранения. Опись этих документов — в четвертом выпуске «Путеводителя», в котором дана отсылка к предыдущей аннотации, и для исследователя творчества Веры Пановой не составит труда найти интересующие его материалы. Когда Вера Федоровна скончалась в 1973 году, ее близкие передали нам оставшуюся часть архива. Она составила уже 3-ю опись, в которой 544 единицы хранения.

Вы видите, что «Путеводители» насыщены фактурой, аннотации дают в предельно сжатой форме максимум информации. Хотела бы обратить ваше внимание на следующие особенности. Во-первых, везде (особенно это касается писем) указаны хронологические рамки. Исследователь сразу видит, есть ли среди них периоды, которые его интересуют. Во-вторых, даны адресаты. В-третьих, упоминаются не все, допустим, рукописи, а только главные, характерные. И, наконец, еще одна особенность — «Путеводитель» — в какой-то степени и биографический справочник. Из него можно почерпнуть сведения о годах жизни и основных вехах творчества писателя, актера, режиссера, композитора, художника. Особенно это ценно, когда речь идет о

малоизвестных именах в истории литературы и искусства. Кстати, замечу: к нам часто обращаются составители биографических справочников и энциклопедий. Читателям «Альманаха библиофила» будет небезынтересно узнать, например, о том, что сейчас целая группа авторов готовит для издательства «Советская энциклопедия» «Словарь русских писателей XVIII—XIX веков». Участвуют в его подготовке и научные сотрудники нашего архива. Можно привести и другие примеры... Их много.

Ежегодно ЦГАЛИ принимает от 800 до 1000 исследователей из различных республик нашей страны, до пятидесяти гостей из-за рубежа—США, Англии, ФРГ, Японии, Австралии, из социалистических стран. К их услугам внутренний справочный аппарат ЦГАЛИ—описи фондов, именной и систематический каталоги.

Кроме «Путеводителей»,—продолжает Наталья Борисовна,— наш архив подготовил совместно с другими учреждениями несколько каталогов и описаний фондов отдельных выдающихся представителей отечественной культуры. Назову три работы—«Описание рукописей Ф. М. Достоевского» (М., 1957); «В. В. Маяковский. Описание документальных материалов» (М., 1964. Вып. 1; 1965. Вып. 2); «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Письма поэта (М., 1975. Вып. 1); Письма к А. Блоку (М., 1979. Вып. 2). Издания, выпедшие в свет благодаря нашему творческому содружеству с Институтом русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина и Государственной библиотекой-музеем В. В. Маяковского, вместе с капитальными томами «Литературного наследства», являются важнейшей источниковедческой базой для изучения творчества многих писателей, в частности, для готовящегося академического Собрания сочинений А. А. Блока.

4. ЧТО ЗА «ЕДИНИЦЕЙ ХРАНЕНИЯ»?

— Расскажите, пожалуйста, каковы основные функции ЦГАЛИ, как пополняются фонды архива? Кто и как определяет научную ценность документов? Что именно архив принимает на хранение? Назовите наиболее значительные поступления в последнее время.

— ЦГАЛИ осуществляет контроль за состоянием архива ряда профессиональных учреждений литературы и искусства. К ним относятся фонды Министерства культуры СССР и Госкино СССР, творческих Союзов писателей, художников, композиторов, кинематографистов и ВТО, учебных заведений, таких, как Литературный институт имени А. М. Горького, Московская госу-

дарственная консерватория, Всесоюзный государственный институт кинематографии, основных театров Москвы — ГАБТа, МХАТа, Малого театра, Театра имени Евг. Вахтангова, издательств, редакций «Литературной газеты» и «Литературной России», журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Москва», киностудии «Мосфильм» и других. Сотрудники ЦГАЛИ контролируют состояние архивов этих учреждений, организаций и учебных заведений.

Каждые 15 лет фонд постоянного хранения по описи должен поступать к нам. Прежде всего мы принимаем материалы, связанные с наиболее значительными событиями, — протоколы и стенограммы съездов, пленумов и конференций творческих работников, обсуждений и диспутов, встреч и вечеров, в том числе, конечно, и афиши, буклеты, программки, каталоги, т. е. все, что характеризует жизнь творческих организаций и деятельность их членов. Поступают к нам и личные дела, представляющие немаловажный интерес для будущих биографов и историков.

Вы спрашиваете: кто и как определяет ценность документа? Материалы, зафиксированные в соответствующей описи и в определенном порядке, рассматриваются экспертно-проверочной комиссией ЦГАЛИ. Ее интересует все: полон ли перечень, правильно ли систематизированы документы, нет ли каких-то упущений, пробелов. И только после довольно строгого отбора принимаем материалы на хранение.

При определении научной ценности личных архивов мы исходим прежде всего из главного принципа: насколько тот или иной документ отражает биографию и творчество писателя, художника, актера, композитора. Охотно и широко открываем двери перед содержательными материалами: рукописями, письмами, дневниками, книгами с автографами; отказываем в приеме лишь в тех случаях, когда документы носят сугубо бытовой характер и никакой ценности для науки не представляют.

У нас, архивистов, выработались так называемые критерии отбора документов:

- а) временные рамки (время появления);
- б) его значение для творчества данного лица;
- в) автографичность и другие признаки принадлежности;
- г) экспозиционность документа (допустим, это — письмо писателя, погибшего на фронте, — документ несет большую эмоциональную нагрузку и, безусловно, найдет место в экспозиции музея или на выставке);
- д) личность фондообразователя (возможно, он сам не был значительным лицом своего времени, но зато состоял в дружбе или переписке с известным деятелем искусства).

Разыскивают и ведут переговоры о передаче документов, имеющих историко-культурную ценность, сами сотрудники архива. Такого рода материалы поступают, как правило, от наследников, коллекционеров, деятелей литературы и искусства и других частных лиц.

Из опыта нам известно, что личные архивы редко сохраняются полностью. Есть и отрядные исключения из этого правила. Скажем, передача архивов писателей И. Г. Эренбурга, А. Т. Твардовского, С. С. Смирнова, композитора С. С. Прокофьева, кинорежиссера М. И. Ромма, художника П. П. Соколова-Скаля была начата по их инициативе. Особенно много сделал в этом плане К. М. Симонов, передавший в ЦГАЛИ около 30 тысяч документов, в том числе дневники военных лет, собранные им материалы по истории Великой Отечественной войны. А после смерти Константина Михайловича оставшуюся часть архива передала его вдова Лариса Алексеевна Жадова (ее уже тоже нет в живых). Поступил в ЦГАЛИ и огромный архив В. Б. Шкловского, который он сам начал передавать при жизни. Сейчас поступают к нам материалы (главным образом творческого характера) от А. Б. Чаковского, С. В. Михалкова, Д. Б. Кабалева...

Ежегодно в ЦГАЛИ СССР приходят несколько тысяч дел из учреждений и организаций, учебных заведений и творческих союзов, свыше 50 тысяч документов от частных лиц.

Немало поступлений из-за рубежа. Наибольший приток таких материалов пришелся на 60—70 годы: было получено свыше 30 тысяч документов. Из них около 18 тысяч поступило через И. С. Зильберштейна, совершившего три поездки во Францию и рассказавшего о своих парижских находках на страницах «Огонька», «Литературной газеты», «Советской культуры».

Трудно переоценить значение поступивших материалов для науки, для истории отечественной культуры. Ведь эти документы, которым немало лет, эти хрупкие реликвии были рассеяны по всему свету. Им угрожала гибель от небрежного хранения, от стихийного бедствия, от невежества, они были обречены на полное забвение в стальных сейфах частных архивов. Тем выше заслуга тех, кому удалось спасти эти ценности и добиться возвращения их на Родину!

Из Франции поступили рукописи Л. Андреева и архив театрального деятеля Н. Н. Евреинова, из США — архивы актера М. А. Чехова и художника С. Ю. Судейкина. Пополнились наши фонды акварелями А. Н. Бенуа и М. В. Добужинского, фотографиями И. Е. Репина и Ф. И. Шаляпина.

Фонд Всероссийского театрального общества обогатился материалами за 1941—1963 годы. Среди них — стенограммы бесед и

выступлений С. М. Михоэлса, Г. А. Товстоногова, Ю. А. Завадского, рукописи Н. П. Акимова, М. Ф. Андреевой, С. Г. Бирман, О. Л. Книшпер-Чеховой, В. Э. Мейерхольда и других деятелей сценического искусства.

В составе архива редакции журнала «Новый мир» имеются рукописи Б. Л. Пастернака, К. Г. Паустовского, К. А. Федина, В. М. Шукшина, Чингиза Айтматова и Расула Гамзатова. В составе большого семейного архива Чеховых, переданного племянником писателя Сергеем Михайловичем Чеховым, имеется несколько подлинных рукописей и писем Антона Павловича Чехова, в том числе автографы писем к Лике Мизиновой.

Владимиром Николаевичем Орловым, исследователем творчества А. А. Блока, переданы автографы стихотворений, письма и фотографии поэта. Архив М. И. Цветаевой, собранный буквально по крупицам, любовно сбереженный и переданный на хранение в ЦГАЛИ ее дочерью Ариадной Сергеевной Эфрон, содержит десятки тетрадей с рукописями стихотворений и поэм, переписку, фотографии, редкие издания.

Большой, хорошо сохранившийся архив М. М. Пришвина — рукописи, дневники, огромная переписка конца XIX — первой половины XX века — поступил по завещанию его вдовы Валерии Дмитриевны Пришвиной. Вышло многотомное собрание сочинений писателя, подготовленное по материалам архива.

Значительно увеличился за счет семейных материалов фонд Ф. И. Шалапина. Это — обширная переписка Федора Ивановича с женой и детьми, а также письма к нему А. М. Горького, А. И. Зилоти, К. А. Коровина, Н. Д. Телешова и других.

Архив Романа Кармена насчитывает более 4500 материалов. В них отражена его работа над документальными фильмами, а также большая переписка с Э. Хемингуэем, Г. К. Жуковым, Долорес Ибаррури, Г. М. Козинцевым и другими. Значительно пополнились фонды ЦГАЛИ и материалами художников: К. А. Коровина и А. Н. Бенуа, поступившими из Франции, а также В. Д. Поленова, А. А. Осмеркина; создан фонд Р. Р. Фалька. В составе коллекции театроведа С. Н. Дурьлина поступили письма, рисунки, фотографии художника М. В. Нестерова.

— Наталья Борисовна, а на каких условиях архив принимает документы? Выплачивает ли вознаграждение родственникам? Кто имеет преимущественное право доступа к документам? Существует ли право «вето» на публикацию бумаг в течение какого-то определенного срока?

— Отвечу на ваши вопросы по порядку.

Наше главное правило: ценный для истории личный архив или собрание документов мы готовы принять — безвозмездно или

же за определенное вознаграждение. При этом оговариваются и особые условия. Скажем, материалы поступают к нам в полное или частично закрытое хранение. Авторское право на использование документов сохраняется за наследниками или лицами, на то уполномоченными.

Приведу примеры. Дочь М. И. Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон, передавая нам архив матери, поставила условие: основная его часть должна быть закрыта для кого бы то ни было вплоть до 2000-го года, и мы это условие свято соблюдаем. Вдова М. М. Пришвина Валерия Дмитриевна Пришвина, много сделавшая для издания произведений писателя и приведения в порядок его обширного творческого наследия, сдала дневники Михаила Михайловича на закрытое хранение. Могут спросить: почему? Дело в том, что записи — нередко глубоко личного характера, в них могут в разной связи и по разным поводам упоминаться лица, ныне здравствующие, или же их близкие. Упоминание их имен в печати может быть нежелательным и нанести им моральный ущерб. Как правило, к материалам личного характера допускаем (особенно это касается писем и дневников) только с письменного разрешения родственников.

— Предусматриваются ли ограничения на публикацию незавершенных или же по каким-то причинам неопубликованных при жизни автора произведений?

— Я уже говорила, что авторское право принадлежит наследникам или лицам, передавшим материалы на хранение. Они же в каждом случае решают, публиковать или не публиковать то или иное произведение в печати. Последнее слово за ними и в вопросе о том, кто именно выступит в роли публикатора.

К нам, должна сказать, очень часто обращаются сотрудники издательств, редакций газет и журналов. Обширные публикации появляются в томах «Литературного наследства», альманахе «Памятники Отечества», «Альманахе библиофила» и других изданиях. Мы им охотно даем право на первую публикацию архивных материалов при соблюдении условий, о которых я говорила.

5. «КАК ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, ПИСЬМА?..»

— Библиофилам, коллекционерам, всем, кто владеет собраниями книг, журналов, газет, документов минувших эпох, хорошо известно, сколь хрупок и недолговечен материал, закрепивший текст,— бумага. Очень может быть поучителен и ценен в этом отношении опыт ЦГАЛИ. Сколько времени может жить документ? Принимается ли в расчет материал, на который

нанесен текст или рисунок? Существует ли специальная служба «охраны здоровья» документов, принятых на хранение?

— Да, конечно, служба такая есть. Главное архивное управление при Совете Министров СССР имеет специальную лабораторию реставрации и микрофильмирования. На нее и возложена забота, пользуясь вашими словами, об «охране здоровья» ценностей наших фондов.

Разработана целая система мер — она предусматривает поддержание определенного режима температуры и влажности, размещение и хранение документов. Как долго живут рукописи, письма, дневники, записки? Все зависит от качества носителя текста. Скажем, документ XVIII или XIX века выглядит и сегодня великолепно: его, так сказать, «цветущий вид» обеспечен высоким качеством бумаги и красителей. А вот документы бурной эпохи — гражданской войны... Как дети нелегкого времени, они и выглядят соответственно: бумага серая, ломкая, текст бледный, особенно невзрачна машинопись тех лет.

Профилактикой и лечением занята лаборатория нашего главка. Тут и реставрация документов на бумажной основе, и дезинфекция материалов, их очистка от грязи, плесени, грибков, и, наконец, самое важное и необходимое для обеспечения долголетия оригинала — микрофильмирование. Ведь как бы мы ни старались сохранить рукопись или письмо, от частого употребления они быстро стареют и ветшают. Поэтому создается так называемый страховой фонд, в который входят негативы и позитивы документов. Из этого фонда в читальный зал поступает микрофильм, запечатлевший оригинал в его первоизданном виде. А сам документ лежит в неприкосновенности. Он может быть выдан исследователю только в исключительных случаях. Так обеспечивается долгий век реликвиям отечественной культуры.

— А как быть тем, кто живет в другом городе или стране? Как вообще организован обмен с другими архивами и учреждениями?

— По заказам, которые приходят из других городов, мы выполняем микрофильмирование и фотографирование материалов. В том числе, разумеется, и по просьбам зарубежных исследователей и учреждений. Информация о наших фондах, как вы могли убедиться, поставлена широко, поэтому число запросов не убывает, а, напротив, из года в год растет.

Разумеется, больше всего используются богатства фондов ЦГАЛИ, тем, кто работает в нашем читальном зале. Вы уже знаете, в год бывает до тысячи исследователей. Что приводит их к нам? Конечно, практическая творческая цель.

На материалах из наших фондов созданы, в частности, документальные киноленты, посвященные писателю-коммунисту

Н. Островскому и композитору С. Прокофьеву. Большой процент посетителей—это краеведы. Их интересуют фонды ЦГАЛИ с точки зрения истории города, области. Отрадный факт: в последние годы во многих местах создаются мемориальные и народные музеи. Заметно растет интерес к героическому прошлому нашей Родины. Особенно много было обращений и просьб к нашим архивистам в преддверии 40-летия Великой Победы. Для организаторов музейных экспозиций и краеведов изготавливаем копии материалов. По запросам исследователей выдаем справки и проводим консультации.

Мы уже вели речь о сборниках «Встречи с прошлым»,—продолжает Наталья Борисовна,—называла я и такие издания, которые подготовлены совместно с другими учреждениями культуры. Хочу познакомить вас еще с некоторыми книгами, основанными на материалах ЦГАЛИ:

А. П. Чехов. Сборник документов и материалов. М.: ОГИЗ художественной литературы, 1947.

А. С. Серафимович. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М.: Гос. издательство художественной литературы, 1958.

Л. В. Собинов. В 2 т. Письма. М.: Искусство, 1970. Том I. Статьи, речи, высказывания. Письма к Л. В. Собинову. Воспоминания о Л. В. Собинове. М.: Искусство, 1970. Том 2.

Собрание избранных сочинений С. Эйзенштейна. В 6 т. М.: Искусство, 1964.

Собрание сочинений А. Довженко. В 4 т. М.: Искусство, 1966.

Кроме того, наш архив участвовал в подготовке собрания сочинений А. Афиногенова, М. Ромма, А. Попова, серийного издания «Советский театр. Документы и материалы» (уже вышло 3 тома).

6. ЗАКОНОМЕРНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

— Наталья Борисовна, тут мы ждем от вас магических слов: «находка», «открытие», «отыскано впервые»... Как совершаются открытия? Знает ли исследователь заранее, что он найдет в архивохранилище или же полагается на счастливый случай?

— Шансы примерно равны. «Путеводитель по ЦГАЛИ» дает представление о фондах, но не исключаются при этом находки и открытия. Ведь даже самый опытный архивист не может знать тему лучше исследователя, который посвятил ее изучению многие годы, а то и целую жизнь. Хотя и существует подробная опись, при обработке архива может найтись неизвестное письмо или рукопись, оставшиеся по какой-то причине неаннотированными. Так делаются счастливые открытия. Выпадают они и на

долю самих архивистов. Например, несколько лет назад в фонде Вяземских наш научный сотрудник А. В. Рычков обнаружил неизвестное письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому. Это, конечно, редчайшая находка. Подробно об этом рассказано в четвертом выпуске сборника «Встречи с прошлым» (1982), в статье «Новая встреча с Пушкиным». Были и другие открытия. Уместно напомнить о многолетнем поиске пушкинских материалов И. М. Ободовской и М. А. Дементьевым, которыми в фондах Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Центрального государственного архива древних актов, Центрального государственного архива литературы и искусства, других архивов сделаны замечательные открытия. Исследователи обнаружили в архиве семьи Гончаровых в ЦГАДА неизвестное большое письмо А. С. Пушкина, письма его жены Натальи Николаевны Гончаровой и ее сестер Екатерины и Александры Гончаровых. Все письма адресованы Д. Н. Гончарову, старшему брату Натальи Николаевны. Найденное пушкинское письмо — драгоценная находка сама по себе — свидетельствует о тяжелом материальном положении Пушкиных в 1833 году. Новые материалы позволили заново рассмотреть обстановку вокруг семьи А. С. Пушкина, обстоятельства, которые привели к дуэли и гибели поэта. Главная же заслуга Ирины Михайловны Ободовской и Михаила Алексеевича Дементьева в том, что им удалось документально доказать истину, в которой нисколько не сомневался поэт: его Натали — не только «чистойшей прелести чистойший образец», но и женщина, умевшая сохранить свое достоинство во всех жизненных испытаниях. Четыре книги — «Вокруг Пушкина» (1975), «После смерти Пушкина» (1980), «Пушкин в Яропольце» (1984), «Наталья Николаевна Пушкина» (1985), выпущенные издательством «Советская Россия», займут, как сказано в предисловии к одной из них членом-корреспондентом Академии наук СССР Д. Д. Благим, «заслуженное и подобающее место в нашей столь расширившейся и столь развившейся за советское время Пушкиниане».

Расскажу, — продолжает Наталья Борисовна, — забавный случай. Библиофилам и любителям поэзии, конечно, хорошо известно имя Черубины де Габриак. Под этим экзотическим псевдонимом, а придуман он был в Коктебеле, в доме поэта и художника Максимилиана Волошина, скрывалась поэтесса Е. Дмитриева (Васильева), им же она подписывала свои довольно экзотические поэтические опусы, которые печатал журнал «Аполлон». Вспомнила я Черубину вот в связи с чем. Как-то мне позвонил сотрудник Музея А. С. Пушкина в Москве Н. Г. Охтин. Он увидел, как с чердака старого дома в Гороховском переулке мальчишки выбросили несколько записных книжек.

Заинтересовавшись, он их подобрал. Раскрыл и с удивлением обнаружил, что владелец этих книжек — поэт и библиограф Е. Я. Архипов (1882—1950). В его архиве, сданном вдовой в ЦГАЛИ в 1959 году, были письма К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, В. Я. Брюсова... Сотрудники нашего музея Евгения Николаевна Воробьева и Клара Николаевна Суворова тотчас поспешили к месту находки. На чердаке в груде мусора им удалось разыскать часть архива Архипова, в том числе его статью о В. Э. Мейерхольде, письма Э. Ф. Голлербаха, Э. Л. Радлова, П. Н. Лукницкого и других известных деятелей литературы и искусства. Подобрали они и редкие книги — «Лимонарь» А. М. Ремизова, автобиографический сборник стихотворений Черубины де Габриак «Домик под грушевым деревом», ее письма... Вот какие находки случаются и в наши дни!..

Сравнительно недавно научный сотрудник Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина Ю. А. Лабынцев, занимающийся исследованием старопечатной русской книги, обнаружил фрагмент редчайшего издания — «Азбуки» Ивана Федорова, отпечатанной первопечатником в Остроге в 1578 году. О своем открытии исследователь рассказал на страницах «Книжного обозрения».

Вот еще одна, уж совершенно фантастическая история, которая связана с именем Максимилиана Волошина. Несколько лет назад, работая над «Путеводителем по ЦГАЛИ», мы решили, как обычно, уточнить даты жизни некоторых деятелей, чьи архивы поступили к нам. Наш сотрудник — а это был Вячеслав Петрович Нечаев, ныне возглавляющий библиотеку ВТО, — отправился на Новодевичье кладбище, чтобы познакомиться с текстами надгробных надписей. К нему подошла какая-то старушка. Заметив его непрязный интерес к старым могилам, она решила с ним заговорить. Между прочим, сообщила: в их коммунальной квартире умерла старая женщина, после нее остались какие-то рисунки, никому теперь ненужные. Не смог ли бы он заглянуть к ним? В. П. Нечаев спросил адрес и вскоре отправился на квартиру.

Долго он не мог прийти в себя от изумления: перед ним оказались акварели Максимилиана Волошина с дарственными надписями той, которой уже не было в живых, — ее связывала с Волошиным давняя дружба. Все эти тридцать работ теперь хранятся в фондах ЦГАЛИ.

В нашем деле, как видите, случаются удивительные вещи! Между прочим, во время поездок в Париж в 1968 и 1969 годах в доме для престарелых я познакомилась с известной в прошлом русской драматической актрисой Еленой Николаевной Роциной-Инсаровой, родной сестрой В. Н. Пашенной. Приняла она нас не

сразу. Через переводчицу передала: «Я должна подготовиться к встрече». Она была уже в очень преклонном возрасте. Тем не менее живо интересовалась московскими новостями: расспрашивала, какие идут спектакли, кто в них играет и т. д. Вскоре Елены Николаевны не стало... И как же глубоко тронуло нас, когда узнали: самое дорогое из того, что у нее было — фотографии, — она завещала передать в ЦГАЛИ СССР...

Путешествие по фондам ЦГАЛИ СССР подошло к концу. Благодарю Наталью Борисовну Волкову за интересный рассказ и прошу позволения воспроизвести в будущем на страницах «Альманаха библиофила» кое-что из запасников архива — хранилища реликвий.

Начал я с высказывания Александра Сергеевича Пушкина о пользе сохранения рукописей, а закончу строками «Воспоминания» Василия Андреевича Жуковского:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их НЕТ;
Но с благодарностью: БЫЛИ.

С этим светлым чувством грусти мы и покинем дом на Ленинградском шоссе.

Сергей Городецкий

АКРОСТИХ

Книга — Ярь людского века.
Нищих солнце. Все, что есть —
И в простор земная весть!
Гордость богу человека,
А предвечной теми — месть.

ПУШКИН

Красива радость юного Петра,
Узнавшего, что значит ялик ходкий.
Луна, поплыв утонченною лодкой,
Являет в синем праздник серебра.

Красивы два котенка, их игра,
Прыжок тигриный, звук зловеще-кроткий.
Красив пред утром вскрик свирели четкий,
Поющий, что проснуться всем пора.

Красивый меж красивых тот избранник,
Что первый вышел к травам в ранний час,
Чтоб встретить Солнце, солнцем грея нас.

Он шел вдоль рек, замороженный странник,
И вдунул мир такой в него рассказ,
Что им сто лет граним мы свой алмаз.

Резцов
и кистей



**Я не вижу никакого различия между созданием
книг и созданием картины...**

АНРИ МАТИСС

Б. А. Рыбаков

ИСКУССТВО СТРИГОЛЬНИКОВ

...В новгородском искусстве конца XIV века не могли не отразиться те перемены в общественной жизни, которые в то время сказались и в движении стригольников.

М. В. Алпатов

В первое столетие татарского ига, среди общего разорения и подавленности, русская церковь набирала силы: росли земельные владения, множились монастыри, укреплялось влияние церкви за пределами городов, в деревне. Однако это упрочение позиций было лишь внешним.

В Новгороде и Пскове, где у церкви не было даже такой единственной общественно полезной черты, как содействие объединению разрозненных княжеств, церковь вызвала в XIII—XV веках резкую и упорную оппозицию как в городском посаде, так и в деревне.

Деревня стихийно противопоставляла церкви свои прадедовские исконные языческие обряды, а город постоянно порождал антиклерикальные «бюргерские ереси».

Чем глубже проникала церковь от феодальных верхов в толщу народных масс, тем разительнее был контраст между словом и делом, между церковной проповедью и реальным бытом духовенства с его симонией, поборами, чревоугодием.

Стригольники, как известно, отвергали церковную организацию в целом, считая излишним всякое посредничество между человеком и небом: молиться можно не в церкви, а «на всяком месте», и в своем дому и на «ширинах градных»; каяться в своих грехах надлежит не священнику, поставленному на мзде, а просто матери-земле. Воспринимать священное писание следует не от духовенства, погрязшего в житейских расчетах, а от ученых простецов, «чистое житие имущих»¹. Во взглядах стригольников заложено гуманистическое начало: стригольники раскрепощали человека от обязательной церковной обрядности, от опеки и надзора церковного начальства и превращали веру в частное, личное дело человека, который сам знает, когда и как ему нужно обратиться непосредственно к богу. Не освобождая средневекового человека от религиозного образа мыслей, стригольники тем не менее делали большой шаг вперед, отмечая громоздкую и дорого обходящуюся церковную организацию.

Церковь нередко расправлялась со своими врагами крутыми мерами; одной из них было оружие интердикта, отлучения от церкви. Однако в Новгороде и Пскове мы наблюдаем обратное явление: здесь еретики-стригольники как бы отлучили самую церковь от жизни городского посада, продолжавшей идти своим чередом без церкви, минуя церковь².

Большинство исследований, посвященных стригольникам, базировалось на официальной обличительной литературе 1375—1427 годов. Представляется необходимым, во-первых, выяснить время возникновения движения, а во-вторых, расширить круг источников, могущих осветить разные стороны стригольничества.

Истоки стригольничества следует искать задолго до казни главарей движения в Новгороде в 1375 году. Еще в начале XIII века Авраамий Смоленский (ок. 1220 года) проповедовал «малым же и великим рабом же и свободным и рукоделным». Он в своих проповедях комментировал апокрифические «отверженные» «глубинные книги» и, очевидно, очень резко выступал против духовенства, так как «игуменом же и ереом, аще бы мощно—жива его пожрети». Духовенство Смоленска лишило Авраамия права проповеди и установило «никому же не приходи к нему; мнози же мечници на всех путех стрежааху»³. Авраамий был опасен тем, что мог «не токмо почитати, но и протолковати недоразумныя словеса». Следует думать, что Авраамий Смоленский не был проповедником-одиначкой. У него были ученики, ему удалось (уже после суда над ним) удержать в своих руках монастырь и стать игуменом; его последователи добились даже канонизации Авраамия. В известной мере судьба Авраамия напоминает судьбу его старшего современника Франциска Ассизского, выступавшего против алчности духовенства.

У нас не было официально оформленных нищенствующих монашеских орденов вроде францисканского, но следует обратить внимание на «калик-перехожих», разносивших по всей Руси духовный стих, выражавший один из важнейших стригольнических тезисов⁴.

От Авраамия и авраамистов тянутся нити к стригольникам: житие Авраамия переписывалось в Новгороде начиная с 1355 года в разгар стригольнического движения. Авраамисты и стригольники одинаково опирались на «Златую Цепь», сборник со статьями против духовенства («свинные пастухи», «блудодеи»). Можно думать, что именно у авраамистов зародилась идея использования разного вида тайнописи для большей недоступности их «глубинных книг». Зачатки ее относятся к 1220-м годам⁵, а расцвет — к стригольническому времени, к XIV веку.

В свое время А. Д. Седельников и Н. П. Попов убедительно показали, что зарождение стригольничества следует относить к

XIII веку⁶. К 1272—1313 годам относится известное «Слово о лживых учителях», бичующее духовенство, погрязшее в различных пороках.

Под 1313, 1326, 1336, 1339, 1352—1359 гг. в разных источниках упоминаются еретики и борьба церковников с ними. К еретикам «присташа мнозии от причта церковна и мирян...»⁷. Таким образом, следует считать, что еретическое антиклерикальное движение обозначилось на сто-полтораэта лет ранее казни стригольника Карпа и дьякона Никиты в 1375 году.

Кроме расширения хронологических рамок стригольничества, представляется возможным и расширение круга материалов, связанных с этим движением. Такими новыми дополнительными материалами могут быть памятники эпиграфики, рукописи и живопись XIII—XIV веков.

Поклонные и покаянные кресты. Среди новгородских древностей сохранилось три замечательных креста, которые, по моему мнению, изготовлены стригольниками. Два из них содержат рельефно вырезанные на камне надписи, испрашивающие отпущение грехов, здравие и спасение души человеку, для обозначения имени которого оставлено на камне свободное место. Очевидно, эти кресты прямо связаны с отказом стригольников от церковного покаяния. Стригольнику, желавшему исповедаться земле, достаточно было написать свое имя углем или воском на покаянном кресте и вслух или мысленно перечислить свои грехи. Один и тот же крест мог служить последовательно любому числу кающихся; надо было лишь менять написание имени очередного «раба божия»⁸.

Третий крест — знаменитый сосновый Людогочинский крест 1359 года, резанный скульптором Яковом сыном Федосовым. Со стригольничеством его связывает надпись, призывающая молиться «на всяком месте чистым сердцем», т. е., по существу, отстраняющая церковь как обязательную посредницу между человеком и богом⁹. Все изображения, вырезанные Яковом Федосовым на этом кресте, связаны в основном с идеями стригольников: непосредственное общение человека с богом (Илья в пустыне, Герасим в пустыне), нестяжательность (бессребреники Козьма и Дамиан), благое пастырство (Флор и Лавр) и борьба со злом (Федор Тирон, Георгий, Самсон, Федор Стратилат). Особое внимание уделено апокрифу о Федоре Тироне, вступившем в борьбу со змеем. Змей держал в подземелье мать Федора и, кроме того, преграждал всем людям доступ к воде. Апокриф отражен в трех боковых медальонах, средний из них, изображающий Федора, — самый крупный из всех медальонов креста. Это единственный случай, когда мастер Яков нарушил симметрию. Очевидно, художника особенно привлекла главная идея апокрифа: борьба со

злом и очищение источника воды от овладевшего им чудовища¹⁰.

Крест Якова Федосова предназначался для поклонения на улице или на городской площади, а это заставляет вспомнить еще один тезис стригольников о молениях «на распутиях и на ширинах градных».

Книжная орнаментика. Все оппоненты и обличители стригольников признавали, что они «постницы, молебницы, книжницы», что они изучили «слова книжная» и поставили себя «учителя народом», что они «высятся словеса книжными»¹¹.

Все это заставляет нас обратить особое внимание на книжность XIII—XIV веков не только с точки зрения содержания (что сделано А. Д. Седелниковым, Н. П. Поповым, Н. А. Казаковой и А. И. Клибановым), но и со стороны ее внешнего оформления. Это тем более необходимо, что именно в десятилетия, предшествовавшие расправе со стригольниками, в русской книжной орнаментике произошел резкий перелом: в тератологический орнамент вторглась человеческая фигура¹². На страницах богослужебных книг начиная с 1323 года появляются псары, охотники, бирючи, рыбаки, гусяры, птицеловы. Люди в инициалах XIV века живут жизнью городского посада: они одеты в обычные городские одежды, они бьются в поединке, читают книги, пьют вино из турьих рогов, греются у костра, ведут собак на сворках... Художники, иллюстрировавшие богослужебные книги, настолько увлеклись своим смелым введением человека в орнаменту, что делали подписи к буквицам-рисункам: «Мороз, руки греет», «Гуди гораздо» (обращение к гусяру), «Обливается водою» и др. Общеизвестна перебранка двух рыбаков, тянущих невод с рыбой: один из них говорит своему ленивому товарищу: «Потяни, курвин сын!», а тот ему в ответ бросает: «Сам еси таков!»

Интерес к человеку, к реальной жизни города в этих инициалах, несомненно, созвучен тому гуманистическому началу, которое заложено в учении стригольников. Но достаточно ли этой близости для того, чтобы зачислить эту озорную орнаменту в разряд стригольнического творчества?

В большой статье, посвященной книжной орнаментике XIII—XIV веков, М. В. Щепкина задает близкий к нашему вопрос: «Можно ли в орнаменте видеть какие-то символы или вкладывать в него какой-то логический смысл?» И отвечает отрицательно: «Никаких логических, смысловых положений примысливать орнаменту нельзя»¹³. Такой пессимизм объясним только тем, что орнамент изучался сам по себе, без связи с содержанием иллюстрируемых книг.

Предпримем попытку комплексного рассмотрения инициалов и того текста, частью которого они являются. В качестве первого

Фронтиспис новгородской Псалтыри
XIV в. (Фроловская № 3.)



объекта исследования возьмем Псалтырь XIV века и именно новгородского происхождения. Она привлекла мое внимание своим поразительным фронтисписом, опубликованным Н. Н. Розовым и частично им прокомментированным¹⁴.

Прежде всего бросается в глаза неравномерное распределение красочных инициалов в книге: то на одном листе, несимметрично и порой некрасиво (в самом низу листа) помещены 2—3 инициала, то вдруг оказывается пустой интервал в 10—15 листов. Это уже настораживает. Если же мы дадим себе труд вчитаться в те фразы псалтырного текста, которые отмечены красочными буквицами, то увидим совершенно определенный, сознательный подбор.

Первый и второй инициалы являются как бы эпитафией ко всему этому своеобразному подбору цитат:

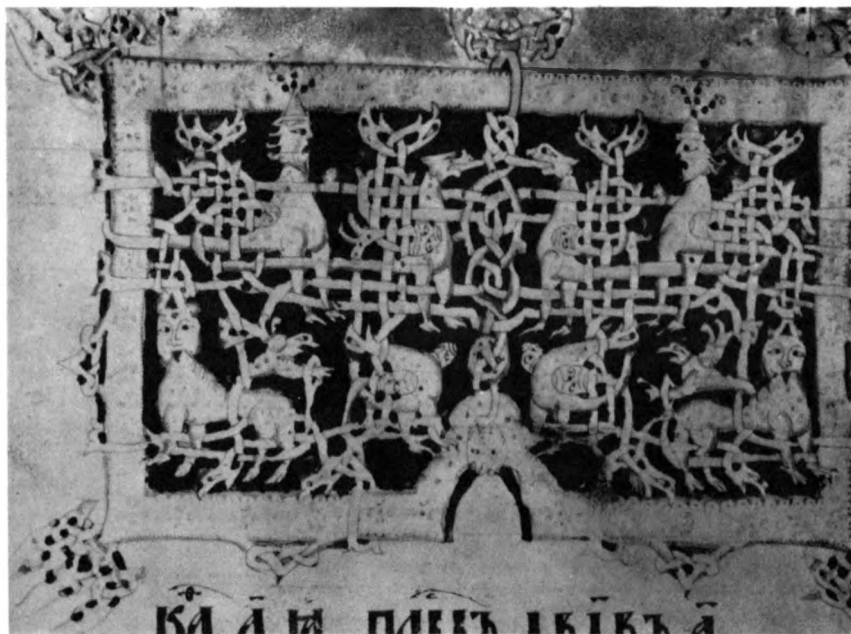
«Вскую шаташася языци и людие подучипася тщетным» (л. 3).

«Господи! Что ся умножиша стужающим ми?» (л. 4).

Эти фразы сразу вводят нас в обстановку напряженности: составитель подбора порицает окружающих его за «поучение тщетным» и огорчен умножением своих врагов.

В дальнейшем инициалы группируются в четыре категории:

1. Непосредственно личное обращение к богу.



Фроловская Псалтырь. Лист 1, оборот

2. Исповедь непосредственно богу. Этих инициалов много. Например: «Исповемся тебе господи всим сердцемъ моимъ» (л. 10 об., 154, 184 и др.).

3. Беззаконие, творящееся вокруг и, в частности, в церкви. Например: «Господи! Кто обитаетъ в жилищи твоемъ?» (л. 15 об.), «Помилуя мя боже, яко на тя упова душа моя и на сень крилу твою надеюся дондеже преидеть беззаконие» (л. 74).

4. Мольба о спасении от врагов. Таких инициалов очень много. Вот несколько примеров:

«...от всех гонящих избави мя!» (л. 6 об.)

«...възбрани борющаяся со мною» (л. 43 об.)

«Изми мя от враг моих, боже... избави мя от творящих беззаконие!» (л. 75 об.).

В конце Псалтыри художник-редактор отмечает своими буквицами тексты, призывающие к борьбе:

«Благословен господь бог мой, научая руце мои на опольчение и персты моя на брань» (л. 192).

Самый последний инициал, концовка всей работы по подбору текстов, отмечает строки с провозвестием новой зари; в качестве символа художником избран петух-шантеклер:

«От нощи утренюеть дух наш к тебе, боже, зане свет повеления твоего по земли» (л. 208 об.).

Петух, провозвестник новой зари,—излюбленный символ художника. Заставка на первом листе содержит, кроме китоврасов и ситарглов, еще 16 поющих петушиных голов.

Как видим, 62 инициала фроловской Псалтыри, очень целенаправленно и совершенно не считаясь с симметрией и равномерностью, отмечают тексты, которые сознательно отобраны художником-стригольником как созвучные основным идеям этого нового учения, как каноническая опора движения¹⁵.

Не меньший интерес, чем инициалы, представляют и фронтисписы, возглавляющие книги. Начиная с XI века русские художники восприняли византийскую манеру давать в начале рукописи схематическое изображение церкви как бы в разрезе. В XIII—XIV веках рукописи постоянно украшались такими схемами церквей с тремя или пятью главами. Внутри контура здания щедро наносился тератологический или плетеный орнамент.

Фронтисписы XIII—XIV веков можно разделить на две группы: там, где не было стригольников, фронтисписы представляют собой суховатый архитектурный чертеж, реалистично передающий облик зданий того времени. Там же, где шло стригольническое движение, архитектурная схема храма едва намечена, превращаясь в сложное переплетение чудищ и птиц (иной раз мертвых птиц в тенетах). Иногда мы видим даже отказ от церковной схемы. Так, в той самой Псалтыри, где среди букв иц нарисованы переругивающиеся рыбаки, схема церковного здания заменена в одном случае огромным крестом (вспомним крест Якова Федосова), а в другом — светскими палатами со скульптурными колоннами.

Разобранная выше рукопись с тенденциозной расстановкой инициалов (Фрол. № 3) содержит совершенно исключительный по важности для нашей темы фронтиспис. Голубой краской дан общий контур трехглавой церкви; над церковью — диск, долженствующий изображать солнце. Внутреннее пространство церкви заполнено чудищами, бородастыми харями, птицами со звериными лапами. В нижнем ярусе, в центре церкви изображен скованный Вельзевул и адские звери. По сторонам церкви, как бы выходя из нее, отступая от нее, изображены два новгородца с высоко закинутыми вверх головами; каждый из них поднимает к небу модель маленького домика с двускатной крышей. Этот фронтиспис содержит три стригольнических тезиса. Во-первых,

церковь показана наполненной всяческими исчадиями ада: на церковном полу (как в аду на апокрифических иконах «Сопествие во ад») изображен сам Сатана. Правда, он скован, его терзают звери, но все же церковь показана не как храм божий, а как темница Сатаны. Во-вторых, новгородцы покидают эту «злосесную» церковь и противопоставляют ей «малую церковь», «свою келью». В-третьих, эти новгородцы обращены лицами к небу, что прямо иллюстрирует тезис: «стригольнищи... на небо взирающе беху, тамо отца себе нарицають...» Правда, на небе над церковью в солнечном диске изображен не бог-отец, а петух со звериными лапами. Этот символ остается для нас загадочным.

Естественно, что рукопись с подобным антицерковным рисунком на первом листе, со специфическим, в стригольническом духе, подбором цитат при помощи буквиц, с изображением людей, пьющих вино из рогов и кубков (на текст: «Хвалите бога»),— такая рукопись не могла предназначаться для церкви. Перед нами, очевидно, книга, изготовленная стригольниками для своего внутреннего употребления, для чтения в замкнутой и недоступной церковникам общине.

Существование в Новгороде и Пскове двух, сильно расходящихся, религиозных концепций—церковной и стригольнической—заставляет нас пересмотреть заново весь известный нам фонд религиозного искусства XIII—XIV веков. И едва только мы подойдем к этому довольно значительному фонду, учитывая как ортодоксальную церковную концепцию (поддерживаемую высшим духовенством и боярством), так и стригольническую, более демократическую, суровую, мы сразу увидим, что новгородско-псковская иконопись довольно четко распадается на две различные группы. Возглавляют эти группы две иконы конца XIII века. Одна из них—«Никола Липный», написанная мастером Олексой Петровым в 1294 году для боярина Николая Васильевича, в церковь, только что построенную архиепископом Климентом¹⁶. Избыточная декоративность, красивость, многообразие орнаментальных деталей, изысканность жестов, роскошь одежд, яркая колоритность и обилие золота—все это очень настойчиво превращает Николу в богатого и вельможного князя церкви. К тому же времени относится икона Иоанна Лествичника с Георгием и Власием: на тяжелом и суровом красном фоне возвышается огромная, простая, как идол, фигура Евана (который по легенде поднялся по лестнице на небо, к богу), вдвое превышающая соседние; одежда Иоанна скромна, жест сдержан; на темном фоне мантии выделяется лишь одно яркое пятно—книга в драгоценном переплете. Георгий с мечом и благой пастырь Власий подкрепляют стригольническую тему, но главным в этом произведе-

дении искусства остается гигантская фигура Евана, человека, привлечшего к себе внимание самого бога.

К средневековой живописи мы должны подходить как к проявлению общественной мысли со всей ее сложностью и противоборством. В данном случае иконы «Никола Липный» и «Еван» дают нам два полюса новгородского искусства конца XIII века, того времени, когда появилось стригольническое «Слово о живых учителях». И каждое из этих направлений получило продолжение в XIV—XV веках в эпоху расцвета стригольничества.

На таком же красном фоне, как Еван, и столь же просто написаны иконы Георгия и несколько икон Ильи XIII—XIV веков. Георгий показан не только как апокрифический победитель зла-змия, но и как человек, претерпевший за свое правдолюбие жестокие казни. Интерес к пророку Илье в XIV веке объяснялся не только тем, что бог беседовал с ним в пустыне, а потом взял его живым на небо (эту последнюю тему охотнее разрабатывали официальные художники XV—XVI веков), но и тем, что Илья боролся с языческим жречеством и заколол 300 жрецов. На одной из икон Ильи изображен внимающим голосу бога, а на самом видном месте в центре ряда клейм показана расправа Ильи с жрецами¹⁷. Если средневековый художник хотел выразить мысль о необходимости борьбы с духовенством, то лучшего сюжета не было; современный ему зритель легко разгадывал эзопов язык таких иносказаний.

Целый ряд икон посвящен Фролу и Лавру, Власию, Спиридону, Модесту и др. Обычно они расцениваются как изображения покровителей коневодства, но напрашивается совершенно иное объяснение: в противовес «лихим пастухам», «лживым учителям», обличенным в стригольнической литературе, здесь выдвигается принцип благих пастырей, умело пасших свои стада.

Почитатели евангелия, стригольники, должны были выразить это и в иконописи; действительно, мы видим такие иконы, как «Земная жизнь Христа», а к противоположному, официальному лагерю следует отнести предпочтение торжественных, «двунадесятых» сюжетов, как преображение и вознесение.

Народные апокрифы привели к созданию икон «Сошествие во ад», где воскресший Христос выводит из ада Адама и Еву, прощая им их первородный грех; здесь снова мы видим в примитивной форме внимание к человеку и человеческому. Церковь же предпочитала канонический сюжет «воскресения».

Самой выразительной иконой стригольнического толка можно считать замеченную еще А. И. Некрасовым псковскую икону второй половины XIV века — «Собор богородицы». Действие происходит на огромной, заросшей зеленой травой, горе; престол

богоматери прямо на земле, по сторонам его — две аллегорические фигуры Пустыни и Земли. Земля в виде полуобнаженной женщины с праздничным венком в руке. На горе и на переднем плане показаны группы благих пастырей в дьяконских одеяниях, читающих, поющих и прославляющих богородицу. Глубоко прав М. В. Алпатов, писавший по поводу этой иконы: «Может быть, в этих фигурах отразились псковские празднества (так называемые братчины), в которых христианские воззрения перемешивались с пережитками язычества и еретическими настроениями»¹⁸.

К ортодоксальному направлению можно отнести иконы, содержащие иные сюжеты («Борис и Глеб», «Страшный Суд», «Чудо в Хонех» — о наказании крестьян, враждующих с монастырем, «Отечество») или дающие иную трактовку тех же сюжетов («Восхождение Ильи», «Воскресение», «Рождество», «Покров», где богородица подчеркнуто вознесена над землей «на воздухе», сложная, пышная композиция «О тебе радуемся»).

Идеологическая борьба шла в живописи с тем же напряжением, что и в полемической литературе. Церковные сюжеты были выражением тех или иных течений общественной мысли, и поэтому после расшифровки становятся для нас драгоценным историческим источником, освещающим оппозиционное движение не извне, не со стороны официальной церкви, а изнутри, со стороны самого стригольнического движения.

В числе стригольников были представители низшего белого духовенства (дьякон Никита); как мы помним, Авраамий Смоленский удержал за собой свой полуеретический монастырь. Не исключена возможность, что церковь в пригородном селе Волотове под Новгородом во времена архиепископа Алексея, благоволившего еретикам, могла принадлежать общине стригольников. Роспись Успенской церкви в Волотове 1363 года, выполненная русским мастером, новгородцем, необычна по своим сюжетам. Особенно интересна фреска, изображающая пир в богатом монастыре, игумен которого приказал прогнать Иисуса Христа, стучавшегося в ворота под видом нищего. Со стригольническим отказом от заупокойных панихид и вкладов в церковь на помин души связана другая волотовская фреска: «Души праведных в руке божией». Здесь еще раз устраняется посредничество церкви между человеком и небом.

Разбор всего богатого новгородско-псковского искусства и выявление двух противоположных тенденций в нем требуют значительно большего объема текста, чем в данном случае. Здесь эти два направления — официальное, церковное, и стригольническое — намечены лишь концептивно.

Последний сюжет, которого хотелось бы коснуться в беглом перечне предполагаемых памятников стригольнического искус-

ства, это — серебряный складень-триптих из собрания Постникова¹⁹. Дата складня — конец XIV — начало XV века.

Левая створка складня соединяет в себе изображение троицы в центре, святого Власия и четырех символов евангелистов; подписи к символам перепутаны. На правой створке триптиха представлены «Знамение» и шесть клейм с поясными рельефами. Четыре фигуры по углам подписаны: «АНТИП, ГРИГОРИ, НИКОЛА, ВАСИЛ». Две фигуры меньшего размера, расположенные в середине нижнего края, не подписаны. Средняя, главная створка дает изображение в рост трех дьяконов (Гурия, Самона и Авива) и над ними — богородицы-знамения; в углах — ангелы.

Трое дьяконов-мучеников стоят в арке, колонны которой увиты лозой, а капители сделаны в виде звериных морд, как на иконе Благовещения из с. Троицкого конца XIV века и на фронтисписе Псалтыри XIV века. По самой арке идет надпись, выполненная вязью, чрезвычайно напоминающей тайнопись, которой писано в XIV веке «Слово Григория Богослова»²⁰. Текст надписи: «Яко неборимую стьну и источник чудесь стяжаше».

Выдвижение на первое место дьяконов-мучеников, внимание к Власию, Григорию Богослову и Антипе позволяет сближать этот интересный триптих со стригольниками.

Напомню летописный текст о казни стригольников в Новгороде в 1375 году:

«Тогда стригольников побиша: дьякона Микиту, дьякона Карпа и третье человека его.

И свергоша их с мосту»²¹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Казакова Н. А. Новгородско-псковская ересь стригольников XIV—XV вв. М.; Л., 1955; Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV—первой половине XVI в. М., 1960.
- 2 См.: Рыбаков Б. А. Антицерковное движение стригольников // Вопр. истории. 1975. № 3.
- 3 Розанов С. П. Жития Авраамия Смоленского // Памятники древнерусской литературы. Спб., 1912. Вып. 1. С. 10, 12.
- 4 См.: Веселовский А. Н. Калики — переходные и богомильские странники // Вестн. Европы. 1872. Апр.
- 5 См.: Рыбаков Б. А. Смоленская надпись XIII в. о «врагах-игуменах» // Сов. археология. 1964. № 2.
- 6 См.: Седельников А. Д. Следы стригольнической книжности // Тр. Отд. древнерус. лит. Ин-та рус. лит. (Пушкинский Дом) АН СССР. Л., 1934, Т. 1; Попов Н. П. Памятники литературы стригольников // Ист. зап. 1940. Т. 7.
- 7 Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1965. Т. 5. С. 72.
- 8 Подробнее см.: Рыбаков Б. А. Стригольнические покаянные кресты // Культурное наследие Древней Руси. (Истоки. Становление. Традиция). М., 1976.
- 9 Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV вв. М., 1964. С. 43—44.

- ¹⁰ Никак нельзя согласиться с В. Н. Лазаревым и Н. Е. Мневой, что крест будто бы связан с «проторжью» 1359 г. в Новгороде. Внимание к алокрифу о Федоре Тироне авторы объясняют так: «По-видимому, славяне, побившие и «полупившие» многих бояр Софийской стороны, не нашли спрятанной от них матери или какой-либо близкой родственницы одного из бояр, и последнему удалось ее спасти». Лазарев В. Н., Мнева Н. Е. Памятник новгородской деревянной резьбы XIV в.—Сообщ. Ин-та истории искусств АН СССР. 1954. № 4—5. С. 162.
- ¹¹ Казакова Н. А. Указ соч. С. 10. 112.
- ¹² См.: Некрасов А. И. Очерки из истории славянского орнамента. (Человеческая фигура в рус. тератологическом рукопис. орнаменте XIV в.). Спб., 1913.
- ¹³ Щепкина М. В. Тератологический орнамент // Древнерусское искусство: Рукопис. кн. М., 1974. Сб. 2. С. 239.
- ¹⁴ См.: Розов Н. Н. Еще раз об изображении скomorоха на фреске в Мелетове // Древнерусское искусство. Художест. культура Пскова. М., 1968. С. 89—91. Рис. на с. 90. (Рукопись хранится в Гос. публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Собр. П. К. Фролова. Шифр: I—№ 3.)
- ¹⁵ Нельзя согласиться с В. В. Стасовым, хотевшим видеть в подборе инициалов одного евангелия XIV в. (Библиотека Академии наук СССР, № 3) целостную композицию, которая будто бы изображала какую-то священную церемонию с жрецами, закланием зайца и пляшущими скomorохами; изображение, по мнению Стасова, заимствовано с иноземных «больших ковров и металлических сосудов...» (Стасов В. В. Картины и композиции, скрытые в заглавных буквах древних русских рукописей // Чтения в Об-ве любителей древней письменности. Спб., 1884. С. 19, 25).
- ¹⁶ См.: Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М., 1955. Т. 3. С. 126—128.
- ¹⁷ См.: Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи/Гос. Третьяковская галерея. М., 1963. Т. 1. С. 182—183.
- ¹⁸ Алпатов М. В. Указ. соч. С. 148.
- ¹⁹ См.: Каталог христианских древностей, собранных московским купцом Николаем Михайловичем Постниковым. М., 1888. № 1001—1003. С. 49. Рис. 20.
- ²⁰ См.: Гранстрем Е. Э. Сокращения древнейших славяно-русских рукописей // Тр. Отд. древнерус. лит. 1954 (вкл. между с. 432—433).
- ²¹ Полн. собр. рус. летописей. Спб., 1848. Т. 4. С. 72.

Нелли Кузнецова

СКАЗКА, УВИДЕННАЯ ВООЧИЮ

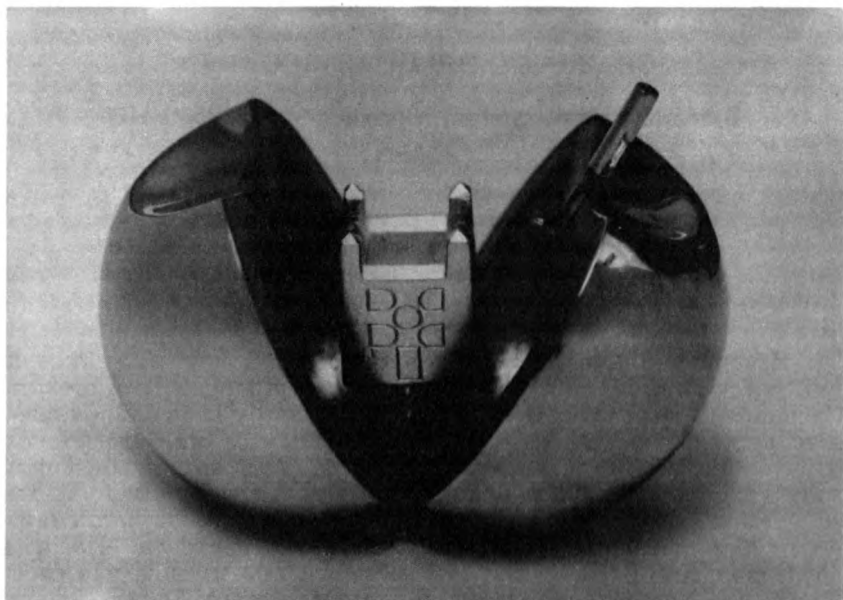
Биеннале иллюстраций. Братислава, 1985 (БИБ)

Именно так называется Международная выставка иллюстраций детских книг, которая раз в два года проводится в столице Словакии Братиславе. И несмотря на то, что у слова «биеннале» есть русский эквивалент — «выставка», мы все же будем называть ее по имени, данном с рождения. Устроители объяснили мне, что с самого начала искали название с интернациональным звучанием, которое было бы понятно человеку любой национальности без перевода. Кажется, они этого достигли. Но и в аббревиатуре — БИБ — тоже свой колорит: она звучит, как слово из детской считалки или игры. Вспомним: «снип — снап — шнура, порра — пазелюрра» или «трынцы — брынцы — бубенцы»...

О наградах. Хотя высшей здесь является «Гран-при», символом БИБ стало «Золотое яблоко» («Злато яблочко», как говорят в Братиславе) — весьма почетный приз. Правда, яблоко каждый год меняет цвет (оно то сиреневое, то желтое, то голубое...) — в этот юбилейный для биеннале год (выставка — десятая по счету) оно золотое. В «золотой наряд» оделась и сама Братислава — этот цвет преобладает в городской рекламе. На главных площадях и перекрестках древнего города установлены гигантские цветные карандаши; самый большой из них — золотистый. Здесь же щиты с нарисованными сказочными персонажами. Метафора дизайнеров легко читается: всех зовут на БИБ.

О том, что биеннале достигла истинного международного звучания, говорят цифры: если на первую в 1967 году свои работы представили 305 художников из 24 стран, то в 1985-м — 355 из пятидесяти. 2482 оригинала — эта цифра впечатляет.

— Когда мы создавали БИБ, то не думали, что все будет так... — со свойственной словакам скромностью Душан Ролл, генеральный секретарь БИБ, не договаривает. И конец фразы можно прочитать лишь по его глазам, которые загораются радостным блеском. — Ведь БИБ стала единственной в своем роде международной биеннале: в отличие от выставки детских книг



Приз «Золотое яблоко»

или станковой графики на сюжеты детской литературы здесь соревнуются только оригинальные графические листы, не тронутые полиграфическими машинами, но предназначенные именно для книг.

И еще Душан Ролл подчеркивает, что биеннале — яркое проявление демократического характера образования и культуры социалистической Чехословакии. В конечном же итоге — это весомый вклад в обмен культурными ценностями. Не локальные искусствоведческие задачи, не национальная замкнутость, но цели укрепления международных культурных связей и развитие взаимопонимания между народами — этими принципами, соответствующими хельсинкским соглашениям 1975 года, руководствуются организаторы БИБ.

Когда я встречала в печати имя генерального секретаря БИБ доктора Душана Ролла, воображение рисовало солидного седого человека, с академической импозантностью и неторопливой речью. Но доктор Душан Ролл опроверг все мои представления, оказавшись стройным и подвижным, как юноша, деловым и

приветливым человеком, седина которого не свидетельствует о солидном возрасте, а лишь прибавляет обаяния.

Биография Душана Ролла — отражение судьбы его народа. В 16 лет он стал участником Словацкого национального восстания 1944 года, был ранен. После изгнания фашистов и установления в стране народной власти ему и его сверстникам открылись все дороги: к образованию, активной творческой и общественной работе. В те годы в социалистической Чехословакии многое было впервые. Впервые был создан и класс книжной графики в Братиславской высшей школе искусств, который возглавил профессор Винцент Гложник. Словакия, не имевшая традиции иллюстрирования детских книг, через несколько лет получила плеяду ныне всемирно известных графиков, таких, как Альбин Бруновский, Мирослав Ципар, Вера Бомбова, Душан Каллай... Молодой заместитель главного редактора издательства «Младе лета» (аналог нашей «Детской литературы») предложил организовать выставку-конкурс детских иллюстраторов Чехии и Словакии.

В 1965 году состоялась первая Братиславская биеннале, на которую были приглашены и художники из социалистических стран, организации ЮНЕСКО. Затея удалась. И организаторы, поддержанные правительственными учреждениями страны, министерством культуры Словакии, раздвинули региональные рамки выставки до международных. В 1966 году на конгрессе Международного совета по детской литературе в Любляне эта идея была также одобрена, а в 1967-м БИБ приняла художников уже из 24 стран Европы, Азии, Америки...

Каждый год в программу БИБ добавляется нечто новое, на этот раз по поручению ЮНЕСКО секретариат БИБ и Высшая школа изобразительных искусств в Братиславе впервые проводили практический семинар для иллюстраторов из развивающихся стран. Руководителем семинара был назначен народный художник ЧССР, профессор Альбин Бруновский, трижды удостоенный наград БИБ. В один из дней мы условились с ним о встрече. Каково же было мое удивление, когда дом, в котором живет художник, оказался тем сказочным дворцом, который я видела в одной из иллюстрированных им детских книжек. На небольшом плато, высеченном в скале, стоит это чудо: разноцветные башенки, стрельчатые окна, заросли роз, мягко открывшаяся решетчатая калитка... И вот перед нами хозяин — высокий, приветливо улыбающийся светловолосый человек. Как потом выяснилось, этот дом достался ему по случаю. Однако не хочется в это верить: пусть сказка не улетает — ведь художник всегда немного волшебник, сам живет в сказочном мире, сам творит его. Как потом выяснилось, по 13 часов в сутки.

Мы узнали, что здесь были не только прочитаны рефераты и доклады о мировом искусстве иллюстрации для детей, включая книжную графику художников,— широкий показ диапозитивов, книг, знакомство с искусством типографов, с системой обучения будущих художников в Чехословакии раскрывали для гостей с Кубы, Вьетнама, из Ганы, Нигерии и Венесуэлы саму динамику строительства социалистической культуры.

— Именно БИБ помогла и мне в свое время увидеть и понять себя в контексте мирового потока иллюстрации, познакомиться с коллегами из стран Европы, Азии, Америки, подружиться с советскими художниками Горяевым и Верейским, Дехтяревым и Бисти, Пивоваровым и Поповым, Митуричем и Калиновским. Нет, не потерянное время те ночи, когда мы до рассвета спорили об искусстве, о жизни... Неужели когда-то этого не было? Ведь теперь возникла традиция: в Братиславу приезжают художники, писатели, издатели, искусствоведы из разных стран. Поистине столица социалистической Словакии стала школой мастерства и школой дружбы. Художники стремятся сделать книгу для детей красивой и гуманной. Кто-то сказал на торжественном открытии 10-й биеннале: энтузиастами БИБ движет здравый разум и нежность. В 1985 году художники КНР и Бурунди, Доминиканской Республики и Коста-Рики, Ганы и Замбии пополнили сообщество участников БИБ.

Альбин Бруновский продолжает:

— Уровень нынешней «золотой» биеннале выше первой. Она показывает, что детские графики остаются верны первоисточнику, у некоторых художников чувствуется влияние гиперреализма, но такой тенденции в книжной графике для детей нет. Характерной особенностью остается стремление к гармонии литературной основы и иллюстрации.

Отчетливо видны национальные школы: уверенно идет вверх болгарская школа (это характерно и для ее живописи, и для станковой графики). Всегда хороший уровень у художников Японии, США, Франции, ГДР, ФРГ, СССР, ЧССР — высок он и на этот раз. На общем хорошем уровне есть особо выделяющиеся мастера, у них щедрая фантазия, они находят новые прочтения известных литературных произведений. Чем замечательна наша биеннале — на ней, как правило, появляются новые яркие индивидуальности. Это не значит, что они получают «Гран-при» или другую награду. Но они становятся новой точкой отсчета. И на этот раз могу сказать, что лауреат «Гран-при» Фредерик Клеман из Франции — мой фаворит. Но я бы назвал еще мою соотечественницу Маркету Прахатицку — у нее Золотая медаль за новое оригинальное прочтение «Алисы в Стране Чудес» и «Алисы в Зазеркалье».



*А. Ивахненко. Иллюстрация к «Поэмам» Т. Шевченко.
Удостоена Почетного диплома БИВ*

Мировая детская литература имеет несколько феноменов популярности. «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла — одни из самых примечательных.

Не случайно темой симпозиума БИБ-83 был этот феномен популярности, но уже с точки зрения графической интерпретации книги.

Математик Оксфордского колледжа Ч. Доджсон во время лодочной прогулки сочинял и тут же рассказывал свою удивительную сказку маленькой девочке Алисе Лидделл и ее сестрам Лорине и Эдит. Девочке понравилась сказка, и она попросила ее записать — он так и сделал и даже сам ее проиллюстрировал, а потом и подарил своей любимице.

Тогда Доджсон еще не подозревал, что станет всемирно известным писателем Льюисом Кэрроллом, а тиражи его книг будут неисчислимыми. К 1965 г. (к 100-летию издания) книги были переведены более трехсот раз на сорок семь языков.

Первый иллюстратор «Алисы» Дж. Тэнниел представил ее светлоголовой романтической девочкой, придав черты своей прелестной маленькой подружки. В нашей стране издательство «Наука» воспроизвело эти иллюстрации с текстом последнего прижизненного издания Л. Кэрролла. В докладе искусствоведа из Франции Ж. Деспинетт было показано, сколь причудливы временные превращения образа самой героини и материального, вместе с тем фантастического мира, в который она попадает. Алиса — романтическая, голубоглазая, светловолосая — в добром мире красивых вещей; Алиса с прической андалузки; девочка со вздыбленными прямыми волосами и тревожным взглядом — в отчужденном мире, который напряжен и неспокоен — это послевоенная иллюстрация. И, наконец, Алиса в современном платье, с челкой и короткой стрижкой — среди реальных вещей. Это версия словацкого иллюстратора Д. Каллая в издании 1981 года, отмеченная высшей наградой биеннале 1983 года — «Гран-при». Свое решение автор объясняет так: «Я тоже рисовал Алису на основе живой модели, моей знакомой маленькой подружки. Я хотел бы подчеркнуть, что дети имеют собственный мир, собственное солнце, цветы, людей вокруг себя, мир игрушек и развлечений, детских тайн. Именно благодаря абсолютному пониманию богатства и сложности поэтики маленького человека Кэрролл смог навсегда стать другом детей».

Конечно, выставку лучше осматривать в то время, когда там нет публики. Но в 1985 году биеннале для осмотра была открыта с 9 до 21 часа: опыт прошлых лет подсказывал — только при таком режиме хозяева и гости Братиславы смогут ее осмотреть. Воспользовавшись двумя днями до открытия, я и потом с удовольствием заходила сюда, чтоб увидеть это особое зрелище —



Р. Инноченти (Италия). «Белая роза». Приз «Золотое яблоко»

выставку с публикой, своего рода действо. Вот молодой папа с сыном. Вначале очень экспрессивный мальчик буквально перебегает от щита к щиту. Встречаю их через час: сын уже на руках у отца, к концу осмотра мальчик «вырос» на целый папин рост: он сидит у него на плечах и уже не снизу вверх, а сверху вниз разглядывает картинку.

Вспоминаются слова члена жюри от Чехословакии Мирослава Кудрины: «...не только учитывать художественные аспекты, но принимать во внимание и ребенка как живую точку зрения,— каким образом он воспринимает работу. Это нелегкая задача жюри: выбрать иллюстрации, которые соответствовали бы художественным критериям и детскому восприятию».

К чести жюри (и на этот раз его председателем была искусствовед из Австрии Люция Биндер), наградами, по единодушному мнению гостей и зрителей биеннале, были отмечены работы высокого эстетического и смыслового звучания. Наш маленький Бранко—ему всего 5 лет—еще не смог бы по достоинству оценить иллюстрации Фредерика Клемана к книге «Мифологические животные», отмеченные «Гран-при», но уверена, года через 3—4 они наверняка смогут увлечь его. Кстати, здесь нельзя взять с витрины книгу—она надежно упрятана под

стеклом,— поэтому, если ты не знаешь сюжета, то должен суметь «прочитать» его по картинкам. «Клеман — поэт, и он открывает детям дорогу в поэзию. Фантастическое рождается в реальности», — скажет мне потом член жюри Жанин Деспинетт из Франции. Основанные на сюжетах некоторых древнегреческих мифов, сказки тем не менее весьма современны. Они как бы ставят вопрос: может ли человек нашего времени понять мифологических животных, попавших в будни сегодняшней жизни? Откуда здесь, на городской улице у парапета белогривый конь, привязанный под знаком «стоянка разрешена»? Но ведь всего на пять минут... И не потому ли мы пытаемся отыскать глазами того, кто оставил здесь животное? Лев на платформе вокзала рядом с дорожным чемоданчиком — их здесь кто-то забыл? Лев, как бы изваянный из камня, но и живой в то же время. Неужели это тот Немейский лев, с которым 30 дней сражался Геракл, которого нельзя было убить ни стрелой, ни мечом потому, что шкура его тверже камня? Но здесь он такой мирный. Лев не сливается с реальностью, он как бы сам по себе. Но реальность и не враждебна ему. Сказка... И что произойдет в следующую минуту?

Уже не метафорически, а языком суровой реальности говорит со своим зрителем Роберто Инноченти (Италия, «Золотое яблоко»).

Его серия «Белая роза» — грустный рассказ: в город, где дома, их крыши, камни мостовой сохранили следы прошлых десятилетий, вошли фашисты. И все в трагическом вихре струнулось с привычных мест: спешащие, растерянные беженцы в повозках, машинах, на велосипедах, с тележками, груженными узлами и чемоданами. Пришли фашисты, и больше нет покоя, нет мира.

На другом листе: маленькая, одинокая девочка в туманной дымке утреннего леса. И каким разительным контрастом просыпающейся природе выглядит колючая проволока, преградившая девочке путь. Юная героиня положила на нее белую розу. Справа фашист с автоматом, он пока не стреляет и даже не целится, но где уверенность, что в следующее мгновение он не нажмет на гашетку? Здесь все зыбко и ненадежно, все на грани жизни и ее возможного конца. Останется ли девочка жива? Может быть, этот цветок призван напомнить нам мысль великого писателя, что красота спасет мир. Красота цветка и красота поступка — ведь на следующем листе мы видим девочку возле еврейского гетто: во что попало одетым, униженным людям она протягивает через проволочное ограждение кусок хлеба — очевидно, то, что у нее осталось. Поделись последним, и ты станешь богатым... Здесь все вопиет против войны, и в наше тревожное время это звучит

А. Арон (Бразилия).
«Макаки меня грызут».
Почетный диплом



предостережением всем народам: люди, будьте бдительны, не допустите подобного сегодня.

С волнением подхожу к советской экспозиции. Каталог еще не дает представления о работах. Естественно здесь присутствие офортов Георгия Поплавского к «Слову о полку Игореве» — бессмертному памятнику исполнилось 800 лет. Призер БИБ 1975 года дальневосточный художник Геннадий Павлишин (автор иллюстраций к «Амурским сказкам») показывает акварели к книге писателя и краеведа В. Сысоева «Золотая Ригма»: высокие дымы над зимним таежным поселком, припорошенные снегом сосны и ели, огни в окнах домов — покой и гармония в прекрасном мире. Многие зрители внимательно рассматривают серию Геннадия Калиновского к «Путешествиям Гулливера» Д. Свифта, и это закономерно: мировая графика насчитывает сотни интерпретаций этой удивительной книги, — очевидно, художники и зрители хотят сравнить новые работы с предыдущими...

Лев Токмаков получил Золотую медаль за иллюстрации к книге О. Пройслера «Крабат». Опытный мастер создал особый сказочный мир, адресованный той «живой точке зрения», имя которой — ребенок. В рисунках много игры, фантазии, подтекста.

Легко узнаваемы выполненные темперой иллюстрации Александра Ивахненко к поэмам Тараса Шевченко. Они отмечены Почетным дипломом. На прошлой БИБ работы этого художника,

хотя и не были удостоены награды, тем не менее обратили на себя внимание. Не могу не процитировать Люцию Биндер: «Они напоминают старинные иконы,—этот стиль в графике художник использует великолепно». Полные драматизма и экспрессии, рисунки — достойная интерпретация шевченковской поэзии. Тепло украинского пейзажа, необыкновенная певучесть линии, осязаемость ароматов земли... Во всем этом не чувствуешь приема — настолько пластичен и естествен рисунок. Я смотрю на листы и думаю о том, что именно подобные работы с ярко выраженным национальным колоритом противостоят тому средневропейскому стандарту, который, увы, имеет место и на БИБ. Правда, он здесь не находит поддержки.

В жюри БИБ установлен неписанный принцип — его председатель Люция Биндер, имея по статуту два голоса, никогда не пользуется своим преимуществом. Она говорит: «Пусть все решается обсуждением. Ведь в конечном итоге важны не только награды, а то, что здесь мирно встречаются все нации. Но чем мы все-таки руководствуемся, выделяя какие-то работы?.. Когда иллюстраторы рисуют свою родину или другие страны, они хотят, чтобы и ребенок не просто видел мир вокруг себя, но видел бы красоту в природе, в людях. Они прививают любовь к нашей земле во имя того, чтобы сохранить ее и все прекрасное на ней. Сегодня это очень важно, так как современный ребенок видит много рекламы, кича, художественного брака. Биеннале учит отличать художественное произведение от халтуры, кроме того, она способствует установлению лучшего взаимопонимания между народами — а это главное, что могут дать взрослые юным».

Мне кажется, эта высокая миссия с честью выполняется биеннале иллюстраций.

...Когда Братислава осталась далеко внизу, а наш самолет уверенно пробивался через облака, мы с Орестом Георгиевичем Верейским и Анатолием Феодосьевичем Серебряковым, главным художником Госкомиздата СССР, продолжали говорить о биеннале: «Может быть, тут действуют какие-то неведомые силы, может, прав был Душан Ролл, когда сказал, что «награда БИБ — половинка Золотого яблока» — с подтекстом: человек увозит одну половинку, а вторая остается в Братиславе, но они стремятся во что бы то ни стало соединиться».

Валентина Спирианова

ХУДОЖНИК И ЛИТЕРАТУРА

Выставка в Подольске

Не совсем обычная выставка художников Москвы под девизом «Художник и литература» в Подольском выставочном зале дала возможность достаточно подробно познакомиться с творчеством каждого участника — экспозиция была построена как восемь маленьких персоналий. Станковая скульптура, станковая и книжная графика, медали, фотопортреты, разнообразные способы оформления книг с помощью фотографии выявляют не только возможность взаимодействия всех видов искусства, но и единую основу искусства как человековедения, как один из способов познания мира.

Экспозиция открывалась станковыми скульптурами Галины Александровны Федоровой. Излюбленный ее материал — шамот, позволяющий автору создать обобщенные монументальные решения («Греческий театр», «Демонстрация») или, детализируя форму, повышая роль портретной характеристики, дать напряженный психологический образ («Король Лир и Шут», «Пушкин на набережной»). Шамот дает возможность использовать цвет как компонент образной характеристики: то бесплотный, белый, как в фантазии на тему Данте, то земляной, тяжелый в трактовке образа короля Лира. Интересные решения в станковой скульптуре, которой автор занимается лишь последние пять лет, определяют направления поиска — стремление к выразительности объема, силуэта, своеобразная трактовка пространства, роль цвета.

Излюбленной формой работы Галины Федоровой, пожалуй, можно считать рельеф. Медали представлены были в нескольких вертикальных стеклянных витринах, что создавало особые возможности для восприятия. Автор демонстрировал зрителям широту диапазона своих работ: медали памятные, наградные, юбилейные, выполненные в технике литья, гравировки или штампа. Медаль — это памятник в миниатюре.

Строгостью компоновки и точностью обработки деталей отличается ее серия медалей с изображением памятников советским

*М. Верхоланцев.
Гамлет*



воинам-освободителям, павшим в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне.

Медали-персоналии передают многогранность психологической характеристики портретного образа, подчеркивая главное — мудрость Леонардо да Винчи, страстное напряжение в облике Михаила Врубеля. Обогащение основного образа медали достигается традиционным приемом взаимодействия аверса и реверса. Так, на реверсе медали, посвященной собирателю русских народных сказок Афанасьеву, мы видим изображение Полкана, героя русских сказок, в окружении растительного орнамента — традиционный прием русских народных росписей. Использование живописных начал органично для рельефа. Как разновидность скульптуры он приближается по своим возможностям к живописи.

Рельефы на темы «Маленьких трагедий» предваряются портретом А. С. Пушкина периода Болдинской осени. А. С. Пушкин изображен в момент работы, за столом. Характер пластики, блики металла передают напряжение творчества, тогда как правая часть композиции строится на четких, почти графических объемах, что соответствует самому характеру творческих прин-

М. Верхованцев.
Экслибрис
Д. А. Зубова



ципов поэта — просветленной выверенности, гармоничности того, что ложится на бумагу, обретает свою жизнь. Глубокая проработка исторического материала, изучение личности портретируемого создают своеобразие позиции скульптора: как бы исчезает личностное начало в трактовке образа, главным становится сам герой, само событие, вступающее в общение со зрителем.

Принцип работы Марии Александровны Кузнецовой диктует непосредственную связь с натурой. Излюбленный материал автора пластилин, хранящий прикосновение руки скульптора, что сообщает уже законченным работам особенную трепетность формы. Экспозиция свидетельствует о цельности творческих и жизненных принципов художника. На протяжении многих лет, начиная с конца 40-х годов, главным для М. А. Кузнецовой был образ женщины-труженицы — свидетельство исторических перемен в жизни нашего народа («Шахтерка с лампой», «Первая колхозница»). Обобщенность, типизация — одна из линий творчества А. М. Кузнецовой. Более характерна для ее работ фиксация конкретного состояния, где превалирует лирическое начало в

М. Верхоланцев.
Экслибрис
А. С. Зуева

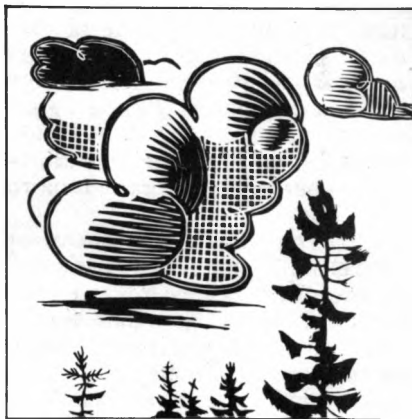
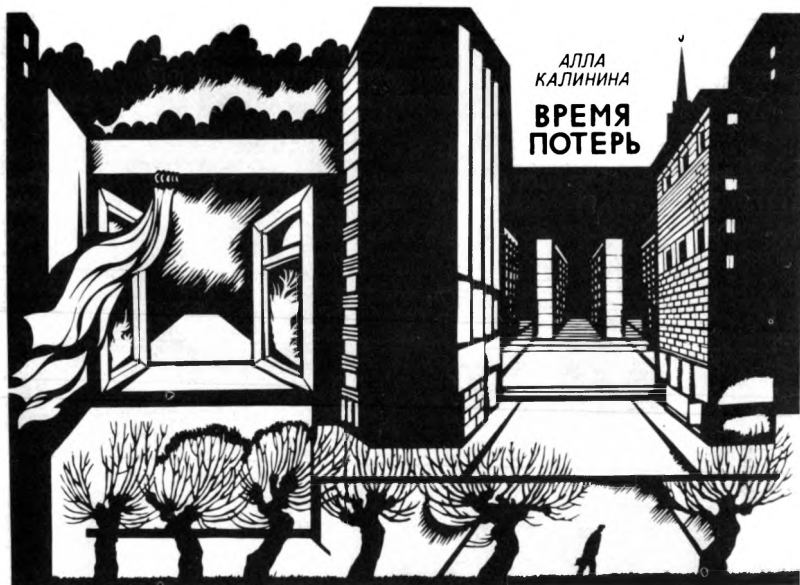


трактовке персонажей. Так воспринимаются некоторые женские портреты, работы анималистического жанра.

В разделе графики представлены работы нескольких авторов. Зритель смог познакомиться с самыми различными техниками этого вида искусства: ксилографией, силуэтом, линогравюрой, акварелью, пастелью, рисунком карандашом, офортом. Большинство работ связано с оформлением книги.

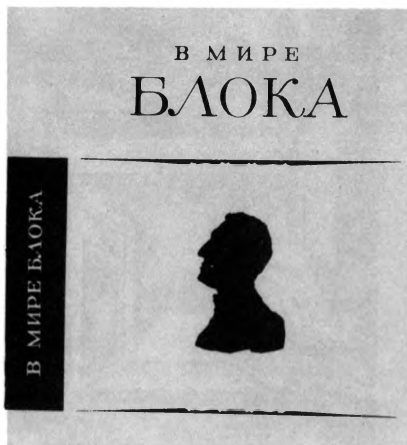
В экспозиции Михаила Михайловича Верхоланцева больше 60 листов — станковая графика, экслибрис, иллюстрации к трагедии Шекспира «Гамлет», инициалы, сделанные по заказу издательства «Мир». Лишь две работы выполнены в технике обрезной гравюры, остальные — в технике торцовой гравюры, которой автор владеет виртуозно.

В работах Верхоланцева можно выделить до трех оттенков серого. Гравюры необычайно красивы «в цвете», если можно так сказать. Рисунок отличается классической строгостью. Это впечатление не нарушается даже тогда, когда форма намеренно «рвется» для выявления трактовки замысла.



И. Бабаянц. Обложка книги А. Калининой

Д. Мухин. Иллюстрации к книге стихов В. Василенко «Облака»



*М. Лохманова. Супербложка к книге
«В мире Блока»*

*Иллюстрация к книге
П. Загребельного «Роксолана»*

Ориентируясь на классические образцы позднего Возрождения, Михаил Верхоланцев активно использует язык, свойственный этому периоду развития искусства — аллегорию и символ, ибо каждая реальная сцена в его работах дает толчок ассоциативному мышлению. Темой одного из экслибрисов, например, стала охота на кабана. Известно, что подобная композиция была изображена на визитной карточке полководца Суворова, который истолковывал ее как аллегорию житейских битв и военных баталий.

Бесспорной удачей автора можно считать иллюстрации к трагедии Шекспира «Гамлет». Издание представляет собой соединение английского текста трагедии и нескольких переводов ее на русский язык. Каждый текст предваряется шмуцтитолом. Цикл иллюстраций собирает воедино весь организм книги. Автор включает в изображение часть театральной сцены и элемент декорации; обыгрывается один из любимых приемов Шекспира — театр в театре («Актеры»). Тонко использован прием стилизации, передающий характер времени. В контрасте с ним «кричат» о себе человеческие качества — достоинства и пороки, над которыми время, кажется, не властно.

Редкую технику силуэта (вырезывание по черной бумаге) использует художник Игорь Бабаянц. В технике силуэта он начал работать с 1975 года. На выставке представлены 26 листов — станковая графика, иллюстрации. По бумаге художник режет резцом, как по дереву, что дает возможность передавать объем, пространство и даже освещение. Техника силуэта требует обобщенного, символического решения образа, далекого от переказа. Ей подвластен пейзаж, портрет, натюрморт, жанровые композиции. Отбор деталей продиктован самим материалом. Художник стремится передать пространственный план, объем, создать ощущение полутона, хотя перед нами всего лишь силуэт, вырезанный из черной бумаги и положенный на белую. Иногда используется метод последовательного наложения на фон двух изображений, вырезанных из черной и серой бумаги. Приемы, которыми пользуется художник, дают возможность создавать интересные решения в станковой и книжной графике. Начало работы в этой технике связано с созданием станковых композиций — «Натюрморт», «Автопортрет», «Мать». Соединяя типизированный портрет и изображение дерева в композиции «Мать» (морщинистое лицо старой женщины, ветки дерева с облетевшей листвой), художник дает зрителю ощущение вечной смены и единства всего живого на земле.

Взаимодействие станковой и книжной графики характерно для экспозиции Дмитрия Мухина и Маргариты Лохмановой, чьи работы — пример комплексного оформления книги.

Акварели Дмитрия Мухина — результат живого наблюдения природы, когда художник ставит перед собой обычные задачи: работа с цветом, передача состояния, настроения. Есть листы, выполненные в иных техниках: пастель, рисунок цветными карандашами... Может измениться задача, но почти неизменным остается интерес автора к цвету. В книжных иллюстрациях натурные зарисовки становятся частью текста, активно взаимодействуют с полем листа, характером шрифта, вливаются в организм книги.

Станковые листы Маргариты Лохмановой выполнены в технике рисунка карандашом или офорта. Обе техники находят применение в работе над оформлением книги. Мягкость проработки формы, переходы освещения, доступные карандашному рисунку, отличают иллюстрации к книге лирики декабристов «Высокое стремление», тогда как в офортах линия становится более жесткой и определенной («Казахстан. Ущелье Алмарасан», «Телецкое озеро. Алтай», «Сосна. Хабаровский край»).

Своеобразно используется фотография при оформлении книг в творчестве Николая Лаврентьева и Варвары Родченко. В экспозиции представлены их совместные работы, и все-таки



Н. Лаврентьев, В. Родченко. Иллюстрации к книге П. Железнова «Максим Горький. Владимир Маяковский. Поэмы-воспоминания»

стоит сказать о различии художественных почерков. Николай Лаврентьев — автор фотопортретов многих известных писателей, и нет необходимости доказывать тот документальный интерес, который представляют его работы. Съемки ведутся или дома, в процессе неторопливой беседы, или во время публичного выступления, когда человек «позировает» на огромную аудиторию. Так были созданы портреты Н. Асеева, С. Кирсанова, А. Твардовского, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, М. Светлова.

Излюбленный прием оформления книг Варвары Родченко — фотограмма, фотография без фотоаппарата. Фотограмма — изображение, оставшееся от засвечивания предметов, положенных на фотобумагу. Возникает светлое изображение, как бы рентгеновский снимок.

Как видим, различные виды искусства живут в активном взаимодействии. Индивидуальные склонности художника прояв-



ляются в выборе темы произведения, техники или материала для воплощения замысла. Меняется язык искусства, но неизменным остается само чудо искусства, его гуманистическая направленность.

Юрий Молок

БИБЛИОФИЛ И СОВРЕМЕННАЯ КНИГА

Заметки с выставки

Современного художника книги в среде библиофилов встретишь не часто. Он здесь, если не чужой, то все равно не свой. И это понятно. Библиофил как бы живет в другом историческом пространстве: первое издание, первый иллюстратор для него, как первая любовь, а старая книга — вроде старого дома, «знакомого до слез».

Это не значит, что вкусы библиофила неизменны, но отставание на два шага — шаг — полшага от современности для него в порядке вещей. Современному изданию «Медного всадника» с современными иллюстрациями он предпочтет книгу с рисунками Александра Бенуа, хотя в свое время его предшественники из «Кружка любителей изящных изданий», как известно, их отвергли. Рядом со строгими сабашниковскими изданиями или стильными томиками «Academia» современные иллюстрированные книги ему вряд ли придутся по душе. На его вкус в них все не то и все не так.

Примерно такой традиционный тип библиофила, даже не тип, а литературный образ, сложился не сегодня. Как этакий чудаковатый носитель всего старого, отжившего, он нередко бывал объектом сатиры. Теперь в нем все больше ценят историка, библиографа, знатока, некоего хранителя книжной памяти, но свою долю консерватизма он сохраняет и сегодня.

Были времена, когда пути библиофила и современного художника пересекались чаще, особенно, когда последний сам был не лишен склонности к старой книге. Не будем трогать тени мастеров «Мира искусства», книжность была их девизом, но и в 20-е и в 30-е годы библиофилы и художники не были так разъединены, как позднее. Памятки и билеты Русского общества друзей книги нередко оформляли студенты ВХУТЕМАСа, ученики В. А. Фаворского и Н. И. Пискарева, а под обложкой одного и того же номера журнала «Гравюра и книга» можно было встретить и статью К. С. Петрова-Водкина «Проблема компози-

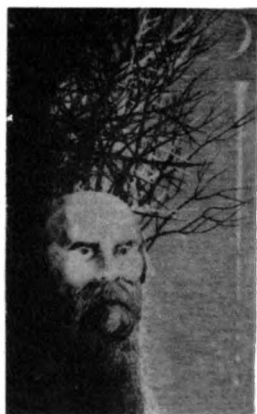


Г. Басыров. Иллюстрация к рассказам А. Кима

ции рисунка», и заметки неутомимого библиофила и знатока графики П. Д. Эттингера.

Потом эти связи распались. Изменился, а точнее — стерся, самый образ библиофила, потеряв свой выразительный, может быть, несколько эстетизированный облик книжника 20-х годов. Другими стали и художник-график, и сама книжная графика, утратившая ориентацию на вкусы отдельного любителя книги, да и саму книжность.

Все это времена теперь уже давние. Последние два-три десятилетия художники резко повернулись снова к книге. Появились и новые собиратели. По традиции предпочитаемая оставаться в кругу устоявшихся репутаций, они сегодня ищут уже не только книги с иллюстрациями Бенуа, но и Фаворского и даже Эль Лисицкого, однако современного художника они, как правило, что называется, «в упор не видят» (не считая несколько примелькавшихся в кругу книжников имен, по большей части экслибристов средней руки). И хотя выставки современных московских



А. Висти. Иллюстрации к сборнику «Поэты есенинской поры»

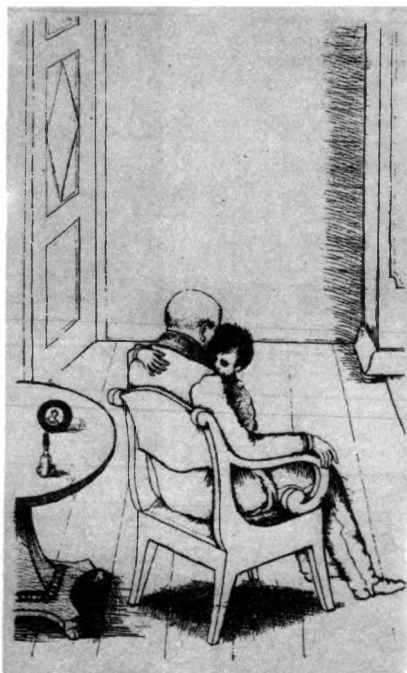
художников книги уже многие годы располагаются в самом центре Москвы, на Кузнецком мосту, буквально в двух шагах от одного из старейших клубов книголюбов ЦДРИ на Пушечной улице, пространство между ними продолжает оставаться мертвой зоной.

* * *

Впрочем, начинались московские книжные выставки не на Кузнецком. Первая выставка открылась весной 1948 года в Армянском переулке, в выставочных залах «Дома Армении», а потом перекочевала на улицу Горького, 48, ближе к Белорусскому вокзалу, где прошли вторая-третья-четвертая выставки и только с пятой, устроенной летом 1955 года, московская книжная графика поселилась на Кузнецком мосту, сначала в залах дома 20, а потом спустилась в дом 11, где когда-то располагалось знаменитое кафе «Питtoresк», а теперь—выставочные залы Дома художника.

В Москве проходит много разного рода художественных выставок, некоторые из них традиционные—осенняя, весенняя,—но, кажется, никакой другой вид искусства не имеет за собой такой устойчивой и давней традиции, как «орден» книжных графиков. В его цеховой замкнутости нетрудно распознать желание сохранить свое место в семье других искусств, где книжные графики издавна числились пасынками. «Однажды, еще до войны,—вспоминал В. А. Фаворский,—я встретил на

А. Костин. Иллюстрация к трилогии
Л. Н. Толстого «Детство.
Отрочество. Юность»

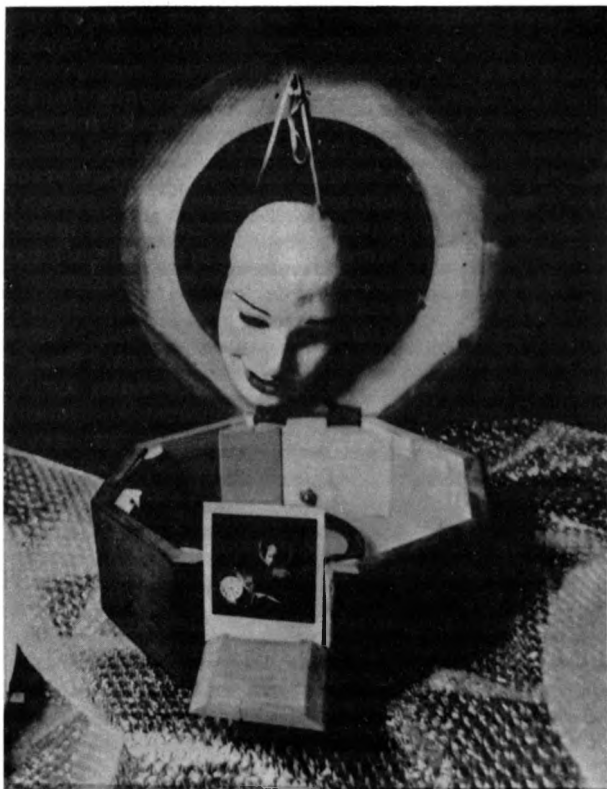


улице знакомого художника. Он спросил меня, что я подделываю. „Заканчиваю иллюстрации к книге...“—сказал я. „Ну а я занимаюсь искусством“». «Иллюстрации к книге» и «искусство» для многих и сегодня противоположные понятия. Один из инициаторов книжных выставок художник Е. И. Коган рассказывал мне, что «первая выставка была устроена, чтобы доказать равноправие искусства книги...».

На первой выставке участвовало всего 35 художников, их имена еще могли уместиться на пригласительном билете. Среди них такие знакомые и такие разные мастера, как В. А. Фаворский и Д. И. Митрохин, И. Ф. Рерберг и А. М. Родченко, С. Б. Телингатер и И. И. Фомина. Последняя, 16-я выставка, устроенная в начале 1986 года, собрала 284 участника.

За многие годы не раз менялся состав и характер этих выставок, не одно поколение художников-графиков прошло через них. Можно сказать, что эти выставки так или иначе отразили все книжные бури своего времени. Вначале это были строго книжные выставки, где экспонировались главным образом ориги-

А. Лаврентьев,
И. Преснецова.
Иллюстрация
к книге
Ю. Минералова
«Поэзия, поэтика,
поэт».
Фотография

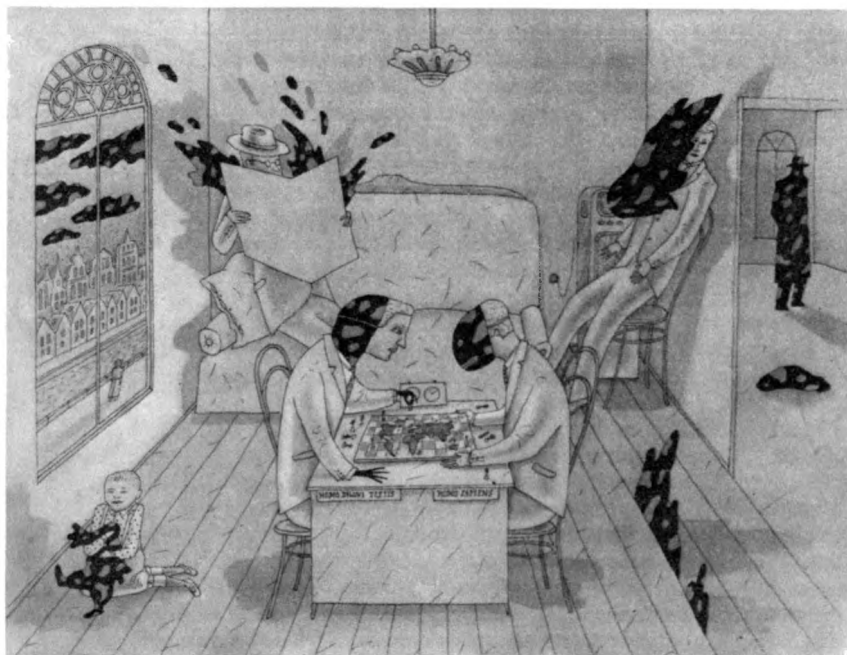


налы переплетов, обложек, титульных листов. Серии иллюстраций демонстрировались в то время, как правило, на других, больших графических выставках. Потом книжные выставки остро зафиксировали тот перелом, который произошел в сторону единства рисунка и оформления. Это случилось уже на 6-й выставке (1957). Наряду с теми мастерами, которые всегда придерживались такого единства, как Н. В. Кузьмин, С. М. Пожарский или А. Д. Гончаров, впервые выступили молодые тогда М. П. Клячко, Б. А. Маркевич, Д. С. Бисти — художники поколения, с которым в книжную графику ворвался воздух новых графических идей, нового интереса к материалу и к его условностям. Повествовательную графику стали теснить лаконизм, символика, гротеск. Изменила свой облик и книга, а свое лицо — графика в книге. Легкий перовой рисунок оттеснил медленное



В. Медведев. Иллюстрация к «Переводам китайской поэзии» Л. Эйдлина

карандашное рисование, в гравюрных техниках место литографии снова заняла ксилография, а потом офорт с его способностью к зыбкой и мерцающей игре изображения. Не текст, а подтекст литературного произведения, не отчетливые образы его, а «непроявленность» ассоциаций стали увлекать художников. В иллюстрациях такого плана изобразительность, собственно иллюстративность, была сведена до минимума. Писатель и художник шли каждый своей дорогой, как бы приглашая зрителя соединить их в своем восприятии. И это был один из возможных и очень современных путей иллюстрирования. Какой-то стороной он импонировал зрителю своей «необязательностью», отзывчивостью к нашим читательским ассоциациям, прельщал легкостью и свободой графики. Такое вольное толкование иногда скользило по касательной к тексту, но нередко открывало в нем новые смыслы. Сделанные не по заказу, не для книги, а по какой-то своей внутренней потребности, такие работы острее обнаруживали круг чтения современного художника, а за ним и читателя. Перелистывая сегодня каталоги книжных выставок, можно проследить,



Л. Тишков. Иллюстрация к книге К. Чапека «Война с саламандрами»

кого охотнее и предпочтительнее читали. Так, в 60-е годы возникла новая волна интереса к прозе Зощенко, Олеши, Тынянова, потом произошло открытие Кафки и Булгакова, потом опять возвращение к Гоголю, Достоевскому. На 10-й выставке, устроенной в 1973 году в год 150-летия со дня рождения Достоевского, иллюстраций на темы его произведений оказалось столь много, что им был отведен специальный зал в московской экспозиции. Иллюстрации разных художников к одному и тому же писателю, а иногда к одному и тому же произведению указывали на возможность различных подходов, толкований, прочтений. Среди них особенно выделялись тончайшие офорты Юлия Перевезенцева к «Белым ночам», где художник говорил на языке графических метафор

Немногое из такой графики нашло себе место в книге, скорее ее можно было увидеть на выставке. Определенную часть едва ли не на каждой выставке занимали работы, которые в каталогах были не совсем точно обозначены как неизданные. На самом

деле они и не были предназначены к печати, рассчитаны не на читателя, а на зрителя. Может быть, поэтому они прошли мимо внимания библиофилов, привыкших ценить графику, держа книгу в руках, а не рассматривая ее на стенах.

Выставки устанавливали и другие координаты. При разделении экспозиции на два ряда—сами издания и графические оригиналы к ним—обычно выигрывали последние. То ли мы еще так и не научились экспонировать книгу как предмет, то ли сказывается наша привычка видеть на выставках графику под стеклом, в паспарту, но так или иначе, непосредственное общение с оригиналами, пусть и «вынутыми» из книги, доставляет зрителям особое наслаждение, если перед ними образцы подлинного графического мастерства. Не только мягкие, будто музыкальные тона акварели в картинках для детей Мая Митурича, Виктора Дувидова или Евгения Монина, но и монументальность черно-белых гравюр Татьяны Толстой, пожалуй, больше оценишь в оригиналах или в ручных авторских оттисках, чем в книге. Современная полиграфия предоставила художнику возможность видеть свое искусство размноженным в тысячах экземпляров, но вместе с тем и в большей мере ограничила его. Не случайно и на 8-ю, и на 9-ю, и на 10-ю выставки старейший московский гравёр М. И. Поляков неизменно представлял целую серию своих маленьких самодельных книжечек французских средневековых поэтов, книжечек, в которых текст был написан, а гравюры раскрашены рукой самого художника. Они как бы напомнили нам о красоте старинной рукописной книги, когда она целиком была произведением рук художника.

Разлад между работой художника для книги и печатной формой долго казался чем-то неизбежным, пока новое поколение художников-оформителей, иногда их называют дизайнерами или конструкторами книги, не раскрыло новые возможности самой книжной формы. Это уже хорошо известные теперь имена М. Г. Жукова, М. А. Аникста, А. Т. Троянкера, А. Б. Коноплева, впервые выступивших на 10-й книжной выставке. Они экспонировали не графику для книги, а сами книги или уже отпечатанные в тираже чистые листы, которые оставалось только сброшюровать. Они и оперируют главным образом печатным материалом, фотографией, наборными шрифтами. Основная сфера деятельности этих художников не иллюстрированная книга, а издания по искусству, которые в последние годы тоже стали предметом собирательства.

* * *

Таков краткий экскурс в не написанную еще историю московской книжной графики, которая прописалась на Кузнец-

ком мосту, как Театр на Таганке или другой драматический театр — на Малой Бронной.

Последняя, 16-я выставка, некоторые экспонаты которой воспроизведены на страницах настоящего выпуска «Альманаха библиофила», — очередная, ее отделяют от предыдущей всего два года, но это не помешало ей обнаружить нечто новое в исканиях художников книги. Свою роль в этом сыграла и сама экспозиция выставки. Знакомые залы на Кузнецком, не очень приспособленные к демонстрации графики и книги, залы с довольно скудным освещением и еще более скудным оборудованием, словно раздвинули свои стены, так умело были расставлены щиты и витрины. В центральном зале, наряду с прекрасными акварелями Т. А. Мавриной, которую Май Митурич на обсуждении выставки назвал «самым молодым ее участником», заняли место работы художников, которые обычно экспонировались в соседних, малых залах. В этом сказался традиционный демократизм московских книжных выставок, где рядом с признанными мастерами могли всегда принять участие и молодые, еще никому неизвестные художники. Установка не на имена, а на работы на этот раз была проведена с большей, чем обычно, последовательностью. Впрочем, А. Белокин, сказавший на обсуждении выставки, что «место в партере было уступлено молодым», был не совсем прав. Наряду с работами молодых Лидии Шульгиной и Вадима Иванюка, Андрея Маркевича и Александра Райхштейна, Натальи и Андрея Бисти, Валерия Васильева и Натальи Тихоновой, в партере и на бельэтаже были работы художников и первого, и второго эшелона, уже известных по предыдущим выставкам, но особенно удачно выступивших именно на этой, шестнадцатой. Иллюстрации А. Л. Костина к «Детству. Отрочеству. Юности» Л. Н. Толстого, И. Г. Макаревича к «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея, Г. Ф. Басырова к рассказам А. Кима, С. А. Алимова к русским фантастическим повестям, М. П. Клячко к «Прощанию с Матерью» В. Распутина, С. М. Бархина к «Коварству и любви» Ф. Шиллера, Г. М. Берштейна к стихам Г. Аполлинера, Л. А. Тишкова к «Войне с саламандрами» К. Чапека. Да всего не перечислишь.

Среди этих примеров, да и помимо них, на выставке немало фигурировало графики, которую культивирует теперь издательство «Книга» в своих миниатюрных и малоформатных изданиях, удовлетворяющих вкусам особого рода собирателей. Скованные форматом художники сумели, однако, извлечь из него свои достоинства. Продиктованный форматом, масштаб иллюстраций совпал с масштабом взаимоотношений этих художников с литературой. Многодельная мелкая графика, как будто нарочно исполненная не очень всерьез, и открытая театральность пред-



Т. Толстая. Иллюстрация к пьесам Б. Брехта

ставления, герои как персонажи действия, и само действие как ряд сменяющихся на глазах зрителя не сцен, а, скорее, мизансцен, в которых участвуют не только авторский текст, но и «текст» художника в прямом смысле этого слова. Графической партитурой спектакля выглядят театрализованные эскизы Сергея Бархина к драме Шиллера. Художник выступает здесь в роли режиссера-постановщика, оставляя на рисунках свои словесные рабочие пометки относительно места действия: «окно», «дверь», делая наставления костюмерам: «батист», «лампасное сукно», перенося в иллюстрацию текст авторских ремарок как прямые указания актерам и как пояснения для нас, зрителей: «За столом сидит жена Миллера в капоте и пьет кофе» или «Миллер в бешенстве бросается к виолончели». Художник то уводит нас за кулисы в бутафорский цех или костюмерную, где шьется будущий спектакль, то усаживает нас в зрительном зале. Словно в перевернутый бинокль зритель смотрит на маленькие, почти стаффажные, как на старых гравюрах, фигурки, попадая в некий условный мир, живущий по особым правилам игры. Мы бы назвали такой способ иллюстрирования — домашним, или — кукольным театром литературы.

Эта графика, носящая привкус старой театральной гравюры и одновременно современной сценографии, пришла в книгу не сегодня. Она проглядывала уже и на предыдущих выставках, в последней работе С. М. Пожарского к «Драматическим произведениям» Козьмы Пруткова, и в рисунках Михаила Аникста и Аркадия Троянкера для книги «В стране литературных героев». Поэзия документа едва ли не впервые убедительно прозвучала еще у Николая Попова, иллюстрировавшего «Приключения Робинзона Крузо» как его дневник пребывания на необитаемом острове. Определенную роль здесь сыграли и сборники пьес издательства «Искусство», где начали иллюстрировать драматургию. Теперь такое иллюстрирование перекинулось на прозу и не только в миниатюрных изданиях.

Своя сценичность есть и в серьезных рисунках Андрея Костина к повести Л. Толстого, где действие, отодвинутое куда-то в глубь дома, мы видим как бы глазами мальчишки, постигающего взрослый мир шаг за шагом, через порог открытых и полуоткрытых дверей. Но это еще вне стихии игры, увлекшей сегодня многих. Серия офортов Игоря Макаревича открывается портретом Теккерея, играющего своими персонажами как марионетками. «Дело м-с Бардл против Пиквика С.» разыграно Сергеем Коваленковым в одно и то же время как лист из судебного дела, как галерея портретов судейских и как сцена зала суда. Прямо на ночные улицы старой Москвы выносит Сергей Алимов сцены из русских фантастических повестей. Иллюстрация как бы меняет самый жанр литературного произведения. Нечто подобное происходит в булгаковском «Театральном романе». Помните: «Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе... Ночи три я провозился, играя с первой картинкой, и к концу этой ночи понял, что сочиняю пьесу».

Современный художник тоже «сочиняет пьесу», но не всегда стремится к трехмерности картинка. Такой путь иллюстрации не заказан, но здесь не все бесспорно и не все удачно. Сама по себе театральность не всегда выручает художника, даже если перед ним не роман, а пьеса. В других случаях графический комментарий очень уж уводит нас от действия романа к реалиям истории его создания, от героев к автору. Роман или пьеса иллюстрируется, скорее, как историко-литературное исследование, посвященное данному произведению: художник берет на себя функции историка, сценариста, постановщика. Режиссерский кинематограф в такой книге оттесняет актеров, играющих по правилам традици-

онного театра перевоплощения. Впрочем, указанный путь иллюстрирования далеко не единственный, он существует рядом с другими, составляя лишь малую часть той многофигурной композиции, которую экспонировала последняя выставка московской книжной графики.

Но, так или иначе, сегодня возникает некая новая книжность, которая нуждается и в своем зрителе и в своем собирателе (не только из числа любителей малоформатных изданий). От Пушечной до Кузнецкого, право, совсем не далеко. Два шага — шаг — полшага.

Человеческая жизнь без книг
не имела бы права именоваться жизнью.

Н. П. СМЕРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ

Георгий Шенгели

ОТРЫВОК

Хорошие книжки читал я когда-то
В вечерней читальне, ныряя в туман:
Плыла Илайали на бриге пирата,
И с мудрым Улиссом беседовал Глан.

А в окнах старинное море стояло,
И парус латинский над ним золотел,
Крылами фламинго заря трепетала,
И воздух оливковой радугой млеп.

Хорошие книжки читал я когда-то
В вечерней мечтальне, в забытом порту,
А в ясные окна гора Митридата
Дорическим храмом пьянила мечту.

И глупое сердце под форменной блузой
Уже понимало, роняя удар,
Что буйство и мудрость равны перед Музой,
Что храм величавый — врезаясь в пожар!

Дача
Музыка



Книга—живое существо. Она в памяти—
полном рассудке: картины и сцены—это то, что она
вынесла из прошлого, запомнила и не согласна
забывать.

Б. ПАСТЕРНАК

«ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТРОЙ ЕГО ДУШИ»

К биографии Н. А. Заболоцкого

I

В Уржумском уезде Вятской губернии на высоком берегу реки Вятки стояла когда-то живописная деревня Красная Гора. Неподалеку виднелись остатки городища, возведенного в старые времена ушкуйниками — не то дружинниками, не то разбойниками, снаряжавшимися в XIV—XV веках новгородскими боярами и купцами для захвата торговых владений к северу и востоку от центральных русских княжеств. На больших плоскодонных ладьях — ушкуях плавали они по Волге, Каме, Вятке, грабили прибрежные поселения, смело вступая в бой с местными ополчениями и с отрядами татар. После потери Новгородом самостоятельности набеги ушкуйников постепенно прекратились, а сами они частично осели на освоенных ими землях. Возможно, и в Красной Горе жили потомки этих своевольных посланцев Новгородской земли.

Здесь в 1830 году в семье крестьянина Якова родился дед поэта Николая Алексеевича Заболоцкого — Агафон Яковлевич Заболотский*. Агафон смолоду попал в солдаты и за двадцатипятилетнюю николаевскую службу от крестьянства отбился. Военную повинность он отбывал неподалеку от родных мест и во время Крымской кампании оказался в уездном городе Уржуме. В 1855 году он повел местное народное ополчение на выручку осажденного Севастополя. Однако путь был слишком длинен, и дружина смогла добраться лишь до Курска, когда Севастополь был уже взят противником. Ополчение вернули домой.

Агафон закончил службу в Уржуме унтер-офицером местной военной команды. Выйдя в отставку, он записался в мещане, обзавелся собственным домом и стал служить лесным объездчиком. Уржум был небольшим городком, расположенным на холмистом берегу реки Уржумки. Со всех сторон подступали к нему

* В 20-х годах Николай Алексеевич изменил написание своей фамилии и стал произносить ее с ударением на втором «о». Так же стали писать и произносить фамилию брат и сестры поэта.

леса, так что с любой его улицы можно было видеть лесную опушку или полосу леса на горизонте. И до наших дней сохранились названия этих лесов: к северу от города — Солдатский лес, к северо-западу — Котелковский, за Уржумкой — Белореченский, к юго-западу — Берсенский, к западу — Зоновский.

Агафон Яковлевич был достойным потомком старинных ушкуйников — высокого роста, широкоплечий, он отличался большой физической силой, которую любил показывать, легко сгибая медные екатерининские пятаки. В семье вспоминали, как во время зимней переправы через реку Вятку дед Агафон чуть ли не за хвост вытащил из полыньи провалившуюся под лед лошадь. В характере Агафона жесткость и властность сочетались с простодушием и доверчивостью. Физическая сила и природный ум помогли ему, по крестьянским понятиям, выбиться в люди и стать «хозяином». Жену свою, Анну Ивановну, тихую, безропотную женщину, он держал в черном теле. На семейной фотографии рядом с бравым солдатом она выглядела слабым, смиренным существом.

Двух уже взрослых дочерей Агафон посылал на пристань торговать пирогами, не считаясь с тем, что они окончили прогимназию и одна из них работала учительницей начальных классов. Старшего сына Алексея устроил учиться на казенную стипендию в Казанское сельскохозяйственное училище. Другой сын, Гавриил, был «непутевым» — работал сплавщиком, бурлаком, потом бродяжничал.

Умер Агафон Яковлевич от апоплексического удара в возрасте 57 лет еще вполне крепким человеком. Николай Алексеевич не застал в живых своего деда, но жену его, свою бабу, надолго пережившую мужа, хорошо помнил как тихую добрую старушку.

Отец поэта, Алексей Агафонович, родился в 1864 году в Уржуме. Окончив Казанское сельскохозяйственное училище, он получил звание агронома и стал первым образованным человеком в длинном ряду крестьян — предков Николая Заболоцкого. В конце 1880 — начале 1890-х годов в России значительно оживилась деятельность местных хозяйственных органов — земств. В земских собраниях и управах все большую роль стала играть разночинная интеллигенция — врачи, учителя, агрономы, расширился круг вопросов, которые могли решать губернские и уездные земства. Предметом особой их заботы было отсталое сельское хозяйство тогдашней России. Чтобы оживить земледелие и животноводство, устраивались опытно-показательные станции (фермы) и сельскохозяйственные выставки, где демонстрировались новые земледельческие машины и орудия, продуктивные сорта растений, новые породы скота, удобрения, научные способы

МЕДАЛИ РАБОТЫ ГАЛИНЫ ФЕДОРОВОЙ



А. С. Пушкин



Леонардо да Винчи



Джордж Байрон



Франческо Петрарка



Х. К. Андерсен



Реверс медали Х. К. Андерсена

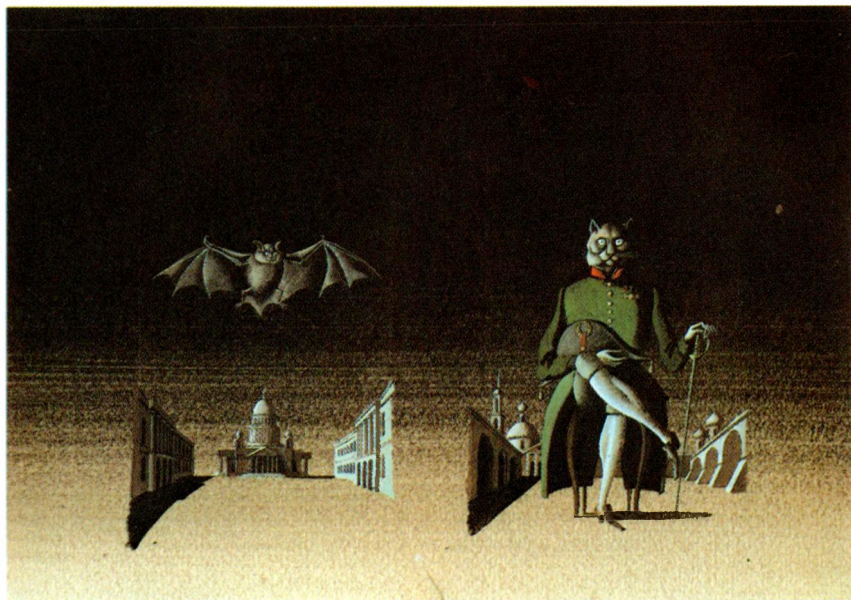


Н. К. Перих

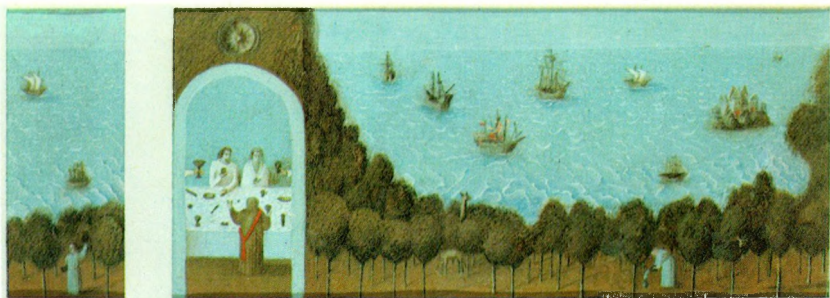


Доменико Гирлендайе



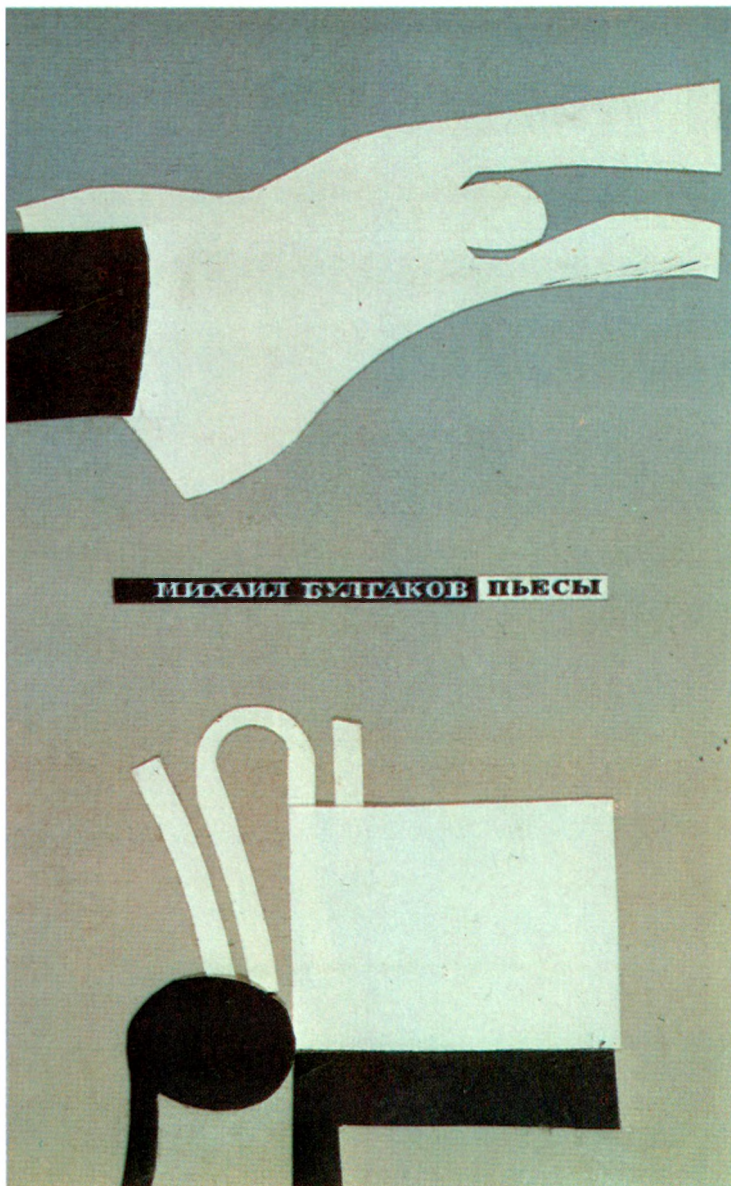


С. Алимов. Иллюстрации к книге «Фантастическая русская повесть XIX в.». М., 1984



Ю. Гукова. Иллюстрация к книге У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 1984





Б. Маркевич. Обложка «Пьес» М. Булгакова. 1985



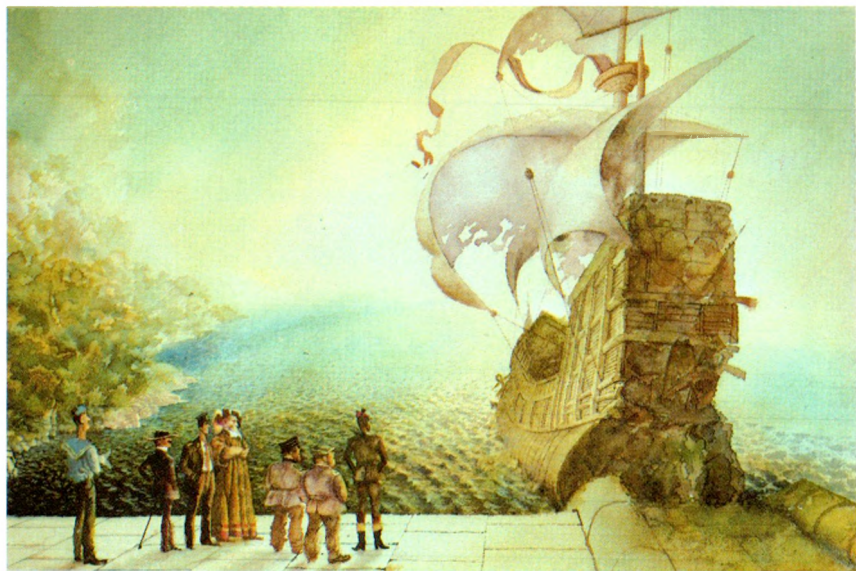
М. Митурич-Хлебников. Обложка книги Р. Киплинга «Кошка, гулявшая сама по себе». М., 1983



Н. Гольц, Е. Ганнушкин. Обложка книги «Всему свое время». М., 1984



Н. Попов. Иллюстрация к книге «Бразильские мифы и легенды». М., 1985



*Г. Калиновский. Иллюстрация к книге С. Прокофьевой «Остров капитанов».
1984*



Н. Висти. Иллюстрация к книге А. Могилевича «Откуда пришло утро». М., 1985



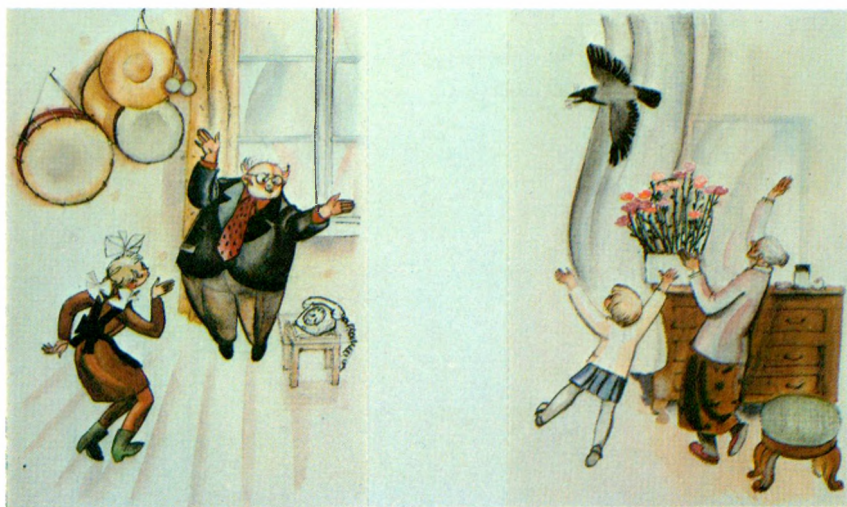
М. Ромадин. Иллюстрации к книге «Живой огонь». М., 1985



В. Гошко. Иллюстрация к книге «Фольклор русских цыган». 1985



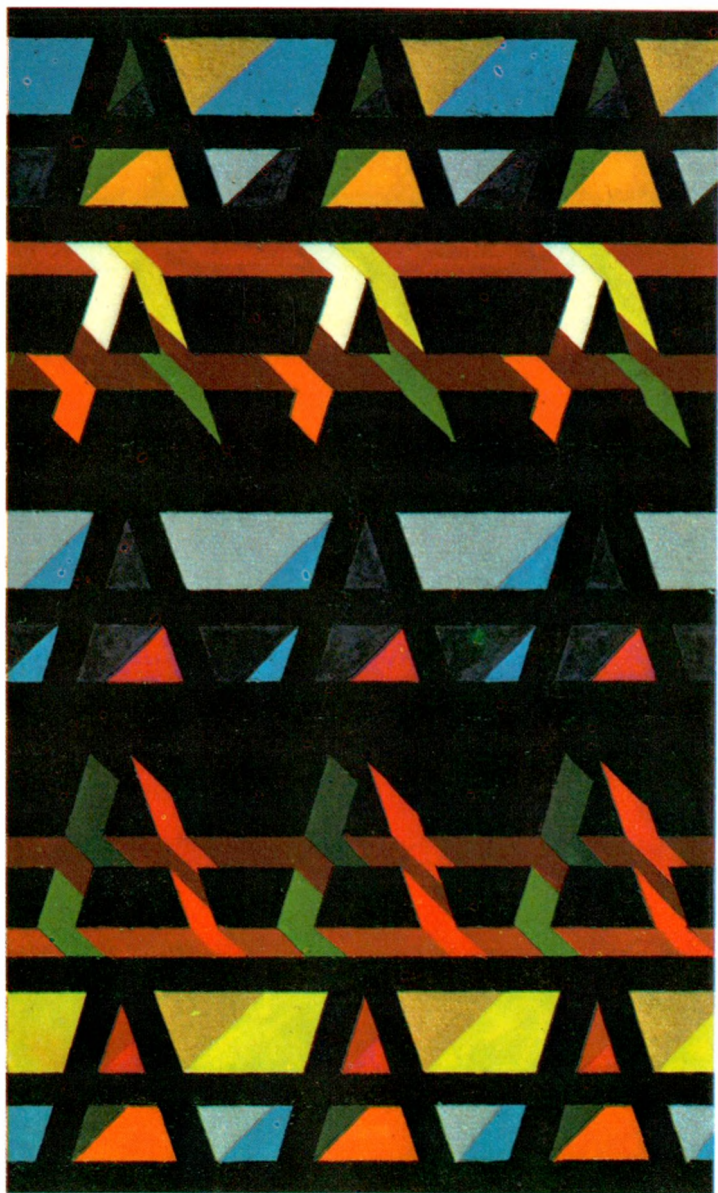
Н. Устинов. Иллюстрация к книге К. Ушинского «Четыре желания». М., 1984



Ф. Лемкуль. Иллюстрация к книге «Обыкновенное чудо». М., 1984



Б. Алимов. Иллюстрация к «Собранию сочинений» И. А. Крылова. М., 1984



А. Ганнушкин. Шрифтовая композиция

борьбы с сорняками и вредителями полей и лугов. Делались попытки заинтересовать этими новшествами крестьян. Возникла необходимость в знающих свое дело агрономах, которые к тому же хорошо были знакомы с крестьянскими хозяйствами и умели находить общий язык с земледельцами. Таким агрономом и был Алексей Агафонович Заболотский, который сразу после окончания училища стал работать на одной из показательных земских ферм в окрестностях Казани. Человек твердый и обстоятельный, к службе он относился серьезно и скоро преуспел в порученном ему деле. Он всегда ощущал кровную связь с крестьянами и видел свое призвание в облегчении их тяжелого, зачастую неблагодарного труда. Ему казалось, что агрономическая наука поможет крестьянину выбраться из нищеты, и он не жалел сил, чтобы преодолеть вековую мужицкую темноту и косность.

В общей сложности на ферме Казанского губернского земства агроном Заболотский проработал около двадцати лет. В адресных книгах Казанской губернии сохранились сведения, указывающие на то, что по крайней мере с 1900 года «не имеющий чина» Алексей Агафонович Заболотский заведовал или был управляющим этой фермой, расположенной в Каймарской волости близ Кизицкой слободы¹. Казалось бы, служба агронома проходила вполне благополучно, но тем тяжелее для него была неприятность, случившаяся в 1909 году. Что с ним произошло, осталось неизвестным — не угодил ли земскому начальству, упустил ли что-нибудь по должности, но так или иначе место свое он вынужден был оставить и оказался не у дел.

К тому времени, когда Алексею Агафоновичу пришлось уйти с Казанской фермы, у него уже была большая семья. Женился он поздно, лет тридцати восьми, вероятно, в 1902 году. Незадолго до этого к служащему сельскохозяйственной фермы приехала сестра — молодая учительница из Нолинска Лидия Андреевна Дьяконова. Одна из шестерых детей мелкого почтового служащего, с самых ранних лет осталась она сиротой на попечении старшей сестры. С серебряной медалью окончила вятскую гимназию, а в 1897 году — годичные педагогические курсы. Уехала в Нолинск к своему дяде — врачу, начала учительствовать, но заболела, потеряла голос и вот приехала к брату на ферму. Здесь познакомилась она с уже немолодым Алексеем Агафоновичем и вскоре они обвенчались². Нельзя сказать, чтобы их супружеская жизнь была легкой и вполне счастливой — слишком разные это были люди. Солидный, обстоятельный Алексей Агафонович вырос в семье с домостроевским укладом и в семейных отношениях сам, вероятно, придерживался таких же порядков. Уважительное отношение к науке и книгам сочеталось у него с умеренной религиозностью. Увлеченный своими непосредственными заняти-



А. А. и Л. А. Заболотские (верхний ряд, в центре) в кругу родственников и знакомых на крыльце дома, где родился Н. А. Заболоцкий

ями на ферме, он предпочитал не вмешиваться в высокие дела мира сего. Натура Лидии Андреевны была иной. Ко времени замужества ей было немногим более двадцати лет. Прямолинейная и восторженная, она любила стихи и, полная еще не совсем оформившихся мечтаний послужить народному делу, стремилась в город, в центр общественной жизни. Скоро ей стало ясно, что все эти мечты молодости придется оставить. Семейные заботы, муж, дети заполняли всю жизнь. Алексея Агафоновича она уважала и долгое время называла мужа на «вы» и по имени-отчеству, однако несходство характеров и взглядов на жизнь, все чаще проявляющаяся несдержанность мужа нередко приводили к семейным ссорам. А когда агроном повышал голос и требовал в семье порядка, ей, бесприданнице, казалось, что муж укоряет ее за бедность,—она обижалась, плакала и жаловалась на свою долю.

24 апреля (по старому стилю) 1903 года в семье Заболотских родился первый ребенок—сын Николай, будущий поэт. Его

крестили в Варваринской церкви города Казани, о чем позднее было выдано свидетельство, где говорилось: «Вятской губернии города Уржума мещанин Алексей Агафонов Заболотский и его законная жена Лидия Андреева, оба православнаго вероисповедания, сын их Николай рожден апреля двадцать четвертаго, крещен двадцать пятаго...»

А к 1909 году, когда Алексей Агафонович лишился работы, в семье было уже четверо детей: Николай, Вера (1905 года рождения), Мария (1907) и Алексей (1909). Чтобы содержать жену и детей, пришлось поступить на первую подвернувшуюся службу — агроном стал страховым агентом в отдаленном селе Казанской губернии Кукморе, куда и переехала вся семья. Алексей Агафонович не мог смириться с потерей любимой работы, потихоньку грустил, против обыкновения даже выпивал с горя, ездил к начальству хлопотать о службе по специальности. Этот мрачный период в жизни семьи продолжался недолго, около года, но он запомнился старшему сыну участвовавшими раздорами родителей и ощущением неблагополучия в семье.

Наконец, в 1910 году в земстве родного Заболотскому Уржумского уезда ему было обещано место агронома на показательной сельскохозяйственной ферме в селе Сернур, что в 60 верстах к юго-западу от Уржума. Семья переехала летом или осенью, и с января 1911 года Алексей Агафонович официально был зачислен на службу агрономом сернурской, так называемой Епифаньевской фермы.

О Сернуре и о Епифаньевской ферме следует сказать подробнее, потому что именно в тех местах формировалась поэтическая натура Заболотского. Именно там семилетний мальчик осознал себя и впервые ощутил радость познания окружающего мира природы. Там предстояло ему понять смысл деятельности отца, узнать, что такое крестьянский труд и народная мудрость, открыть прекрасный мир книг и впервые почувствовать свое призвание.

Волостное село Сернур было расположено примерно посередине между Казанью и Вяткой и относилось к Вятской губернии (сейчас это районный центр Марийской АССР). В центре села возвышалась Макарьевская церковь и каменные дома купцов и священников. Обширная рыночная площадь отделяла от них каменное здание волостного правления и деревянные строения земской больницы. По базарным дням у церковной ограды открывались лавочки мелких торговцев и кустарей, прямо на земле расставляли свой товар гончары. Тут же предприимчивый мужичок ставил свои деревянные корытца с гороховым киселем, приправленным конопляным маслом или медом. Ближе к больнице продавали лапти, холсты, сбрую, телеги. Татары торговали

лошадьми, разносчик с лотком предлагал галантерейные изделия и дешевые книжки. В торговых рядах можно было увидеть самые разнообразные товары незамысловатого крестьянского хозяйства. Из окрестностей съезжался народ всех местных национальностей: русские, марийцы, татары, цыгане... По будним дням площадь была безлюдна.

К селу с двух сторон примыкали деревни—Нурбель и Низовка, образуя почти непрерывную длинную улицу с утопающими в садах домиками. У волостного правления эту улицу пересекала другая, покороче. Она круто спускалась к небольшой речке и за мостом переходила в Уржумский тракт. Не доходя метров 100—150 до речки с правой стороны, немного в глубине, стоял обшитый досками длинный бревенчатый дом, в котором поселился новый агроном фермы. Между домом и речкой был обширный двор с небольшим деревянным строением. Крыльцо этого флигелька и двор, заросший мягким спорышем, стали любимым местом детских игр. Перед домом со стороны улицы располагался садик с цветником, тут же был врыт в землю круглый стол, у которого в хорошую погоду летними вечерами любили посидеть Алексей Агафонович и Лидия Андреевна.

За речкой среди деревьев виднелась зеленая крыша большого двухэтажного бревенчатого здания начальной школы. С наступлением осени 1910 года сюда стал ходить на занятия Коля Заболотский. В наши дни на фасаде бывшей школы висят три мемориальные доски в память о том, что здесь учились Герой Советского Союза А. М. Яналов, марийский писатель И. А. Шабдаросып (И. А. Шабдар) и русский поэт Н. А. Заболоцкий. По решению Сернурского райисполкома осенью 1984 года здание отведено под краеведческий музей.

Речка, протекавшая за избами и садами главной улицы вдоль Нурбеля, Сернура, Низовки, в нескольких местах была перегорожена плотинами и образовывала каскад прудов, по берегам которых росли плакучие ивы. Крутились жернова двух водяных мельниц. Недалеко от дома агронома, за школой, белела стволками небольшая, очень старая березовая роща. За прудами, за речкой, за старой рощей, справа от Уржумского тракта располагались уголья сельскохозяйственной фермы—большой яблоневый сад, огороды, постройки скотного двора, поля травопольного севооборота, вдоль речки, повыше села,—луга для выпаса скота. Пруды, рощи, сады, поля и луга сливались с далями и перелесками, оглашались пением птиц и представляли собой поистине прекрасный и необозримый мир, который предстояло обследовать маленькому Коле.

Епифаньевская ферма была основана в середине прошлого века священником Епифанием Гусевым, большим любителем и

знатоком садоводства и пчеловодства. В округе пользовались популярностью пчеловодческие курсы, организованные Гусевым, а ульи его конструкции, по преданию, были известны и за пределами Вятской губернии. К тому времени, когда в Сернур приехал А. А. Заболотский, ферма уже была показательным хозяйством, предназначенным пропагандировать передовые агрономические и зоотехнические достижения того времени. Поля фермы были устроены, как того требовал многопольный севооборот, в структуру которого входили многолетние травы и сортовые хлеба. На полях и на току работали сеялки, культиваторы, молотилки, веялки. В саду росла необыкновенная антоновка, в огороде получали семена сортовых овощей и распространяли их в окрестных хозяйствах, на ферме разводили породистых кур и коров. Но не так-то просто было вводить агрономические новшества в маломощных крестьянских хозяйствах, преобладавших на обширном участке уезда, которым ведал агроном фермы. В русских и марийских деревнях вокруг Сернура мужики с недоверием относились к советам агронома, многого они просто не могли сделать по бедности, да и не хотели ломать вековые крестьянские привычки, завещанные далекими предками. Чтобы что-то сделать для крестьянских хозяйств, требовалось терпение, убежденность и умение находить общий язык с мужиками.

Часто Алексей Агафонович выезжал в деревни и на поля, где смотрел посевы, на сходках крестьян рассказывал о пользе многопольных севооборотов и о других приемах, позволяющих взять от земли больше, чем испокон веков привыкли брать земледельцы. Мужики слушали с интересом, чесали в затылках, думали... Им были ближе их повседневные заботы, и они жаловались на бедность, на поборы, на несправедливый раздел общинной земли, на притеснения старосты. Нищая крестьянская Россия не готова была к агрономическим нововведениям. Но упрямый агроном пытался воздействовать на крестьян не только словами, но и делом — на ферме они сами могли убедиться в пользе нового ведения хозяйства.

В одной из комнат сернурского дома, где жила семья Заболотских, была оборудована маленькая лаборатория. Часто туда приходили местные мужики, и Алексей Агафонович показывал им, как определяется всхожесть семян, оценивается качество почвы, как выглядят удобрения. Тут же рассказывал об удивительных свойствах растений, от чего зависит урожай хлеба, о пользе птиц, о борьбе с сорняками.

Старший сын агронома Коля с интересом слушал эти беседы отца с крестьянами, а когда немного подрос, то и сам устроил себе с помощью отца лабораторию в чулане сернурского дома. Совсем еще маленький брат — в семье его называли Лелей — с

благоговением смотрел на волшебные химические превращения, которые демонстрировал ему Коля в своем чулане. Уже в зрелые годы Алексей Алексеевич писал брату: «С раннего детства, кроме увлечения стихами, мне вспоминаются лишь твои занятия химией. Помнишь, как в чуланчике в Сернуре ты мудрил с колбами и пробирками? Все обычные химикалии — серу, купорос и пр. я впервые увидел и запомнил в твоих руках. Потом это увлечение сменилось другим — журналом «Жулик». Далекие, милые времена нашего детства!»³

В те годы в одной из окрестных марийских деревень Шорькенер («Овечья деревня») жил мальчик Кирилл, будущий отец известного марийского писателя К. К. Васина. На всю жизнь запомнил мальчик, как однажды к ним приезжал агроном Заболотский и как говорил с крестьянами на сходе. Через много лет он рассказал об этом своему сыну, а тот, описывая жизнь отца в повести «Жар-Птица»⁴, упомянул о приезде Алексея Агафоновича в марийскую деревню. Вот что нам стало известно из этого интересного свидетельства.

В деревне Шорькенер жил грамотный крестьянин — сапожник, отставной подпрапорщик Алексей Казанцев. Он выписывал газеты, собирал книги, в 1910—1914 годах был даже корреспондентом «Вятского сельскохозяйственного листка». Нередко беседовал с крестьянами, читал им книги и газеты. И была у этого сапожника смелая идея объединить крестьян земельной общины, чтобы вместе вести хозяйство, сообща приобрести механизмы, построить паровую мельницу, баню, пекарню. Он знал агронома Епифаньевской фермы как человека, любящего свое дело и желающего добра крестьянам, и решил пригласить его на сельский сход, чтобы агроном рассказал о выгодах научной организации хозяйства. Понятно, Алексей Агафонович с радостью откликнулся на просьбу.

К мужикам вышел высокий, подтянутый, видный собой, еще не старый человек с черной шевелюрой и светло-рыжей бородой, расчесанной на два клина. Одет он был в поддевку, на ногах блестящие начищенные сапоги. Говорил чуть глуховатым голосом с заметным вятским выговором. Агроном советовал прежде всего заменить трехполье на девятипольный севооборот; кроме традиционных местных культур — ржи, овса, гречихи и гороха, выращивать многолетние травы, клевер и другие растения, постепенно переходить на новые урожайные сорта, лучше обрабатывать и удобрять поля. Необходимо сложиться всем миром и купить машины — сеялку, сушилку, молотилку... Сначала слушали внимательно, кивали головами, как будто соглашались. Когда же Казанцев, переводивший слова агронома на марийский язык, стал говорить о практической стороне дела, мужики зашумели,

заговорили о своих нуждах и обидах. Ясно было, что к ведению совместного хозяйства они не были готовы, не понимали и пользы от дорогих машин, покупных удобрений, травосеяния. Замысел отставного подпрапорщика явно опережал свое время. Когда началась империалистическая война, Казанцева мобилизовали в армию, и он погиб на фронте осенью 1915 года.

За многие годы работы Алексей Агафонович уже привык к подобному поведению крестьян. Он знал, что даже простые нововведения вызывают сопротивление, а иногда даже озлобленные мужиков: дескать, приехал тут барин учить, как землю пахать. Сам-то небось только на бричке разъезжает да разглагольствует, а мы и деды наши всю жизнь пашем и уж наверное лучше знаем, как хлеб сеять. А траву кто же сеет—она сама растет. Не гоже травой поля заниматься.

Удивительно, что, несмотря на консерватизм крестьян, Алексею Агафоновичу еще до революции удалось на своем участке почти полностью ликвидировать трехполье и ввести некоторые другие полезные приемы земледелия.

Когда Коля подросток, отец стал иногда брать его в поездки по деревням и полям участка. Может быть; была у агронома затаенная надежда воспитать у старшего сына интерес к сельскому хозяйству и сделать из него агронома—преемника отца. Ибо знал Заболотский, что не хватит одной его жизни, чтобы осуществить все задуманное—превратить старозаветные крестьянские хозяйства в подобия образцовых ферм. Много нового открывалось Николаю во время таких поездок. Он видел, как живут и трудятся крестьяне, начинал понимать, чего добивается его отец от изнуренного работой и неурожаями мужика.

Впрочем, крестьянская жизнь окружала мальчика и в Сернуре. Особенно любил Коля Заболотский слушать разговоры крестьян, собиравшихся в вечерние часы у бревен, сваленных посреди села для какой-то строительной надобности. Мужики говорили о суевериях и старинных книгах, хранящихся у староверов соседней деревни, вспоминали дедовские поверья и передавали местные новости. Как будто впервые, рассматривали они майских жуков и удивлялись их строению, смотрели на звезды, жаловались на свою темноту и мечтали о лучшей жизни. На бревнах происходил примерно такой разговор:

— Глянь-ка, «Утиное гнездо» уже мигает,—говорил один, глядя в приставленный к глазу кулак на звездное скопление Плеяд⁵. Может, там тоже кто-нибудь рожь сеет. А?

— Днесь в Староверове старики книгу читали,—говорил другой,—так там будто все записано: когда к нам правда придет, и как жить по-божески надо, и почему теперича худо живем...

— Известно, почему,—перебивал третий.—О душе и о боге

народ не думает, наши деды небось не так жили. О душе заботились, а не о брюхе.

— А ты знаешь, какая она, душа-то? Ты видел ее? Деды-то наши что знали? А теперь, вон, наука...

Затевался спор о душе, о загробной жизни, о материи и ее мельчайших частицах. Религиозные представления и языческие суеверия причудливо переплетались с народными легендами и с научными взглядами, окольными путями доходившими до деревни. Старики попыхивали цигарками, и вот уже кто-нибудь растягивал гармошку, подвыпившие мужики помоложе пускались в пляску. Гармошка стихала, возобновлялся медлительный разговор. В такие вечера сын агронома допоздна просиживал с мужиками, прислушиваясь к их беседе, и опаздывал домой ко сну.

Среди окрестных марийцев в то время еще сохранились языческие верования и обычаи. Березовые рощи около Сернура считались священными, по праздникам там собирались верующие, шаманы совершали свои языческие обряды—жгли костры, приносили жертвы языческим богам. С этими рощами были связаны предания о злых и добрых духах, о волшебных силах, заключенных в растениях и животных, и неудивительно, что местные дети под сенью этих старых священных берез испытывали суеверный страх. Православные священники боролись с языческими культурами, пытались подстроиться к старым обычаям марийцев и иногда проводили христианские богослужения в тех же окрестных рощах. Сейчас этих рощ уже нет—в начале 30-х годов они были вырублены как атрибуты религиозных культов.

К. К. Васин в повести «Жар-Птица» приводит предание о своем предке—знаменитом потомственном марийском шамане, который упорно сопротивлялся христианской вере и еще при царе Николае I устроил грандиозное языческое моление. В назначенное место близ Сернура съехалось множество марийцев со всей округи, в священной роще несколько дней полыхали жертвенные костры, у которых забивали бычков и баранов. Шаманы с бубнами плясали и творили заклинания. Слух о языческом молении дошел до Петербурга. В Сернур прибыла специальная комиссия священного синода, после расследования главный жрец был арестован и будто бы доставлен в Петербург к самому царю, который собственноручно уговаривал его отказаться от веры предков. Шаман каким-то образом поладил с Николаем и даже получил от него в подарок суконный кафтан. Вернувшись он домой подавленным и нелюдимым, стал ходить в церковь, но все-таки потихоньку молился в священной роще и передал свое жрецкое звание сыновьям и внукам.

Так что шаманы кое-где сохранились и в те времена, когда в Сернуре жили Заболотские. Во время поездок с отцом Коле приходилось видеть это незабываемое зрелище — камлание марийского шамана. Много позже, во время разговора о зауми в поэзии, он вспомнил об этом языческом молебне и заметил: «Вот это была настоящая заумь!» В детские годы языческий дух преклонения перед природой, одушевление и обожествление растений, животных, рек, больших камней — все это соответствовало первоначальному детскому восприятию окружающего мира, и наряду с деятельностью отца-агронома предопределило интерес поэта к естествознанию и натурфилософии.

В ту пору в Сернуре стали проявляться ростки культурной жизни — интерес к книгам, образованию, общественно-демократическим веяниям. Заметную роль в селе стала играть сельская разночинная интеллигенция. В Сернуре работала земская библиотека. Учителя начальной училища и окрестных церковно-приходских школ, врач больницы — ссыльный студент-медик из Петербурга, кое-кто из духовенства имели небольшие собрания книг, выписывали газеты и журналы. Один из священников, Федор Егоров, собрал порядочную библиотеку, записывал местные марийские песни и сказания, сам сочинял на марийском языке. Его сын К. Ф. Егоров получил образование в Казани и стал художником.

С Сернуром связаны судьбы известных марийских писателей И. А. Шабдара и А. Ф. Конакова, киноактера Иывана Кырли (К. И. Иванова), сыгравшего роль Мустафы в первом советском звуковом фильме «Путевка в жизнь». В 1918 году, вскоре после отъезда из Сернура семьи Заболотских, здесь, в помещении начальной школы, которую окончил Николай, открылись педагогические курсы, готовящие учителей для марийских школ. Естествознание и химию на курсах преподавал А. Ф. Конаков, историю — бывший священник Ф. Е. Егоров, среди слушателей были И. А. Шабдар, К. Н. Васин (отец писателя). Имеются сведения, что в 1906 году в Сернур были сосланы революционно настроенные грузинские крестьяне из Кахетии. Местные жители вспоминали их своеобразное пение, а потом — каменные надгробия с грузинскими надписями⁶. Однако брат поэта не помнит, чтобы в семье что-нибудь говорили о грузинских поселенцах.

Николай Алексеевич Заболотский полагал, что его отец по воспитанию, нраву и характеру работы стоял на полпути между крестьянством и интеллигенцией. По-видимому, он был все-таки ближе к сельской интеллигенции той поры. Сторонился купечества и священников — наиболее состоятельных в селе, но и с людьми своего круга, видимо, сходиллся не сразу. Среди его знакомых — товарищи по работе на ферме, старики-крестьяне,

соседи — люди, с которыми можно было, не торопясь, пофилософствовать, поговорить о прошлом окрестных земель, о природе края, о местных новостях и крестьянских заботах. Васин пишет о воспитаннике Нартасского сельскохозяйственного училища И. К. Милютине как об одном из товарищей Алексея Агафоновича. Милютин высказывался против царизма и даже распространял в Сернуре революционные листовки.

Боле всего любил агроном Заболотский в часы отдыха порассуждать на отвлеченные темы — о мудром устройстве природы, о человеческих возможностях в познании мира, о далеких звездных мирах. Приезжали, бывало, земляки из Красной Горы, заходили соседи и начинался один из тех разговоров, которые так любил слушать Николай. «Не так-то все просто на этом свете, как нам кажется, — говорил его отец, отхлебывая пиво (единственный любимый им алкогольный напиток). — Среди миров мы с вами только маленькие букашечки, и можем ли мы понять, как устроен этот мир?» (Слова агронома воспроизвел брат поэта А. А. Заболоцкий в письме к автору статьи.)

Занимался Алексей Агафонович и общественными делами. Первый год его работы на сернурской ферме был очень неблагоприятным — неурожай подкосил крестьянские хозяйства, в округе наступил голод. Нужно было как-то помочь крестьянам. Снова обратимся к свидетельству К. К. Васина: «А. Заболотский и его друзья-учителя и почтовые работники решили открыть для детей в селе бесплатную столовую. Собрали между собой деньги, но так как все они были людьми небогатыми, то денег оказалось мало. Тогда Заболотский написал в Петербург Шалапину, который был уроженцем Вятской губернии, и попросил его как земляка помочь в осуществлении доброго дела. Шалапин откликнулся на просьбу, прислал денег, и столовая была открыта»⁷. Этот факт был отмечен и в «Журнале Уржумского уездного земского собрания», где, кстати, неоднократно упоминалась земская деятельность агронома Заболотского — участие в организации сельскохозяйственных выставок, чтение лекций по земледелию на сельскохозяйственных курсах и для общественности. Недаром Лидия Андреевна, бывало, с гордостью говорила о муже: «Все в округе уважают Алексея Агафоновича. С его мнением и в земстве очень даже считаются».

Что касается письма к Ф. И. Шалапину, то вряд ли Алексей Агафонович мог предполагать, что имеет с великим певцом еще и иные связи, кроме отдаленного землячества. В девяностых годах, будучи управляющим казанской фермой, он наверняка встречался в земстве с лесничим окрестных лесов Каспаром Валентиновичем Элуженом — родным братом второй жены Шалапина Марии Валентиновны. И агроном и лесничий в одни и те

же годы принимали участие в работе земства. Каспар Валентинович хорошо знал Шалыпина. В послереволюционные годы, приезжая в Москву, К. В. Элухен (Елухин) неизменно бывал на концертах и операх с участием Шалыпина, всегда сидел в первом ряду партера и удивлял публику необычными белыми, в розовый горошек, так называемыми кукморскими валенками. С конца 20-х годов он уже постоянно жил и работал в Москве. Судьбе было угодно устроить так, что внука казанского лесничего вышла замуж за внука Алексея Агафоновича (сына поэта Заболоцкого) и в результате у лесничего и агронома появился общий правнук.

Алексей Агафонович обладал врожденным крестьянским уважением к науке и книге. С 1900 года он выписывал «Ниву», собирал и переплетал литературные приложения к этому журналу. Иногда покупал другие издания художественной литературы, а также книги по агрономии и биологии. Так, в его шкафу собрались произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Л. Толстого, Державина, Карамзина, Тютчева, Фета, А. К. Толстого, Никитина, Кольцова, Шекспира, Гюго, Гамсуна...

Семилетний Коля осторожно подходил к отцовским книгам, долго рассматривал их и в который раз прочитывал слова на табличке за стеклом шкафа: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно, что хлеб». В кабинете мальчик был один — отец на ферме, мать занята хозяйством. Он садился у шкафа и размышлял в уединении над каждой фразой, вырезанной из календаря. Затем доставал книгу и углублялся в чтение. Любила книги и Лидия Андреевна, часто читала детям стихи Пушкина, Некрасова, А. К. Толстого, Кольцова. Впоследствии, вспоминая свое детство, Николай Алексеевич писал: «Здесь, около книжного шкафа с его календарной паначеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события»⁸.

С каждым годом все более проявлялись литературные наклонности мальчика. Он сочинял стихи, составлял свой поэтический журнал — альбом, куда переписывал понравившиеся ему стихотворения Пушкина, Лермонтова, свои детские стихи. Читал их маленьким сестрам и брату. Одно из стихотворений в альбоме начиналось словами: «Как во Сернуре большом раздавался страшный гром...», и далее были слова:

Змей-Горыныч прилетает,
Остальных всех доедает —
Угощает сам себя.
И остался только я!

*Коля Заболотский
до переезда семьи
в Сернур*



К двенадцати годам Николай прочитал все доступные ему книги из отцовского шкафа. По всей видимости, семья пользовалась и земской библиотекой, где можно было брать дешевые издания русской классики, приключенческую и познавательную литературу («Кавказский пленник», «Муму», «Зимовье на Студеной», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Потемкин на Дунае», «Принц и нищий», «Робинзон Крузо», «Хижина дяди Тома», «Айвенго», книги о разных странах из серии «Как люди на белом свете живут», стихи Кольцова, Никитина, Некрасова). В одном из писем 40-х годов Николай Алексеевич не без гордости вспоминал,

что к двенадцати годам он уже «порядочно знал русскую литературу».

Многое из впечатлений раннего детства навсегда осталось в душе Заболоцкого. Были воспоминания радостные, поэтические. Вот — рождество, домашняя елка. Топится печка, из открывшихся дверей валит пар. Появляются мальчишки, все в инее, замерзшие: «Можно пославить?» И начинают петь: «Рождество твое Христе боже наш...» Потом рождественские гостинцы, подарки. А «однажды, зимой, — вспоминает Н. А. Заболоцкий, — в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, марийский мальчик Ваня Мамаев, в худой своей одежонке с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замерз до полусмерти, измучился и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастьем самой черной завистью»⁹.

Особенно привольно было в Сернуре летом. Часто с отцом или с младшим братом уходил Коля Заболотский удить рыбу (увлечение, совершенно несвойственное взрослому поэту), любил играть в крокет, которым одно время увлекалась вся семья, позднее полюбил футбол. Играть в крокет дети и взрослые ходили в сад отца благочинного близ Макарьевской церкви. Дети дружили с сыном этого священника и называли его Мишей Благочинным, воспринимаемая церковный чин как фамилию.

В 1912 году в России праздновалось столетие Бородинского сражения. О войне 1812 года рассказывали в школе, о героях Бородина читали книжки, в ходу были открытки с изображением батальных сцен и генералов Отечественной войны. «Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарослями крапивы, которая изображала собой воинство Бонапарта, — вспоминает Заболоцкий. — Я неизменно был атаманом казачьих войск Платовым и никогда не соглашался на более почетные роли, ибо Платов представлялся мне образцом русского геройства, удали и молодечества»¹⁰.

В семье Заболотских любили петь. Нередко, когда дома собиралась вся семья, отец брал гитару и пел один или с Лидией Андреевной, а то и вместе с детьми. Алексей Агафонович обладал хорошим голосом и слыл превосходным гитаристом. Благодаря этому в молодости он со своей гитарой всегда был желанным гостем на всех праздничных вечерах у родственников и соседей. В семье пели русские и малороссийские песни, иногда, путая слова, — марийские. Лидия Андреевна исполняла что-то из «Аскольдовой могилы», пела «Вьют витры», «Стоит гора высокая». Все вместе пели «Буря мглою небо кроет», «Звезды, мои

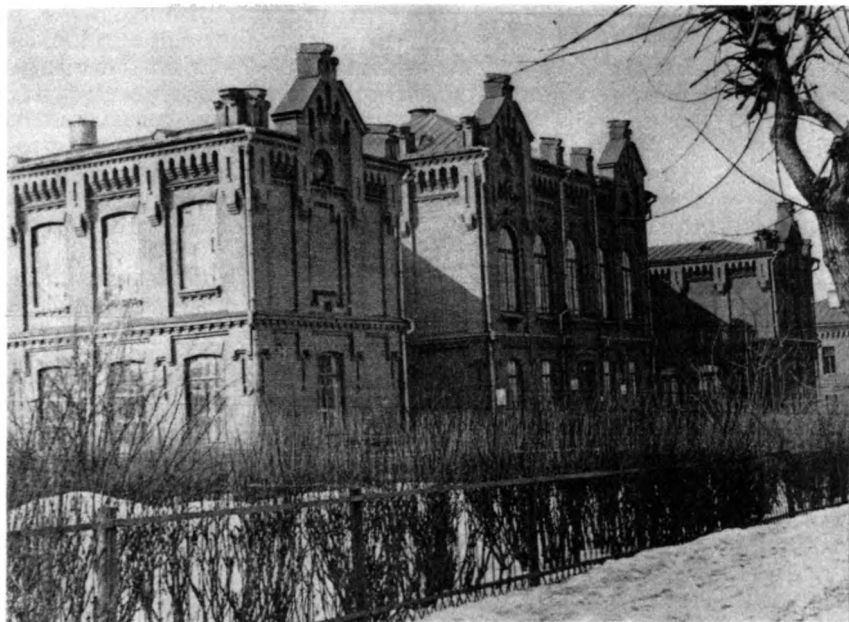
звездочки», «Липа вековая». Развеселившись, Алексей Агафонович лихо отыгрывал на гитаре и, сощурившись, задорно пел: «Уж вы пташки-канашки мои, разлюбезные бумажки мои! А бумажки-то новенькие, двадцатипятирублевенькие...» Хороший слух и любовь к музыке передались детям. Брат поэта, Алексей Алексеевич, писал: «У меня хорошая память на мелодии, можно сказать, я помню все, что звучало в нашей семье,— от колыбельных и детских песен до романсов и оперных арий». А Николай научился у отца играть на гитаре, знал много песен и романсов, позднее пел не только в кругу товарищей, но и на школьных концертах и вечерах самодеятельности.

Бывали и горькие минуты. Несдержанный, даже деспотический характер отца нередко больно отзывался на жизни всей семьи. Но и мать по мере сил в семейных спорах настаивала на своем, а порою за глаза посмеивалась над склонностью мужа поговорить «о вечности и бесконечности», как назывались в семье философские рассуждения Алексея Агафоновича. В год переезда семьи в Сернур у Заболотских родился третий сын, Александр (двум дочерям Вере и Марии было тогда пять и три года). Летом 1912 года семью постигло несчастье — маленький Шурочка умер. Позднее, в 1914 и 1918 годах родились еще две дочери — Наталья и Елена.

Многодетной семье жилось нелегко. Жалованья агронома с трудом хватало, чтобы прокормить, одеть и обучить детей. Погруженная в домашние заботы, Лидия Андреевна преждевременно старилась и забывала свое прежнее веселье. Забота о детях стала для нее главным смыслом жизни, и она отдавалась ей всем своим существом. В семье проповедовались принципы добра, справедливости. Деятельность отца и рассказы матери о людях, которые желают добра народу и борются за его счастливое будущее, приучали детей к тому, что жизнь немыслима без служения общественным интересам и без твердых нравственных идеалов. У детей воспитывалось убеждение, что каждый человек живет не только для самого себя, но и для выполнения определенного долга по отношению к окружающим людям. Лидия Андреевна с гордостью рассказывала про свою сестру, тетю Милю, которая увлекалась стихами и однажды сидела в тюрьме за нелегальную работу. Когда мужа не было дома, она, бывало, грустно думала о несбывшихся мечтах и негромко напевала запрещенную старую революционную песню, услышанную от тети Мили:

Стоит в поле погост, на погосте — помост,
Белый, тесаный, кровью крашенный...

Другим «подвижником» был племянник Алексея Агафоновича, Коля-большой, как его называли в семье. Коля-большой, или



Здание бывшего реального училища в Уржуме, где с 1913 по 1920 год учился Николай Заболотский

Николай Николаевич Попов учился в Казанской художественной школе, вступил там в социал-демократическую партию, за революционную деятельность был арестован, отбывал ссылку. В Уржуме он преподавал рисование в женской гимназии, сам увлекался живописью, играл на гитаре и мандолине. Веселый и общительный, приезжая к Заболотским, он собирал всю местную молодежь, пел неведомые ей студенческие и тюремные песни, рассказывал о жизни в далеких городах. Дети любили смотреть, как он рисовал, ходили вместе с ним на пруды ловить рыбу. Он «всем своим веселым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ,—вспоминает Николай Алексеевич.— Это была загадка, разгадать которую я был еще не в силах».

II

После того, как десятилетний Коля окончил сернурскую начальную школу, родители решили определить его в уржумское реальное училище.

Уржум, родной город Алексея Агафоновича, находился в шестидесяти верстах от Сернура. Впоследствии он прославился как родина С. М. Кирова. В те времена он был обычным провинциальным городком и насчитывал около шестисот жилых зданий, большей частью деревянных, десятка два ремесленных заведений и шесть небольших заводиков, в том числе спиртоводочный, сыромолочный, кожевенный, лесопильный. В семи верстах от города на реке Вятке располагалась пристань, через которую купцы вывозили лес и другие местные товары. К достопримечательностям Уржума того времени Н. А. Заболоцкий отнес «Общество трезвости» — городской клуб, где развлекалось местное купечество, пять-шесть церквей, театр «Аудитория» в виде длинного деревянного строения, земскую управу, воинское присутствие, «номера» Потапова, весьма основательный острог на рыночной площади, аптеку, казарму местного гарнизона и пожарную команду с духовым оркестром. В «Аудитории» давал спектакли любительский драматический кружок, в кинематографе «Фурор» шли картины с участием Веры Холодной и Мозжухина, существовало музыкальное училище, работали две приличные библиотеки.

Было еще в городе фундаментальное здание реального училища, построенное земством лет за пять до поступления в него Николая Заболотского. И вот летом 1913 года Лидия Андреевна привезла сына в Уржум сдавать вступительные экзамены. В очерке «Ранние годы» Н. А. Заболоцкий вспоминает об этом событии:

«Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, закону божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно всплакнул, сходя на своей парте. К счастью, в мой личочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидел ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красным кирпичным собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, — звуки, еще никогда в жизни не слышанные мною! А городской сад с оркестром, а

городовые по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы — все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины!»¹¹

В реальном училище можно было получить вполне приличное среднее образование. Уржумское земство, одно из передовых земств России, не поскупилось на оборудование училища и на содержание в основном весьма компетентных и либерально настроенных преподавателей. Многих из них Николай Алексеевич помнил всю жизнь.

Возглавлял училище М. Ф. Богатырев, талантливый математик и шахматист. Он выделялся крупной фигурой, высоким лбом и густой гривой тронутых сединой волос. Швейцар почтительно открывал ему дверь и величал «ваше превосходительство». Директор преподавал алгебру в старших классах и умел рассказывать о ней так увлекательно, что реалисты слушали, затаив дыхание.

Математика и рисование считались важнейшими предметами. Впрочем, математикой Николай Заболотский никогда не увлекался, а вот в рисовании и черчении проявил хорошие способности и успешно рисовал карандашом, писал акварелью и маслом. В классе для рисования скамьи располагались амфитеатром, чтобы хорошо было видно натуру, у каждого ученика был свой мольберт. Вдоль стен стояли гипсовые копии античных скульптур. На занятиях демонстрировались репродукции картин известных мастеров русской и мировой живописи. «У нас были свои, местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения», — вспоминает Заболотский. Сам он тоже не избежал этого увлечения, а его ближайший друг по реальному училищу — скромный, впечатлительный Миша Иванов прекрасно рисовал и позднее в Москве пытался поступить в художественное училище.

Учителя рисования Федора Логиновича Ларионова любили не только за интересные уроки, но и за красивую представительную внешность, за его преданность музыке и театру. На концертах он недурно пел баритоном. Незадолго до поступления Николая в реальное училище Ларионов поставил оперу Глинки «Жизнь за царя», которая шла в училище и в «Аудитории». Вскоре он поставил оперу Верди «Аида», произведшую большое впечатление на будущего поэта. Заболотский писал об этом событии: «В первый год моего ученичества у нас в реальном училище силами учителей, интеллигенции и старшеклассников

ставилась (полностью!) «Аида». Правда, опера шла под аккомпанемент рояля и с помощью лишь местных ограниченных средств — но шла!» («Ранние годы»).

Позднее, в начале 20-х годов, Ларионов участвовал в кампании по защите лесов — рисовал яркие плакаты с им же сочиненными стихами:

Лес — защита для полей,
Лес — богатство и краса.
С лесом жить нам веселей.
Берега свои леса!

Плакаты развешивались по стенам школы и должны были внушать детям разумное, бережное отношение к окружающей природе.

Одним из любимых предметов юного Заболотского стала история. Преподаватель истории В. П. Спасский был классным руководителем Николая и сразу заинтересовал мальчиков тем, что, в отличие от других учителей, носивших форменные сюртуки, ходил в пиджаке, хотя с форменными лацканами и пуговицами. Он мало считался с принятыми учебниками и объяснял исторические события, исходя из материального бытия человечества. Историк любил задавать ученикам вопрос: «Что выше всего в государстве?» И когда ученики хором отвечали «Царь», он хитро прищурился и говорил: «Нет, в государстве выше всего закон». Он заставлял записывать свои объяснения в тетрадь и приучал к внимательному конспектированию и глубокому пониманию предмета.

Интересовался Николай естествознанием и химией. Естествознание преподавалось увлекательно — всеобщий интерес вызывали, например, диспуты по дарвинизму, на которых ученики вправе были отстаивать научные или богословские взгляды (закон божий, конечно, тоже изучался, но популярностью у реалистов не пользовался). В кабинете химии демонстрировались химические опыты. Сливал, бывало, учитель лиловый и зеленый растворы, получал бесцветную жидкость и сам же в восторге кричал: «Вот, можно подумать, что в колбе вода, а здесь черт знает чего не намешано!» Николай повторял некоторые из этих опытов во время каникул в своем чуланчике в Сернуре. Учитель химии (или, по другим сведениям, естествознания) очень любил рассказы Чехова и перед каникулами читал их вслух в классе, читал с такими уморительно смешными интонациями, что и сам он, и весь класс весело смеялись. Так состоялось первое знакомство Заболоцкого с Чеховым, который еще долго представлялся ему только юмористом. По-настоящему он узнал и полюбил Чехова лишь в 30-х годах, перечитав его произведения по настоянию жены, которая в то время увлекалась творчеством писателя.

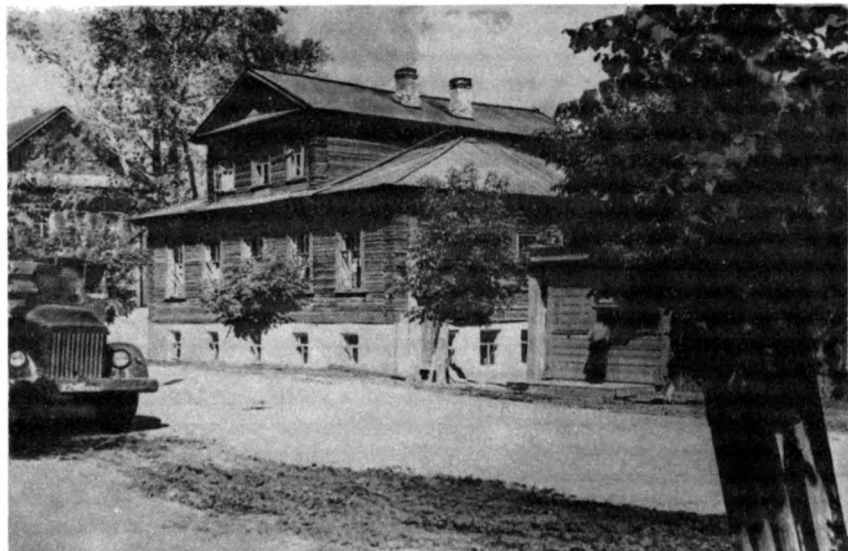
Основательно изучался в училище немецкий язык. Второй, французский, ученики знали неважно, а вот знание немецкого языка, упроченное институтским курсом, сохранилось у Николая Алексеевича на всю жизнь. В молодости он в подлиннике читал «Фауста» Гёте, да и позднее разбирался в немецких текстах.

Способным учеником оказался молодой Заболотский и в гимнастическом зале. «На праздниках «сокольской» гимнастики,— вспоминает он,— мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и лобоваться нашими выступлениями приходил весь город» («Ранние годы»).

Литература в младших классах реального училища преподавалась весьма посредственно. Положение изменилось лишь к пятому-шестому классу, когда появилась новая учительница литературы, Нина Александровна Руфина, приехавшая из Москвы и сыгравшая немалую роль в утверждении поэтического призрания молодого Заболотского.

Первые четыре года учения в реальном училище Николай жил отдельно от родителей, как тогда говорили, «на хлебах». Его отец нередко приезжал в Уржум по своим служебным делам и на заседания земской управы. Он на день-два останавливался в номерах Потапова, забирал к себе сына. Эти встречи с отцом запомнились Коле «роскошной» жизнью, которую позволял себе в Уржуме Алексей Агафонович. Он угощал сына икрой, балыком, сыром — лакомствами, обычно недоступными семье. На каникулы отец увозил Колю в Сернур. Ездил агроном на паре казенных лошадей в простой повозке или кошевых санях, с ямщиком. Это были незабываемые часы путешествия по зимним или весенним полям и лесам чудесного края. Занятия окончены, впереди дом, свобода, летом — рыбная ловля, игры с братом и сестрами, зимой — рождественская елка, коньки... И всегда — книги, стихи, поездки с отцом, занятия химией в чулане и много других замечательных вещей, возможных только дома.

В 1914 году началась империалистическая война. Поначалу, пока шло успешное наступление русской армии в Восточной Пруссии, все с увлечением передвигали флажки, обозначавшие на картах линию фронта, но когда флажки пришлось переставлять назад и даже далеко назад, карты забросили. Война шла где-то на западе России, но и здесь, в Уржуме, о ней напоминали женский плач и пьяные крики новобранцев, доносившиеся от воинского присутствия. И все-таки мальчики не могли не завидовать своим старшим соученикам, которые, окончив школу прапорщиков, в погонах, с парадными саблями приезжали прощаться с учителями перед отправкой на фронт. В мае 1915 года один из них, Кошкин, был убит, и его тело привезли в Уржум в свинцовом гробу. Хоронили всем училищем, с духовым



Дом в Уржуме, где в номерах Потапова останавливался А. А. Заболотский

оркестром и торжественными речами, а Николай Заболотский написал, как он вспоминает, «весьма патриотическое стихотворение» «На смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом изящной словесности.

Реалисты и гимназистки парами ходили по домам и собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Николай Алексеевич вспоминает, что его «неизменной дамой» была Нина Пантюхина: «И на каждой лестнице, прежде чем дернуть за ручку звонка, мы, да простит нам господь бог, целовались с удовольствием и увлечением».

В семье Заболотских дети не были склонны к глубоким религиозным чувствам, но все-таки восприимчивая к музыке, мечтательная натура Николая не могла противиться картинам вечерней церковной службы: «Тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверно, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья» («Ранние годы»). Музыка и пение рождали потребность писать стихи.

Однако уже в ранних детских стихах Заболоцкого звучали не только сентиментальные лирические ноты, но и ирония, шутка, даже парадокс. Впрочем, до нас дошло слишком мало стихотворений поэта тех далеких лет, и суждения о его поэтических настроениях не могут быть вполне объективными. Один из самых ранних известных нам опытов относится, вероятно, к 1914 или 1915 году и представляет собой стихотворное письмо, посланное из Уржума в Сернур маленькому брату Леле:

Здравствуй, Лелюха,
Жареный ватруха!
Как ты поживаешь?
Из ружья стреляешь?
Я твое письмо получил,
Черным квасом намочил.
Прощай, Лелюха!
Твой Колюха.

В Уржуме литературой, и особенно поэзией увлекались многие молодые люди — сочиняли, читали любимых поэтов, девочки переписывали стихотворения в альбомы. Когда Николай в 1916 году учился в четвертом классе, он познакомился и скоро подружился с пятиклассником Мишей Касьяновым, который с группой товарищей задумал выпускать свой литературный журнал. Ребята знали, что Коля Заболотский пишет стихи, поэтому его тоже пригласили в журнал, хотя он и был «на целый год» младше. М. Касьянов в воспоминаниях о Заболоцком описал свою встречу с Николаем на первом сборе редколлегии журнала. Для нас очень ценно это самое раннее свидетельство, представляющее внешность и характер Заболоцкого того времени:

«Паренек... был лобастый, немного смущался, но взгляд имел твердый... Николай начал слагать стихи с одиннадцати-двенадцати лет (по утверждению поэта — с семи лет. — Н. З.). Он сам считал, что «это уже до смерти». Мне он как-то сказал: «Знаешь, Миша, у меня тетка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: «Если кто почал стихи писать (он так и сказал — почал), то до смерти не бросит». В то время, когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым мальчиком, смирягой, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто берег что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жестами, руками не махал, как мы, все остальные мальчишки, фразы произносил без страсти, но положительно, солидно. Страсть и оживление в спорах я увидел в нем уже позднее, в юности... В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьезностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то веселое, а иногда и горькое озорство»¹².

Касьянов отметил черты Заболоцкого-мальчика, удивительным образом соответствующие чертам и манерам взрослого

Заболоцкого. Ну, хотя бы эта склонность к философскому осмысливанию жизни. Ясно, что она появилась еще в детские годы и развивалась по мере формирования поэта.

Приедет, бывало, Коля домой на каникулы, сядет где-нибудь в уголке комнаты и думает о чем-то своем — вспоминает, сопоставляет, мечтает. Мать войдет в комнату, увидит притихшего сына, забеспокоится — не заболел ли:

— Ты пошел бы погулять, Коля!

— Нет, я лучше уж посижу.

И мальчик сидел в молчании, и ему нисколько не было скучно, поскольку голова его была занята какими-то важными размышлениями.

Но не чужд был этот «смирняга» и озорства, любил шумные игры, только что появившийся тогда футбол. Да и то, что он не дрался со сверстниками, не совсем верно. Он сам вспоминал, как на старом Митрофаньевском кладбище в Уржуме участвовал в побоищах между учениками реального и городского мужских училищ. И даже в приведенном стихотворении к брату за степенностью и покровительственно-нежным отношением старшего к младшему явно видно веселое мальчишеское озорство.

Постепенно новая жизнь в Уржуме, новые товарищи и новые интересы завладели Николаем. Дома он чутко воспринимал окружающую жизнь, взгляды отца, наставления матери. Теперь же, оторванный от семьи, жил заботами и интересами уржумской молодежи. Увлечение поэзией, выступления в любительских концертах и спектаклях сблизили Николая с новым товарищем Мишей Касьяновым.

Касьянов приехал из села Шурмы Уржумского уезда, где воспитывался в семье тети, сельской учительницы, и ее мужа — народного учителя. В Шурме он окончил начальное училище, и, как и Николай, был определен в уржумское реальное. Ко времени знакомства двух молодых людей Касьянов жил «на хлебах» в семье акцизного чиновника Польнера. В семье было трое детей: одноклассник Касьянова — Борис и две сестры, одна из которых, Леонилла Александровна, позднее стала женой товарища Николая по реальному училищу — Сбоева. Их мать, образованная и энергичная женщина, давала уроки на рояле, а тетя Эмилия Викторовна, по мужу Самарцева, была классной дамой в женской гимназии. В доме Польнеров по праздникам собиралась молодежь, заводились игры, театрализованные шарადы, затевались хороводы и танцы. Вместе со всеми веселилась и организовывала игры тетя Миля, а хозяйка дома аккомпанировала на рояле. Николай тоже бывал на этих праздниках и участвовал в домашних концертах. Касьянов вспоминает, что на

вечерах в доме Польнеров не раз разыгрывалась оперетта под названием «Иванов Павел», в которой Николай исполнял роль самого Павла.

У Коли Заболотского были неплохие музыкальные способности. На вечерах в реальном училище он не только читал стихи, но и пел, аккомпанируя на гитаре. Играл он и на балалайке. На всю жизнь запомнилось ему, как он впервые пел со сцены романс «Дремлют плакучие ивы», но это было, вероятно, уже в последние годы учебы в Уржуме. Весной 1917 года учитель рисования Ларионов поставил спектакль «Ревизор» по Гоголю. Городничего играл одноклассник Николая — Петр Лифанов. Он был старше своих товарищей, высокого роста, и имел подходящий для роли бас. Судью Ляпкина-Тяпкина играл Касьянов, а зрителя училищ Хлопова — Николай Заболотский. Это выступление на сцене было не просто участием в школьной самодеятельности, но и настоящим приобщением к театру, потому что спектакль стал событием для всего города и имел такой успех, что скоро был перенесен со сцены реального училища на сцену народного дома «Аудитория». Привычка к публичным выступлениям, умение держаться на сцене очень пригодились Николаю в его последующей жизни, а приобретались они в Уржуме благодаря все возрастающему интересу молодежи к театру, музыке, поэзии.

Наступил 1917 год. Под напором революционных событий всколыхнулась и жизнь маленького Уржума. М. И. Касьянов вспоминает: «Первого мая была огромная демонстрация. Никак нельзя было проверить, что в Уржуме живет столько народа. Наверное, все окрестные деревни пришли в город на первый свободный майский праздник...

Мы в училище образовали «Союз учащихся». Председателем его был избран Михаил Быков. Представители союза получили право посещать святая святых реального — заседания педагогического совета. Дисциплина стала заметно падать, да и учебе как-то не шло. Для регулирования брызжущих сил молодежи в реальном, а потом и в женской гимназии, стали организовывать литературно-вокальные вечера. Так как они приурочивались обычно к субботам, то получили наименование субботников. В первых субботниках выступали и родители, и преподаватели реального училища. Известный в Уржуме бас — любитель Домрачев — пел арию Сусанина. Елена Андреевна Польнер нередко аккомпанировала певцам... а учительница литературы Мария Диомидовна Мячина, обладавшая недурным контральто, пела арии из опер и романсы. Исполнители реалисты в начале придерживались строгой классики: исполнялись вольнолюбивые стихи Пушкина и Лермонтова, хранившиеся у кого-то в городе в списках революционные песни. Допускались романсы русских

классиков — Глинки, Чайковского, Даргомыжского. Исполнители довольно быстро снизошли и до второстепенных поэтов и менее строгой тематики. Я один из первых дошел до Апухтина, продекламировав его «Мух». Потом появился Петька Лифанов (одноклассник Николая), тоже начавший с Апухтина. Избрал он для дебюта стихотворение «Сумасшедший» и имел успех. После этого Петька специализировался на сумасшедших... Из вокальных номеров можно было отметить одноклассника Заболотского — Николая Сбоева (Николай Георгиевича), который приятным и сильным тенором пел вкупе с каким-нибудь баритоном дуэты вроде «Моряков» или «Ночь пролетала над миром». Николай Заболотский первый ввел в репертуар иронические стихотворения. Особенно удавалось ему чтение одного из «медицинских» стихотворений А. К. Толстого:

Верь мне, доктор (кроме шутки!),—
 Говорил раз пономарь,—
 От яиц крутых в желудке
 Образуется янтарь!

Здорово выходило у Николая: «Проглотил пятьсот яиц» с большим таким и очень убедительным «О». Михаил Быков пытался приучить публику даже к Маяковскому и для этого, чтобы напугать буржуев, прочел стихотворение: „Вот так я сделался собакой“¹³.

Летние каникулы в 1917 году Николай, как обычно, проводил дома в Сернуре. Время было неспокойное, рушились основы старого порядка, борьба за новую жизнь охватывала самые отдаленные уголки России. В Сернур с фронта стали возвращаться революционно настроенные солдаты, полные решимости у себя дома разделаться с виновниками бедствий народа. После февральской революции организовывались крестьянские комитеты и комитеты бедноты.

Однако у сернурских крестьян не было определенной политической позиции. Так, товарищ Алексея Агафоновича по работе на ферме Иван Милютин активно проповедовал революционные идеи и вовлек в подпольную работу нескольких сернурских мужиков, но, как свидетельствует К. Васин, «никакого четкого политического направления у Милютина с друзьями не было. Они с воодушевлением читали и большевистскую литературу, и листовки эсеров и анархистов. Особенно увлекались изданиями общедемократического направления, ратовали за созыв Учредительного собрания, за то, чтобы всех крестьян наделили землей поровну»¹⁴.

Алексей Агафонович в политической борьбе не участвовал, стараясь держаться в стороне от бурных событий времени. Но некоторым из работников на ферме не нравилась строгая

требовательность агронома. Анархически настроенные элементы воспользовались сложившейся ситуацией и добились обыска в доме Заболотских. На Николая большое впечатление произвел солдат с ружьем, под руководством которого искали якобы припрятанные агрономом оружие и продовольствие. Естественно, ничего подобного в доме не оказалось, но взаимоотношения Заболотского то ли с местной властью, то ли с работниками фермы, надо полагать, остались напряженными. Шли летние, предоктябрьские месяцы 1917 года.

Николай в то время затеял создание шуточного детского журнала под названием «Жулик». Первый номер попал в руки отца, который из осторожности изъял все, что касалось политических событий в округе. В результате Николай написал стихотворение-предисловие, несколько строк из которого, как и из других стихов журнала, сохранились в памяти брата поэта:

Я — первый номер «Жулика»,
Обиженный судьбой,—
Истерзанный цензурой,
Нещадною рукой.

Листы мои повыдраны,
В огонь пошла стихи,
И залиты чернилами...

Несмотря на предосторожность отца, дошедшие до нас строки «Жулика» носили явно злободневный характер. Был там, например, такой диалог малолетнего сына со строгим отцом:

«— Вася, сходи к Лялину за селедкой!

— Сто-то неохота.

— Нехота! А в угол хочешь?

— Как это можно, товались папаса? Я сейчас в свой комитет позалуюсь».

А вот отрывок из стихотворения, посвященного тому памяtnому для семьи обыску:

...Ну, кажись, уж все готово,
Но Скворцов заводит снова.
На бочонке он стоит,
Речь такую говорит:

— Вы, ребята, не шумите,
Не кричите, не орите!
Покричать я сам бы рад,
Что долой, мол, агронома,—
Снаряжайте вы солдат,
Пусть поищут они дома...
Пулеметы есть большие
И заряды к ним стальные...

Еще одно стихотворение было посвящено маленькой сестренке Наташе, ее забавному детскому произношению.

«На сундуке, на горшке» —
 Говорит Наташа.
 Как хотите понимайте —
 Это воля ваша.

И закрывши «глазама»,
 Водит нас Наташа.
 Как хотите понимайте —
 Это воля ваша.

«Старая и новая» —
 Говорит Наташа.
 Как хотите понимайте —
 Это воля ваша.

Последняя строфа отражает всеобщие споры, какая власть лучше — старая или новая. Как видно, маленькая Наташа, желая примирить взрослых, говорила, что лучше и та, и другая, и тем самым невольно высказывала смелое для того времени мнение о том, что старая царская власть и новая власть Временного правительства стоят одна другой.

Осенью 1917 года, накануне Октябрьской революции вся семья Заболотских переехала из Сернур в Уржум. Переезд был вызван несколькими обстоятельствами. Видимо, в Сернуре вокруг Алексея Агафоновича сложилась такая обстановка, что на ферме работать ему было уже трудно. В Уржуме же его хорошо знали и могли предложить работу. Кроме того, в Уржум на учение постепенно перебирались дети, и поэтому туда стремились Лидия Андреевна. После переезда поначалу жили у дальних родственников — Перевозчиковых. Вскоре Алексея Агафоновича назначили заведующим Уржумской фермой, на которую после Октябрьской революции перегнали отобранный у помещиков породистый скот, и предоставили ему дом, где расположился кабинет-лаборатория агронома. В 1919 году, когда создалась угроза прорыва армии Колчака к Уржуму, А. А. Заболотский эвакуировал племенной скот в отдаленные деревни, заразился там тифом и долгое время не мог оправиться. После болезни он возглавил Уржумский совхоз, занимался общественно-просветительской работой. В 20-х годах создал в Уржуме краеведческий музей, передав в него свою коллекцию, собранную во время поездок по деревням Уржумского уезда. Среди прочих экспонатов были там древние рукописи на плотной, похожей на пергамент, бумаге, куски старинной кольчуги, зуб мамонта, гербарий местных растений... Для музея были составлены таблицы, отражающие природу и структуру сельского хозяйства края. Брат Николай Алексеевич, Алексей Алексеевич вспоминает, как он по указанию отца изготовил для музея плакат-диаграмму с заголовком «Полезьа и вред, приносимые нашими птицами».

Музей помещался на главной улице города. Видимо, интерес отца к краеведению и местной истории в определенной степени повлиял и на старшего сына.

Для завершения описания личности отца Николая Алексеевича следует сказать, что человек это был незаурядный и самобытный, склонный к анализу окружающего мира, до многого доходивший усилием собственной мысли. В свободные дни любил он уйти подальше от города с рыболовной снастью, со знанием дела располагал ее в уединенном уголке речки и, оставшись наедине, наблюдал природу, размышлял о смысле существования, о своей жизни и работе. Результаты своих размышлений записывал потом в дневник.

Постепенно пришло общественное признание его агрономической деятельности. В 1923 году его чествовали как героя труда и от профсоюзов города преподнесли трогательное послание, сохранившееся в бумагах Заболоцкого:

«Гор. Уржум. 1-го мая 1923 г. № 26

Уважаемый Алексей Агафонович! Сегодня мы, трудящиеся — члены Профорганизаций города Уржума, собравшись здесь в Великий Праздник Пролетариата 1-го Мая — Праздник Труда, приносим Тебе, Алексей Агафонович, свою товарищескую благодарность за 35-летнюю службу в области развития сельского хозяйства.

Не взирая ни на что и не считаясь с трудностями на этом славном, но тернистом пути, — Ты смело шел на борьбу с темнотою и косностью крестьянского мировоззрения и нес свечок сельскохозяйственной науки на улучшение и поднятие сельского хозяйства.

Мы видели Тебя, окруженного боролатыми мужиками, скептически относящимися к Твоим словам, но Ты смело смотрел на будущее, веря в великую силу науки, будил в них сельскохозяйственную мысль, и надежды Тебя не обманули.

Та любовь к делу, которая Тобой проявлялась, и затраченные силы не пропали даром. В настоящее время в той среде, которая когда-то не могла понять тебя, — все более и более прививаются проповедываемые Тобой идеи, и крестьянское хозяйство, руководимое Рабоче-крестьянским правительством, двинулось по пути сельскохозяйственного прогресса.

Вам, старые ветераны труда, — молодое поколение в праздник Труда отдает должное как авангарду начавшейся Революции в сельском хозяйстве, и, ценя Ваш труд, всегда помнит о проделанной работе.

Пусть нравственное удовлетворение послужит Тебе, Алексей Агафонович, платой за тот длительный труд, который Ты отдал на служение народу.

Да здравствует праздник труда — 1-е мая!

Да здравствует Союз Социалистической Советской республики!

Да здравствуют столпы ее — герои труда!»

На послании печать Уржумского уездного Совета профессиональных союзов.

Уржумский дом Заболотских располагался между фермой, где служил Алексей Агафонович, и новым Городским кладбищем. Небольшой участок земли у дома тщательно возделывался хозяином. По шпагатам, прикрепленным к фасаду, поднимался густой хмель. В палисаднике перед тремя окнами росли тыквы и огурцы. Со стороны кладбища было огороженное забором картофельное поле и еще соседский дом. Алексей Агафонович всегда любил цветы и около дома устроил клумбу, за которой ухаживала вся семья. Когда Николай в начале двадцатых годов жил уже вдали от родительского дома, он вспомнил об этом цветнике как об олицетворении семьи, дома и детства:

...Клумбы маргариток,
Розовых гвоздик...
И на оживленной
Асфальтовой панели
Вспомнил и задумался,
Вспомнил и поник¹⁵.

На чердаке уржумского дома была мансардная комната — владение уже повзрослевшего Николая. Сюда нередко приходили его товарищи, интересующиеся литературой, — Михаил Касьянов (особенно часто в 1919 — 1920 годах), Николай Сбоев, Михаил Иванов. Курили табак и махорку. Говорили о жизни, мечтали, читали свои и чужие стихи, спорили о философии и особенно о поэзии. Без устали обсуждали только что написанные собственные стихотворения и никак не могли решить, хороши они или плохи. Очень ценно свидетельство М. Касьянова о поэтических увлечениях той поры. Он пишет: «Мы были тогда под влиянием поэтов-символистов, прежде всего Блока и Белого. Мне нравился еще, и очень, Федор Сологуб. На субботниках я читал его стихи, ставшие к тому времени уже типично эстрадными: «Качели» и «Когда я в бурном море плавал». Николай вразумил меня относительно чеканной краткости, четкости и эмоциональной насыщенности стихов Анны Ахматовой, которые он очень любил. Бальмонта и Игоря Северянина мы к 1919 году уже преодолели. Маяковского мы тогда еще знали мало. Только к лету 1920 г. до Уржума дошла книжка «Все сочиненное Владимиром Маяковским» (изданная в 1919 г. — Н. З.). А до этого нам становились известными лишь отдельные стихи и строки Маяковского. Их привозили из столиц приезжавшие на побывку студенты. Вместе

со стихами приходили и анекдоты о скандалах при выступлениях Маяковского с эстрады. Николай относился к Маяковскому сдержанно, хотя иногда и писал стихи, явно звучащие в тональности этого поэта»¹⁶. Действительно, стихотворение, которое Николай дал в школьный журнал в 1916 году, оканчивалось четверостишием:

И если внимаете вы, исполнены горечи,
К этим моим словам,
Тогда я скажу вам: сволочи,
Идите ко всем чертям!

Из многочисленных юношеских стихотворений, написанных Николаем в Уржуме, сохранилось очень немного. Касьянов запомнил отрывок из посвященного ему стихотворения Заболоцкого:

В темнице закат золотит решетки.
Шумит прибой и кто-то стонет,
И где-то кто-то кого-то хоронит,
И усталый сапожник набивает колодки.
А человек паладин,
Точно, точно тиран Сиракузский,
С улыбкой презрительной, иронически узкой
Совершенно один, совершенно один...¹⁷

Первая строчка этого стихотворения воскресила в памяти М. Касьянова следующий эпизод из жизни юного поэта. Летом 1918 года во время каникул Николай Заболотский поступил на работу секретарем сельсовета в одном из сел в окрестностях Уржума. Вокруг города шныряли бандитские и белогвардейские банды, для борьбы с которыми в Уржум были направлены отряды латышских стрелков. Одной из банд удалось ограбить уржумское казначейство и бежать по направлению к Казани. В погоне за одним из участников налета латышские стрелки попали в село, где служил Николай, и стали допрашивать работников сельсовета. Оказалось, что молодой секретарь действительно видел преследуемого, но не знал, конечно, что его следует задержать или сообщить о нем в город. В результате Николай был сам задержан и отправлен в уржумскую тюрьму. Скоро, однако, недоразумение разъяснилось, и Николай был освобожден. Появилась строка о решетках, которые золотит заходящее солнце, а в семье долго вспоминали, как Лидия Андреевна носила передачи сыну.

Вместе с ломкой старых порядков оживлялась и обновлялась культурная жизнь города. Как ни далек был Уржум от основных культурных центров России, все-таки и в этом небольшом городке явственно ощущалось все возрастающее стремление молодежи к интеллектуально наполненной жизни. Хотя и с запозданием, сюда попадали столичные издания, например,

журнал с «Двенадцатью» и «Скифами» Блока, со стихами Андрея Белого и Есенина, как свидетельствует Касьянов,— книжка Маяковского. Можно думать,— и другие произведения, в которых уже звучали мотивы нового времени. Большое значение для оживления жизни города имел наплыв в 1918—1919 годах спасающейся от голода столичной интеллигенции. Н. А. Заболоцкий с гордостью за Уржум написал в «Ранних годах», что эти люди нашли здесь «добрую почву для работы, понимание и всеобщее поклонение». Среди них были музыканты, артисты, педагоги... Две молодые учительницы, приехавшие из Москвы, оказали несомненное влияние на юных поклонников литературы, в особенности на Николая. Одна из них, Нина Александровна Руфина, стала преподавать литературу в его классе. Когда эта худенькая синеглазая девушка вела урок, никто не мог оставаться равнодушным к ее вдохновенному и в то же время обстоятельному рассказу. Руфина любила и знала поэзию, играла на скрипке, интересно вела школьный литературный кружок и поощряла увлечение поэзией двух его участников—Николая Заболотского и Михаила Касьянова. Другая учительница, Е. С. Левицкая, преподавала естествознание в городском училище. По всей видимости, она тоже была увлечена своей работой, так как в будущем стала научным сотрудником одного из столичных биологических институтов.

Обе учительницы жили на одной квартире, их дом стал местом встречи литературной молодежи. Николай и Михаил часто приходили вдвоем— читали и обсуждали свои стихи, намечали планы литературных вечеров, говорили о литературе, о философии, возможно,— и о новостях естествознания. Руфина и Левицкая, несомненно, почувствовали талант молодого Заболотского, советовали ему больше читать, писать стихи, работать над стилем и, главное, не замыкаться в провинциальной среде, а ехать в центр— учиться. Николай понял тогда, что стать подлинным поэтом можно, лишь получив хорошее образование, и только в столичной среде, где зарождались истоки современной литературы. Видимо, тогда утвердилось у него убеждение, что поэт должен быть человеком безусловно культурным и образованным, что любой талант должен быть оплодотворен знанием, и на основе знания— четко определившимся собственным отношением к миру. Поэт должен быть личностью, а личность свою нужно создавать самому. Детские мечты стали оформляться в реальные жизненные планы. Великая цель требовала решительных поступков.

А пока что 15-летний Николай и его друг, любитель живописи, нервный и хрупкий Миша Иванов отправлялись на лодке вверх по Уржумке за плотину с водяной мельницей и

далеко за городом, у так называемых «камней», ловили рыбу и поверяли друг другу самые интимные тайны. Оба были влюблены, оба собирались посвятить жизнь искусству, оба были полны самыми смелыми надеждами. Впрочем, несмотря на разговоры и чтение стихов, домой все же возвращались с рыбой. Однажды пришли с пустыми руками, и Леля, уже первоклассник единой трудовой школы (бывшего реального училища), втайне завидовавший рыболовным успехам брата, тут же сочинил стишок:

Коля — славный рыболов: каждый день по щуке.
Но сегодня, господа, ни одной-то штуки!..
«Я не я, не виноват», — говорит тут Коля.
А вот Мишка Иванов говорит: «Такая доля».

В стихотворениях, которые читал Николай другу, были река, березы, юношеская любовь, предчувствие необыкновенной жизни. Одно из этих стихотворений, датированное 28 июня 1918 года и переделанное 23 июля того же года, сохранилось у сестер Николая и было опубликовано кировским писателем Л. В. Дьяковым¹⁸:

КУПАЛЬСКАЯ МЕЛОДИЯ

Горячо припадала я к сонным листьям,
Щеки жаром пылали;
Кулики далеко, по прибрежным кустам
Монотонно свистали,
Облака полумглы засыпали
По затишшим лугам.

Мерно полночь пробило вдали за рекой —
Папоротник все мертв, как могyla,
Не вздрогнет, не качнется холодной листвою;
Я ль его не просила,
Я ль его не молила
Показать мне цветок кровяной?

А купальская ночь между тем надо мной догорала,
Бледный месяц угас,
Под клубами тумана река зашептала
В новый утренний час;
Взор испуганных глаз
Это утро еще испугало.

Папоротник стоял упоенный молчаньем,
Зачарован волнистою мглой;
Он заснул под напевы ночных заклинаний,
Убаюканный сладкой мечтой,
Усыпленный прохладой ночной
И реки монотонным журчаньем.

В стихах Заболотцкого-юноши часто пробивались и шутливо-иронические мотивы, под маской серьезности он мог незаметно

перейти к пародии. В 1918 году Николай написал целую полушутливую поэму об уржумской жизни и назвал ее «Уржумиада». В поэме изображались его товарищи Николай Сбоев, Борис Польшнер, Михаил Касьянов и знакомые гимназистки. Строннику патриархальной старины и жизни слитно с природой Сбоеву посвящались следующие строки:

Прохожий этот, так и знай,—
Философ Сбоев Николай.
Он отрицает всю культуру:
Американские замки,
В аптеках разную микстуру,
Пробирки, склянки, порошки...

Даже по нескольким строчкам можно судить, что в ту далекую пору уже зарождались характерные черты будущих шуточных экспромтов Заболоцкого. А сочинял он их всю жизнь, и в большинстве своем эти стихотворения служили средством общения с близкими и друзьями. Видимо, и в юные годы так же, как в зрелом возрасте, сдержанной, сосредоточенной в себе натуре поэта более свойственны были не открытые душеизлияния и непосредственные изъяснения чувств, а маскировка дружеского расположения иронией, шуткой, подсмеиванием над той или иной чертой товарища. Впрочем, это свойство характера Заболоцкого не следует принимать слишком безоговорочно. Во все времена он был откровенен с друзьями и не чуждался открытого проявления чувств, вероятно, в большей степени — в юные годы.

В 1919 году Николай тщательно переписал свои стихотворения в самодельную книжечку с заглавием «Уржум». По свидетельству жены поэта Е. В. Заболоцкой, «до 1938 года Н. А. хранил рукописный сборник „Уржум“. Это была им самим спитая книжечка размером поменьше тетради, сантиметров около двух толщиной... Помнится, там было много стихотворений о природе — о березе в инее, о сверкающем снеге, о звездном небе. Было там и стихотворение „На смерть Кошкина“, о котором есть упоминание в „Ранних годах“» (рукописные заметки Е. В. Заболоцкой).

Так было положено начало обыкновению Заболоцкого собирать свои произведения в рукописные или машинописные сборники, проектировать собрания своих стихотворений. Постепенно выработывалось убеждение, что конечной целью жизненной программы поэта следует считать создание не отдельных стихотворений, а цельной книги, которая смогла бы занять достойное место в сокровищнице русской литературы.

В Уржуме 1918—1920-х годов стал популярным дом учительницы музыки и местной покровительницы искусств Л. Е. Шеховцовой. В этом доме собирались самые разные люди — представители уездной власти, приезжие артисты, молодежь,

имеющая склонность к музыке и поэзии. Порой витал там дух провинциальной богемы и декаданса. Бывали в доме Николай Заболотский с товарищами: Н. Сбоев разучивал и исполнял свои вокальные номера, Гриша Куклин занимался мелодекламацией, М. Касьянов читал стихи. К тому времени Касьянов стал комсомольцем и с 1919 года редактировал уездную газету «Красный пахарь». Николай молодым басом пел романсы. Исполнял он, например, романс «Три юных пажла покидали навеки свой берег родной...» или положенное на музыку, возможно, хозяйкой дома свое стихотворение «Купальская мелодия». Касьянову запомнилось, что в этом стихотворении Николай делал странное ударение в слове папоротник—папоро́тник. Иначе слово не укладывалось в размер.

Между тем намерение ехать учиться в столицу окончательно определилось. Заболотский и Касьянов решили поступать в Московский университет на историко-филологический факультет. Родители Николая, вероятно, одобряли это решение, но семья с трудом сводила концы с концами—собрать старшего сына в Москву и тем более содержать его там никакой возможности не было, тем более что здоровье отца после перенесенного тифа стало неважным. Николаю предстояло содержать себя в основном самому. Как уже говорилось, летом 1918 года он работал в сельсовете. В следующее лето поступил на службу в одно из административных учреждений Уржума. Шла гражданская война. Когда возникла угроза прорыва армии Колчака к Уржуму, Николай эвакуировался в село Кичму. Касьянов вспоминает об этом: «На главной улице я увидел обоз из трех-четырёх крестьянских подвод, на которых лежали тюки дел и кое-какой канцелярский инвентарь. На одной из подвод сидела плачущая машинистка, а остальные сотрудники, в их числе Николай, шли пешком. Николай был в полувоенного вида френче или тужурке, бриджах и сапогах. Вид у него был важный и решительный»¹⁹. Дней через десять, когда колчаковские части были отброшены и положение на фронте выровнялось, учреждение возвратили в город.

Пожоже, что в свои шестнадцать лет Николай Заболотский был уже самостоятельным юношей, четко определившим свою высокую цель в жизни. Ради достижения этой цели он готов был покинуть родной дом и сравнительно сытую жизнь в провинции, учиться, работать, добиваться литературного признания.

Весной 1920 года в средней единой трудовой школе, как стало называться реальное училище, состоялся выпускной акт. Николай окончил школу. По традиции все выпускники сфотографировались, но почему-то без Николая Заболотского. У Е. Н. Спасской, жены уже покойного классного руководителя выпускников, сохранился альбом с фотографиями старого Уржу-

ма, реального училища, кабинетов рисования, физики, химии, актового и гимнастического залов, уржумских педагогов. Есть там и фотография юбилейного заседания уржумского земства в 1914 году с Алексеем Агафоновичем, и вид праздника на рыночной площади в честь 100-летия войны 1812 года, и фотография Митрофаньевской церкви в березовой роще старого кладбища. В этой роще реалисты назначали свидания гимназисткам, встречались, пели, читали стихи. Году в 1914-м Сбоев, Заболотский и другие ученики тянули канат, поднимая увесистый крест на вновь построенную колокольню Митрофаньевской церкви. Кирпичная колокольня была построена на месте старой, деревянной, тоже стала служить (и до сих пор служит) пожарной каланчой. Кстати, вблизи колокольни когда-то стоял дом деда поэта, Агафона Яковлевича, но это не спасло его от пожара — дом сгорел еще в конце прошлого века. Впрочем, вскоре сгорело и само здание пожарной команды... Переехав в Уржум, Заболотские использовали дедовский участок земли (его называли «ободворица») для выращивания сортового картофеля, который очень выручал семью, особенно в голодные 1921—1922 годы.

Итак, окончились годы школьного учения, годы детства. Заболотский читал товарищам написанное им в начале 1920 года стихотворение «Лощман»:

Я гордый лощман, готовлюсь к отплытию,
 Готовлюсь к отплытию к другим берегам.
 Мне ветер рифмой нахально свистнет,
 Окрасит дали полуночный фрегат.
 Вплыву и гордо под купол жизни
 Шепну богу: «Здравствуй, брат!»²⁰

В этих еще почти детских строках хорошо ощущается молодой оптимизм вступающего в жизнь и полного надежд Николая Заболотского. И в конце концов неважно, спутал ли он лощмана с капитаном, как говорил ему Касьянов, или справедливо считал себя пока что только лощманом — знатоком своей скромной уржумской гавани, который вдруг решил плыть к другим далеким берегам.

После окончания учебного года уехали из Уржума учительницы Нина Александровна Руфина (впоследствии Дулова) и Екатерина Сергеевна Левицкая. Вскоре Николай и Михаил получили от них письмо с московскими адресами и точными указаниями, как их найти в большом городе. Руфина и Левицкая обещали помочь устроиться в Москве и подготовиться к вступительным экзаменам в университет. Решено было ехать сразу, не откладывая до начала экзаменов. Касьянов поехал в Шурму попрощаться с родными. А в домике на уржумской ферме усиленно сушили сухари и готовили вещи для предстоящего

путешествия Николая. Хотели даже сшить костюм, чтобы в городе он выглядел вполне прилично, достали материал, но не было ниток. И вот Николай пишет своей тетке в Вятку: «Тетя Миля! У меня до Вас большая просьба: купите мне, пожалуйста, на рынке катушек черных ниток № 40 или 50. Думаю, что денег, которые прилагаю, хватит на него. Нам здесь выдали мануфактуру, и мне к Москве нужно во что бы то ни стало сшить пару. Но ниток нет во всем городе. Переслать нитки можно, вероятно, через т. Щелканова из Губкомла. 18 июня 1920 г.»²¹

Был ли шит тот костюм, история умалчивает, но из письма ясно, что о поездке в Москву тетя Миля уже знала, — значит, это решение в семье обсуждалось обстоятельно, с привлечением родственников в Вятке. Упомянутый в письме Петр Щелканов (1900—1929) — видный вятский комсомольский и литературный деятель. Он работал в губкоме комсомола, заведовал Вятским отделом Госиздата, был одним из организаторов вятского журнала «Зарево». В 1920 году Щелканов выпустил в Вятке свой сборник стихотворений «Гудки» (под псевдонимом Александр Рабочий), в 1921 году он уехал учиться в Москву и затем стал «красным профессором». Каким образом Николай Заболотский познакомился со Щелкановым, неизвестно. Можно полагать, что у Николая к тому времени уже были какие-то связи с вятскими поэтами и журналом «Зарево».

И вот настало время прощаться с семьей, с Уржумом, с детством. Были собраны необходимые документы, одежда, провизия, и в середине лета 1920 года Николай Заболотский вместе с Михаилом Касьяновым и еще одним школьным товарищем Аркадием Жмакиным отправились в Москву. М. Касьянов так вспоминает об этом путешествии: «Мы ехали по реке Вятке до Котельнича, где внедрились в поезд. Посадка была ужасной. Мы, помятые и почти раздавленные, очутились в тамбуре набитого до краев и больше пассажирского вагона. Потом нам удалось попасть в коридорчик около уборной. Там мы и ехали с нашими тремя большими мешками сухарей и другими более мелкими пожитками. Тащились мы от Котельнича до Москвы где-то около четырех суток в жаре, духоте, тесноте. Как-то ночью у нас стащили один из мешков с сухарями, что резко уменьшило наши ресурсы и сказалось впоследствии на московском рационе. Наконец мы прибыли в Москву и очутились на Каланчевской площади...»²²

В Москве и Заболотский и Касьянов поступили сразу в два учебных заведения: на желанный историко-филологический факультет Первого Московского университета и на медицинский факультет Второго Московского университета, сюда — из-за хорошего продовольственного пайка, который полагался студентам-

медикам. Одновременно на двух факультетах учиться было трудно — все время отнимали обязательные занятия и зачеты по медицине. Нерадивых студентов-медиков снимали с довольствия. В результате занятия на историко-филологическом факультете оказались безнадежно запущенными. К середине учебного года усиленный паек был значительно урезан и на медицинском факультете. Николай Заболотский решил покинуть университет — голодать на ненужном ему медицинском факультете не было смысла. В конце зимы 1921 года, не закончив первого курса, он вернулся в Уржум.

Недолгая жизнь в Москве не прошла для молодого Заболотского бесследно: литературные вечера и диспуты в Политехническом музее, где выступали Брюсов, Маяковский и другие поэты, посещение кафе поэтов «Домино», где бывали Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, спектакли в Театре Мейерхольда — все это позволило провинциальному мальчику сделать первые шаги к непосредственному знакомству с миром современной литературы и искусства.

Однажды Заболотский и Касьянов занимались в библиотеке Румянцевского музея. Николай вышел покурить в курительную комнату. Возвратившись, положил перед товарищем листочек с только что написанным стихотворением, которое Касьянов тут же переписал и запомнил на всю жизнь. Вероятно, это наиболее раннее стихотворение Заболотского, посвященное городской теме. Здесь оно публикуется впервые.

Из окон старой курильни,
Где паркет трещит лощеный,
Посмотри на дряхлую площадь,—
Там еще не падают зданья,
Там еще не рошцут скифы,
Голубые глаза округлив.
Там за поездом автомобилей
Еле скачет на чалой кляче
Мирликонец желтый и злой.
Ковыляют за ним скифы,
И мальчишка ловит сопливый
Малиновую епитрахиль.
В окне старой курильни
Хочет охочий Арий
И тощих пощечин ждет.

(1920)

Оба друга настойчиво упражнялись в писании стихов, пробуя разные стили и формы, подражая различным образцам и поэтам.

Не пропало безрезультатно и учение на медицинском факультете — знание химии, физиологии, анатомии пригодились Заболотскому для формирования его мировоззрения. С детства его увлечение поэзией сопровождалось интересом к естественным

наукам. Этому способствовала и деятельность отца, и обучение в реальном училище, и беседы в уржумском доме московских учительниц Руфиной и Левицкой, и, наконец, учеба на первом курсе медицинского факультета.

Касьянов же увлекся медициной, окончил медицинский факультет и впоследствии стал видным специалистом по патологической анатомии и судебной медицине. В 1939 году он становится военным медиком. Великую Отечественную войну закончил полковником, главным паталогоанатомом одной из армий. После войны он — доктор медицинских наук, автор ряда научных монографий, научный сотрудник и преподаватель московских медицинских институтов.

Дома в Уржуме Заболотский пробыл недолго — он не собирался отказываться от намерения во что бы то ни стало получить гуманитарное образование и стать поэтом. Летом 1921 года Николай снова уехал из родных мест, но на этот раз — в Петроград, решив поступать в Педагогический институт им. Герцена на отделение языка и литературы.

Итак, судьба поэта определилась — в Ленинграде он окончил институт, познакомился с ленинградскими поэтами и художниками, после трудных поисков нашел свой поэтический голос и свои темы, женился... Впереди была нелегкая, порой трагическая жизнь, всецело отданная достижению той великой цели, которая открылась еще семилетнему мальчику в далеком Вятском крае.

III

Заболоцкий-поэт сформировался в обстановке города 20-х годов, вдали от тех мест, где проходили его детство и юность. Наступило новое время, которое не только воспитывало, но и закаляло и испытывало человека на прочность его жизненных принципов. И само время, и стремление молодого человека к самостоятельному усвоению и оценке окружающей жизни предопределили совершенно новое направление в развитии личности поэта после его приезда в Петроград. Тем не менее многое в цельной и рано определившейся натуре Заболоцкого берет начало в первом периоде его жизни. Черты характера, интересы, отношение к природе зародились в детстве и потом развивались, усложнялись, воплощались в строки стихов. Первоначальные впечатления бытия служили основой развития его личности и творчества. Поэтому для понимания направления мысли Заболоцкого, его натурфилософских представлений и в конечном счете его поэзии, знание обстоятельств детства поэта имеет, может быть, не меньшее значение, чем изучение его литературного окружения в последующие годы.

В автобиографии он писал: «Семилетним ребенком я уже выбрал свою будущую профессию». Это было настолько фатально и почти сверхъестественно, что он сам потом удивлялся и в стихах, обращаясь к своей музе, восклицал:

Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли...²³

(1946)

Заболоцкий оставался верен своему призванию, и никакие препятствия не могли заставить его отказаться от избранного пути. Он ценил в себе это постоянство и, бывало, старался воспитать его в своих детях. «Слава и деньги рано или поздно придут сами собой,—говорил он,—не это главное; главное в жизни—выбрать свое дело и делать его с любовью и умением». Вся нелегкая жизнь поэта служила доказательством, что он неизменно следовал этому своему принципу и всякое отступление от него под влиянием обстоятельств воспринимал как величайшее несчастье. И писал в стихах:

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму,—
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

(1952)

С детских лет источником вдохновения поэта был не только внешний мир, но и сфера внутренних переживаний, его раздумья над сущностью внешних проявлений природы и человеческой жизни. Так же как в детстве маленький Коля часами мог сидеть в одиночестве и сосредоточенно размышлять, так и для взрослого Заболоцкого процесс внутренне организованного и целенаправленного мышления стал жизненной потребностью и основой творчества. В 1921 году он писал Касьянову из Петрограда в Москву: «Завидую тебе, что ты много, видимо, подумал, лежа в больнице». И через двадцать лет он будет воспринимать способность мыслить как величайший дар, которым природа наделила человека.

О сфере интересов поэта можно судить по всему его творчеству, ибо в основе поэзии Заболоцкого результат его размышлений над теми или иными проблемами мироздания. Важнейшим источником смыслового наполнения стихотворений стали его натурфилософские представления. И истоки этих представлений мы опять-таки находим в обстоятельствах детства Николая Алексеевича. Постоянное общение с природой, агрономическая деятельность отца, молчаливое участие в беседах агронома с крестьянами развивали в мальчике врожденную

склонность к размышлениям и давали определенное направление его мысли. Преданность Алексея Агафоновича своему делу, его отношение к природе и крестьянам, его врожденная любознательность и многогранность интересов не могли не оказать влияния на формирование мировоззрения старшего сына. Сам поэт вполне сознавал это влияние, хотя порой и старался скрыть его за принципиальной самостоятельностью собственных поисков. Брат поэта Алексей Алексеевич свидетельствует, что Николай Алексеевич всегда с благодарностью вспоминал отца: «В семье нередко посмеивались над любовью отца к философствованию, но я не помню, чтобы Коля шутил по этому поводу. Отца он всегда любил и очень уважал. Уже в послевоенные годы в одном из писем он писал мне, что отцу он обязан многим, что от него в большой степени наследовал он и свои творческие возможности... Слов нет, все мы очень обязаны и нашей маме, мягкой, доброй, сердечной. Более всего думала она о том, чтобы все мы стали хорошими людьми — справедливыми и добрыми»²⁴.

В 1929 году Николай Алексеевич послал в Вятку (ныне г. Киров) уже тяжело больному отцу только что выпедшую первую свою книжку стихов «Столбцы». Алексей Агафонович подержал книжку сына в руках и с трудом прочитал дарственную надпись: «Дорогому папе — благодарный сын. Н. Заболоцкий. 12 авг. 1929 г.». Вскоре Алексей Агафонович умер.

В 1933 году Н. А. Заболоцкий посвятил отцу свою поэму «Птицы». В поэме старый учитель и его ученик изучают строение голубя, пытаясь проникнуть в тайну полета, которой владеет птица. К уроку и к человеческой мысли приобщаются слетевшиеся со всей округи пернатые обитатели земли. Человек и птицы, человек и вся природа выступают в едином устремлении к знанию и совершенству. Старый учитель утверждает:

...Даже в потемках науки
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе
мира, где все перемены направлены мудро
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы
в новые отлиты были, лучшего вида сосуды.

Образ старика-учителя навеян личностью отца. Правда, позднее посвящение отцу было зачеркнуто, да и сама поэма не включалась автором в свод его произведений. Но все-таки Заболоцкий не уничтожил поэму, как он поступал со многими забракованными произведениями, — сохранял ее, а значит, поэма была чем-то дорога ему. Не ощущением ли связи своих натурфилософских поисков с миром детства, с миром отца?

В 1948 году в стихотворении «Приближался апрель к середине» Заболоцкий изобразил аллегорическую картину рождения человеческого знания. В этом стихотворении образ человека с открытой книгой и непечатой ковригой хлеба, заново открыва-

ющего для себя столь знакомый окружающий мир, безусловно восходит к впечатлениям далекого детства.

Николай Алексеевич хранил в своих бумагах фотографию, где Алексей Агафонович снят среди слушателей агрономических курсов. В конце жизни поэт заказал портрет отца, который и был сделан с той фотографии.

Вместе с Алексеем Агафоновичем будущий поэт бывал в русских и марийских деревнях, видел, как трудятся крестьяне, слушал, о чем они говорили. Он учился и играл с крестьянскими детьми. Сельский житель представлялся ему не только работником, но и воплощением особого мировоззрения, связанного с постоянным активным общением с природой. Вероятно, в представлении мальчика крестьянин вписывался в окружающую природу, становясь ее составной частью. В таком видении мужика уже была исходная позиция для зарождения будущих представлений поэта о соотношении человека и природы в более широком плане.

В наибольшей степени взгляды Заболоцкого на взаимозависимое существование природы и крестьянина проявились в поэме «Торжество земледелия». Социальное совершенствование человеческого общества он связывал с преобразованием всей природы и внесением в ее дремучий мир гармонического научного начала. Не случайно эта проблема решалась Заболоцким на том материале и в такой образной системе, какие с детских лет были ему близки, понятны и привлекательны. Собственно говоря, в период создания поэмы (1929—1930 годы) он не видел, как реально происходила социальная перестройка деревни, а более основывался на умозрительной концепции и романтически окрашенных детских впечатлениях. Не случайно в его поэме героем переустройства сельской жизни и поборником научного преобразования земледелия выступает солдат. Конечно, солдат, прошедший империалистическую войну и вернувшийся с фронтов гражданской, был характерной фигурой того времени и естественным проводником новых идей в деревне. Но как не предположить, что за обобщающим образом поэт видел и того солдата, что устанавливал в Сернуре Советскую власть, и даже того сапожника-подпрапорщика в окрестностях Сернура, который еще до революции мечтал о коллективном крестьянском хозяйстве?

Крестьянской теме в творчестве Заболоцкого принадлежит не очень большое, но все-таки заметное место. Двуединство крестьянин—природа было наиболее удобной моделью для разработки темы человек—природа и, возможно, только полное неприятие критикой 30-х годов поэмы «Торжество земледелия» побудило Заболоцкого избегать крестьянской темы в дальнейшем творче-

стве, хотя время от времени крестьяне-мужики все-таки появлялись в его стихотворениях. Так, строки стихотворения «Отдыхающие крестьяне» (1933) во многом повторяют некоторые места из «Торжества земледелия» и воспроизводят с детства памятные поэту картины вечерних бесед и развлечений мужиков:

Толпа высоких мужиков
Сидела важно на бревне.
Обычай жизни был таков,
Досуги, милые вдвойне.
Царя ли свергнут или разом
Скотину волк на поле съест,
Они сидят, гуторя басом,
Про то да се узнав окрест.

В других стихотворениях крестьяне рассказывают старинные предания («Голубиная книга»), подают поэту поминальную милостыню («Это было давно»), погибают в изгнании («Где-то в поле, возле Магадана»), ходоками приходят к Ленину в поисках правды («Ходоки»). И в поздние годы жизни поэт, бывало, говорил о крестьянской теме как о близкой ему.

Услышанные в детстве народные сказания, семейные предания о почти былинном деде Агафоне заронили в душу будущего поэта интерес к народному эпосу, к русскому фольклору. Недавно он писал:

Как сказка — мир. Сказания народа,
Их мудрость темная, но милая вдвойне,
Как эта древняя могучая природа,
С младенчества запали в душу мне.

(1937)

После отъезда из Уржума Н. А. Заболоцкий почти не жил в деревнях среди крестьян и почти уже не имел возможности изучать их жизнь изнутри — не как сторонний наблюдатель. И о крестьянской жизни он еще с большим основанием мог бы сказать то, что сказал о природе: «Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях» («Ранние годы»).

Что касается картин природы, то тут поэт не совсем точен — приходилось ему годами жить и не в городах, и среди дикой природы (например, на Дальнем Востоке). Но его первоначальное отношение к природе, действительно, выработалось в детстве и в дальнейшем лишь развивалось и пополнялось. Детское восторженное восприятие природы, окрашенное заботливо-хозяйским отношением к ней отца-агронома, еще тлеющим в народе языческим одушевлением и почитанием, послужило благодатной почвой для разработки поэтических и натурфилософских концепций. И, подобно вдохновению, порой пронзало

Николая Алексеевича чувство особой близости ко всему мирозданию, когда каждое дерево, каждая травинка становились источником его «откровений, восторгов и мук» («Гомборский лес»).

У знавших Заболоцкого в его последний период жизни иногда вызывала недоумение его склонность к сидячему образу жизни, нежелание активно наблюдать красоты природы, сопротивление попыткам окружающих оторвать его от письменного стола и вытащить на прогулку. Когда его спрашивали, как же, несмотря на такой образ жизни, он пишет прекрасные стихи о природе, он отвечал примерно следующее: «Природа во мне самом. Я ее так хорошо представляю и люблю—и речки, и деревья, и цветы, и птиц,—что и без постоянного общения с ними все отлично помню». Это накопление образов природы в душе поэта началось с детства—с сернурских садов и роц, с поездок по зимним и весенним полям и лесам Вятского края.

В этом отношении примечателен образ березовой рощи в стихах Заболоцкого, которая прошла сквозь всю его жизнь. Березовые рощи окружали поэта на заре жизни в окрестностях Казани, затем он бродил по старым священным березовым рощам Сернура, назначал юношеские свидания в Уржумской березовой роще около реального училища и Митрофаньевской церкви, заготавливал дрова в подмосковных рощах осенью 1920 года. И, наконец, после трудных лет приехав в 1946 году в Москву, поселился за городом в доме на краю березовой рощи и написал свое знаменитое стихотворение «В этой роще березовой». В скоплении белых стволов, пронизанных солнечным светом и птичьим пением, как в фокусе, увидел он всю свою жизнь и просил музу-иволгу: «Спой мне, иволга, песню пустынную, песню жизни моей». А на склоне лет в стихотворении «Подмосковные рощи» он скажет о дубравах и березниках:

О эти рощи Подмосковья!
С каких давно минувших дней
Стоят они у изголовья
Далекой юности моей!

Всю жизнь поэт собирал и бережно хранил в душе образы и картины природы. То был материал для его размышлений и стихов.

Немаловажное значение в творчестве Н. А. Заболоцкого имели его юношеские увлечения рисованием и пением. Живопись была всеобщим увлечением уржумской молодежи—двоюродный брат Николая Н. Попов был художником, прекрасно рисовал школьный друг Николая Миша Иванов, да и сам Заболоцкий писал акварелью и маслом. Это юношеское увлечение в тех или иных проявлениях не оставляло поэта всю жизнь. Ему всегда, и особенно в молодые годы, нравилось общество

художников, он посещал мастерские и выставки, в молодости любил рисовать карандашом или тушью небольшие картинки, изображающие стилизованных человечков или аллегорические фигуры. Но самое главное, он видел внешний облик мира глазами художника и в известной степени перенес живописный метод в образную, изобразительную систему своего стиха. Потом он напишет:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Не только в изображении примет человеческой души, но еще в большей степени—в четком представлении о расположении предметов, описании деталей, запечатлении контрастов, подборе эпитетов—во всем ощущении мира Заболоцким чувствуются глаз и фантазия художника. В этом отношении очень интересно восприятие стихотворений Заболоцкого В. Пастернаком. По дневниковым свидетельствам З. А. Маслениковой, Борис Леонидович сказал ей в конце 1958 года: «Когда он (Н. А. Заболоцкий.— Н. З.) тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть...»²⁵

Интерес Заболоцкого к живописи, как и все другие его увлечения, был весьма избирателен и пристрастен и служил главному делу его жизни—поэзии. Поэтому-то его увлечение различными мастерами в те или иные периоды жизни (Филонов, Шагал, Брейгель, Рерих, Рокотов, Боттичелли и др.) почти точно соответствует конкретным литературным задачам, которые он в то время решал.

Способности Николая Алексеевича к рисунку, его природная аккуратность и упорство в достижении поставленной цели позволили ему в 1939 году освоить профессию чертежника, что в значительной степени повлияло на его судьбу в 1939—1944 годах в период жизни на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и Казахстане.

С детских лет сохранилась у Николая Алексеевича и любовь к песне. Несколько позднее она перешла в склонность слушать классическую музыку. У Николая Алексеевича был приличный музыкальный слух и голос. В студенческие годы он пел, бывало, с товарищами «Вечерний звон», «Быстры как волны», «Черный ворон», а также напоминающие детство духовные песнопения. Потом с поэтом Д. Хармсом терпеливо разучивал на два голоса романс Глинки «Уймись, волнения страсти». В 30-х годах брал, бывало, гитару и пел «Ах, вы сени, мои сени» (пел эту песню когда-то и Алексей Агафонович), «Есть одна хорошая песня у

соловушки», «В глубокой теснине Дарьяла», грузинскую «Сулико». Одно время, когда работал чертежником на Дальнем Востоке, после трудового дня садился у барака и в немногие свободные минуты светлыми летними вечерами пел с товарищами старинные и современные русские и украинские песни. После 40-х годов Николай Алексеевич почти не пел, но зато покупал пластинки и в часы отдыха слушал музыку своего любимого композитора Бетховена или произведений Моцарта, Чайковского, Равеля, Прокофьева, Шостаковича и некоторых других композиторов. Изредка ходил на концерты симфонической музыки (в Ленинграде — чаще, в Москве в последний период жизни — реже).

Заболоцкий в известном смысле и сам был композитором — он умел различать гармонические звуки пространства и воплощать их в словосочетаниях стиха. Музыку в своем стихе он осознал и принял не сразу. Одно время даже отождествлял ее с эмоциональным началом и в противоположность этому началу утверждал лишь мысль как основной элемент поэтического творчества. В стихотворении «Предостережение» он писал:

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства —
Там не ища, поэт, душе своей убранных.

(1932)

В этих строках Заболоцкий следовал поэтической декларации обериутов — литературной группы, в которую он входил в молодые годы. В декларации сам Заболоцкий в конце 1927 года написал: «И мир, замусоленный языками множества глушцов, запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм»²⁶. Но в том же году, когда было написано «Предостережение», музыка природы властно ворвалась в стихи поэта:

А там внизу — деревья, звери, птицы,
Большие, сильные, мохнатые, живые,
Соплились в кружок и на больших гитарах,
На дудочках, на скрипках, на волынках
Вдруг заиграли утреннюю песню,
Встречая нас. И все кругом запело.

(Утренняя песня. 1932)

...Над селеньем
Всходил туманный рог луны,
И постепенно превращалось в пеню
Шуршанье трав и тишины.
Природа пела. Лес, подняв лицо,
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом
Звенела вся, как звонкое кольцо.

(Лодейников. 1932)

Музыка звучит и в более поздних стихотворениях поэта. Вспомним хотя бы «Творцы дорог» (1947):

Когда горят над сопками Стожары
И пенье сфер проносится вдали,
Колокола и сонные гитары
Им нежно откликаются с земли.
Есть хор цветов, не уловимый ухом,
Концерт тюльпанов и квартет лилей.
Быть может, только бабочкам и мухам
Он слышен ночью посреди полей.
В такую ночь соперница лазурей,
Вся сопка дышит, звуками полна,
И тварь земная музыкальной бурей
До глубины души потрясена.
И засыпая в первобытных норах,
Твердит она уже который век
Созвучье тех мелодий, о которых
Так редко вспоминает человек.

Звучание природы в поэзии Заболоцкого — это почти нетронутая тема в анализе его творчества. Поистине поэт не только видел природу, но и слушал ее явные и тайные голоса. Он принял музыку в строй своего стиха и писал в конце жизни о работе поэта: «Чтобы торжествовала мысль, он воплощает ее в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль-Образ-Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт».

Заманчиво было бы проследить преемственность юношеских стихотворений и зрелого творчества Заболоцкого. Однако это сделать довольно трудно, потому что слишком мало сохранилось ранних произведений поэта, слишком внезапным было овладение поэтическим мастерством и обретение самостоятельности в литературе. До 1926 года, а к этому времени была написана толстая тетрадка позднее утраченных стихотворений, Заболоцкий не нашел еще своего собственного пути в поэзии и подражал «то Маяковскому, то Блоку, то Есенину» (из автобиографии). Читая в 50-х годах «Дневник» Делакруа, он подчеркнул в книге слова: «Все начинается с подражания... Рафаэль, величайший из живописцев, был наиболее склонен к подражанию...» 1926 год стал переломным в творчестве Заболоцкого. Он как будто сразу нашел себя и решительно отмежевался от своего раннего творчества. Всегда стремился походить лишь на самого себя, и вот, наконец, это ему удалось. Кстати, обрел он свой поэтический голос в результате того, что нашел свою тему. Тема родилась на стыке деревенского прошлого и городского настоящего — он остро почувствовал и осознал контрасты городской жизни как следствие отрыва городского человека от согласного существования с природой. «Знаю, что запутываюсь в этом городе, хотя дерусь

*Н. А. Заболоцкий.
Ленинград, 30-е годы.
(Публикуется
впервые.)*



против него»,—писал он в 1928 году своей будущей жене Е. В. Клыковой. В дальнейшем эта тема расширялась, видоизменялась. Мысль о враждебности города природе развивалась в представлении о противоречиях внутри всей природы, а город, так же как и человек, включенные в круг природы, заняли в ней присущее им место.

По-видимому, стихотворения, признанные самим поэтом и позднее вошедшие в его печатные и рукописные сборники, в значительной степени отличаются от написанного юным Заболоцким. Можно предположить, что в первых поэтических опытах было больше душевной открытости, лиризма, возможно, даже сентиментальности. Хотя и там уже проявлялись черты, которые выдвинулись в блестящий поэтический гротеск 1926—1928 годов и особенно в своеобразную иронию шуточных стихов, которые поэт писал до конца своих дней.

Не только в стихах, но и в повседневной жизни Николай Алексеевич нередко прибегал к иронии и шутке. Это помогало ему избегать открытых проявлений чувств и сохранять в неприкосновенности свой внутренний мир, где были и мучительные раздумья, и восторги, и горькие переживания. И стихам своим он придавал внешне сдержанный облик, за которым внимательный читатель должен был увидеть, как он писал, «все играло ума и сердца». В юношеских стихах это «играло» было ближе к поверхности, в дальнейшем стало сложнее и ушло вглубь.

Так же, как не любил Заболоцкий открывать собеседнику сокровенные стороны своей души, не склонен он был обнаруживать истоки ее формирования. Он всегда избегал разговоров о годах детства, о родительском доме, о времени учебы в Сернуре, Уржуме и даже в Ленинграде. Эти темы были явно неприятны для него и, если кто-нибудь начинал расспрашивать его об Уржуме, о родителях, о ранних увлечениях, он хмурился, замолкал или начинал говорить о другом. И происходило это совсем не потому, что Николай Алексеевич не хотел касаться дорогих его сердцу сокровенных воспоминаний. Было в начале жизни поэта нечто такое, что он постарался изжить в себе и забыть, что-то несоответствующее его дальнейшей жизненной программе, что-то болезненно отзывающееся в нем всю жизнь.

Не рез сетовал он на трудный характер всей семьи Заболотских. С горечью говорил, бывало, что у Заболотских не может быть близких друзей, что они слишком погружены в самих себя и не способны жертвовать своим внутренним миром ради близких. В зрелые годы не стремился к особому сближению с сестрами и даже с братом, которого особенно любил... Что же не нравилось ему в раннем периоде жизни, от чего он хотел избавиться, отмежеваться? Семейные ссоры и трудный характер родных? Юношеская сентиментальность? Самоуверенная ограниченность провинции? Мещанские или мелкобуржуазные настроения определенной части уржумского окружения тех лет? Трудно дать однозначный ответ на эти вопросы.

В уже цитированных строках стихотворения «Подмосковные рощи» Заболоцкий первоначально написал «утрюмой юности моей», затем исправил: «тревожной юности», но и это определение не удовлетворило его, и он ставит нейтральное слово — «далекой юности моей». В далекой юности сливается все — и утрюмое, и прекрасное, и то, что ранило душу мальчика, и то, что стало ему дорогим на всю жизнь.

В 1955 году Николай Алексеевич написал автобиографический очерк «Ранние годы» в основном о предреволюционном своем детстве. В этом небольшом произведении он несколько отстраненно, но с большой внутренней теплотой, иногда иронией

описывает свою детскую жизнь. Особенно важно для него было обратить внимание читателя на отдаленность и непохожесть его детства и следующего за ним периода жизни. Он подчеркивал раннее проявление своих литературных наклонностей и осознание призвания писателя, а также огромное впечатление, которое производила на него в детстве природа, — но в остальном избегал каких-либо указаний на взаимосвязь детских лет и зрелого периода жизни. В следующем, 1956 году он снова вернулся к автобиографии, написал восемнадцать страниц о событиях 1938 года, и, кажется, собирался продолжить это описание по крайней мере до 1944 года. (Сохранились сделанные им выписки из писем тех лет.) Рассказывать же о времени своей юности ему как будто не хотелось.

Характеру Заболоцкого не свойственно было раскрывать внутренние истоки своей личности, хотя поэт, видимо, думал о начале своего развития, анализируя себя и доискиваясь закономерностей формирования своей души. Не случайно в одном из стихотворений писал:

Припоминая отрочества годы,
Хотел понять я, как в такой глуши
Образовался действием природы
Первоначальный строй его души.
Как он смотрел в небес огромный купол,
Как гладил буйвола, как свой твердил урок,
Как в тайниках души своей баякал
То, что еще и высказать не мог.

Это сказано о другом человеке, который таил в себе совсем иные помыслы, но чтобы понять, как развивается человеческая душа, поэт обращался и к своим годам отрочества, изучал действие природы и всей обстановки детства на первоначальный строй собственной души.

С детства у Николая Алексеевича выработались определенные жизненные принципы, которым он старался следовать всю жизнь. И прежде всего — это принцип самодисциплины, необходимый для достижения поставленной цели. Это был человек, который всегда умел анализировать самого себя и безжалостно отбрасывать то, что мешало идти намеченным путем в жизни и в литературе. Эта жесткость к себе, а иногда и к окружающим, и выразилась в известном стихотворении, где сказано о воспитании души:

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

И вот, в соответствии с программой воспитания собственной души, некоторые черты характера, интересы и наклонности,

сформированные в детские годы, Заболоцкий перенес в новую, самостоятельную жизнь, но кое от чего решительно отмежевался. Многие в себе самом стремился создать заново — самостоятельно.

В заключение я приношу глубокую благодарность всем лицам, в письмах и личных беседах сообщившим мне сведения о жизни семьи Заболоцких, о детстве и юности Николая Заболоцкого. Особенно я благодарен брату поэта А. А. Заболоцкому, сестре поэта Н. А. Заболоцкой, моей маме Е. В. Заболоцкой, друзьям детства поэта М. И. Касьянову и Н. Г. Сбоеву, ученому-краеведу и писателю К. К. Васину.

1985

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Сябгатуллин И. Ферма, да не та // Веч. Казань, 1983, 25 июля.
- 2 Дьяконов Л. В. Вятские годы Николая Заболоцкого // Киров. правда, 1978, 8 мая.
- 3 Письмо А. А. Заболоцкого к брату от 17 декабря 1954 года хранится в архиве автора статьи. Первая публикация цитаты: Вопр. лит., 1979. № 11.
- 4 Васин К. К. Жар-Птица // Васин К. К. Кузнец Песен. Йошкар-Ола, 1976.
- 5 В письме В. В. Гольцеву Н. А. Заболоцкий писал: «...крестьяне самых некультурных наших губерний отлично знают Пляды, только называют это созвездие не Плядами, а Утиным Гнездом» // Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1984. Т. 3. С. 330.
- 6 О людях Сернура см.: Васин К. К. На земле Онара. Йошкар-Ола, 1983. С. 176—181.
- 7 Там же. С. 180.
- 8 Заболоцкий Н. А. Ранние годы // Указ. соч. 1983. Т. 1. С. 498.
- 9 Там же. С. 496—497.
- 10 Там же. С. 496.
- 11 Там же. С. 497.
- 12 Касьянов М. И. О юности поэта // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 32.
- 13 Касьянов М. И. О юности поэта. Цитируется по рукописному варианту. Хранится в архиве автора статьи.
- 14 Васин К. К. Жар-Птица. С. 154.
- 15 Дьяконов Л. В. Вятские годы Николая Заболоцкого.
- 16 Касьянов М. И. О юности поэта. Цитируется по рукописному варианту.
- 17 Там же // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 34.
- 18 Дьяконов Л. В. Детские и юношеские годы поэта // Там же. С. 29.
- 19 Касьянов М. И. О юности поэта // Там же. С. 33.
- 20 Там же. С. 34.
- 21 Дьяконов Л. В. Вятские годы Николая Заболоцкого.
- 22 Касьянов М. И. О юности поэта. Рукописный вариант.
- 23 Здесь и далее стихотворения Н. А. Заболоцкого цитируются по изданию: Заболоцкий Н. А. Указ. соч. Т. 1.
- 24 Письмо А. А. Заболоцкого от 28 сентября 1981 года хранится в архиве автора статьи.
- 25 Масленикова З. А. Портрет поэта (из дневниковых заметок) // Лит. Грузия, 1978. № 10—11. С. 291—292.
- 26 Заболоцкий Н. А. Указ. соч. Т. 1.

София Парнок

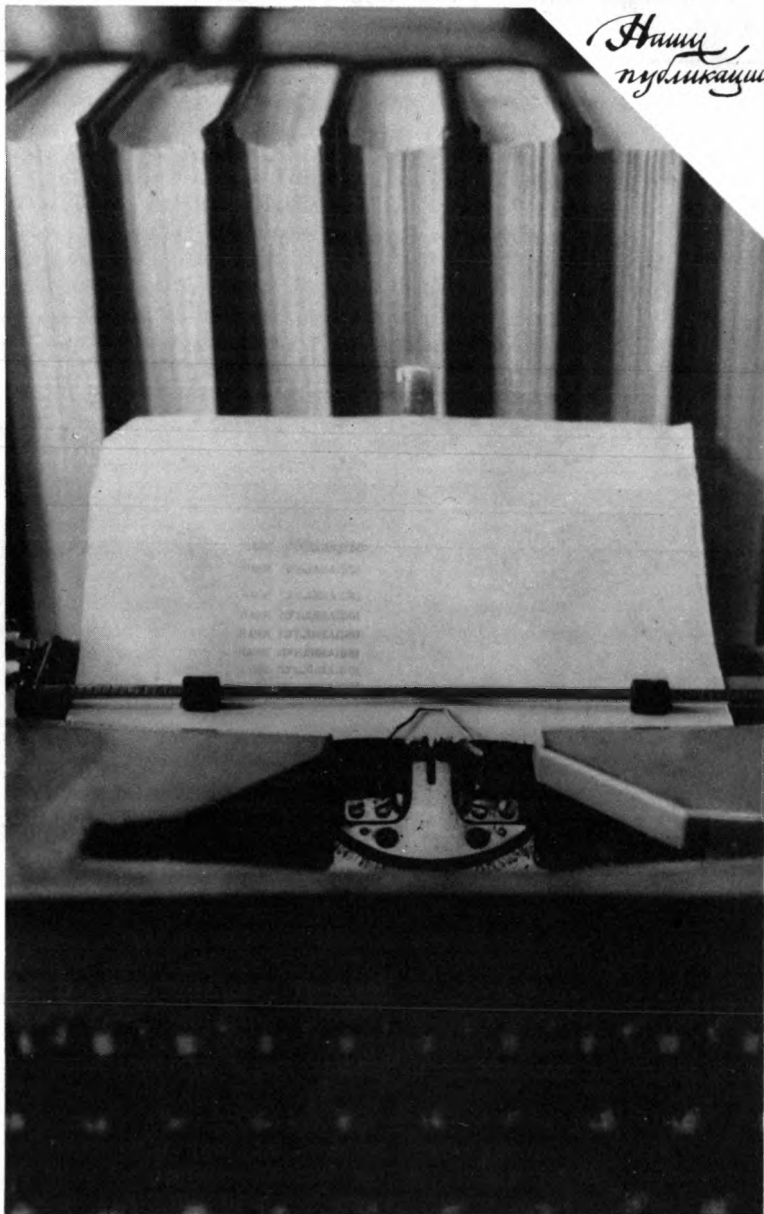
* * *

Я воскрешенья не хочу.

Ф. Сологуб

Вчера ты в этой жизни жил,
Был на меня твой взгляд приподнят,—
И вот, сам дьявол услужил,
Тебя являя мне сегодня:
В сафьянный вклеен переплет,
Ты на листе старинной книги.
Бровей все так же крут разлет,
Все так же лба покоен выгиб.
И лиходумных глаз мягка
Монашеская поволока,
И та же алчность и тоска —
Твой рот, прорезанный жестоко.
Лишь милой вольностью одежд
Век отдаленный обозначен,—
Ревнивый, тощий смокинг где ж?
Докучно стан твой им не схвачен.
Груди не очертил жилет
Самодовольным полукругом,—
На тьме волос твоих берет,
Плаща зыбится ткань упруго.
И складка каждая вольна —
Здесь широка, там снова уже —
Атласа темная волна
У шеи тает в пене кружев...
В безмерный час тоски земной
О смерти, об иной отчизне,
Открыто дерзко предо мной
Свидетельство нетленной жизни.

*Анна
путешественница*



Живое слово дороже мертвой буквы.

(ПОГОВОРКА)

Алексей Ремизов

ГОЛУБОЙ ЦВЕТOK

Фрагменты из книг «Подстриженными глазами»
и «В розовом блеске»

*Подготовка текста и приме-
чания Людмила Букиной*

«Сутулый, схожий чем-то с Коньком-Горбунком, чуть-чуть впрысодочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и кривоватый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно,— пригнувшись к тому, что излетает из выпяченных уст. Уста же глаголят нечто скорбное, или рекут гневное, или лепечут нежное, или изливают сердечное, и все это в изысканном, но в таком русском слове, какое обмывалось на красных блюдах, протиралось распшитыми полотенцами, хоронилось на божницах либо доходило к нам в кованых родительских сундуках.

О, конечно, все это было стилизацией! Вся жизнь была стилизацией, и вся письменность тоже — почти шуткою, забавой, но сколь роковой забавой и какою душераздирающей шуткой! Если на свете бывала арлекинада не на подмостках, а в обыденной человеческой жизни, то на русской земле страшнейшие и несчастнейшие арлекины, которым вкусить земное блаженство мешала раз и навсегда надетая маска, бывали не однажды в литературе, и среди них, может быть, заглавным был Ремизов».

Так пронизательно охарактеризовал одного из оригинальнейших русских художников слова начала века Константин Федин в своей едва ли не лучшей книге «Горький среди нас».

Ремизов написал много книг. А если быть точным — восемьдесят две: на две больше, чем число лет, которые он прожил. Он родился в Москве, в богатой купеческой семье, 24 июня 1877 года. Умер 26 ноября 1957 года, с советским паспортом, в Париже. Большую часть архива завещал Родине: бумаги хранятся в Пушкинском Доме.

Проза Ремизова воскрешает его скитания по глухим городам России (роман «Часы», 1908; повести «Пятая язва», 1912, «Неуемный бубен», 1910 и др.), впечатления детства, купеческой старины, московского фабричного и уличного быта (роман «Пруд», 1908), пересказывает «допетровский язык» предания, апокрифы, легенды, стремится обнажить эмоциональное, духовное начало мифа, сказки, освободив их от обыденности штампованного восприятия («Лимонарь, сиречь Луг духовный», 1907; «Посолонь», 1907; «Доука и балагурье», 1914 и др.). В зарубежную пору его жизни складывается цикл автобиографических произведений («Взвихренная Русь», 1927; «По карнизам», 1929; «Подстриженными глазами», 1951; «В розовом блеске», 1952), а также неизданное: «Иверень», «Петербургский буюрак», «Учитель музыки».

Часть из того, что было создано Ремизовым, вошло в его «Избранное», выпущенное издательством «Художественная литература» в 1978 году.

Ремизов был великий фантазер, книжник и каллиграф. У него даже горб вырос от вечного сидения за книгой. Своему биографу Н. Кодрянской он с улыбкой предлагал: «Потрогайте, настоящий горб у меня вырос».

«Веду свое от Гоголя, Достоевского и Лескова,—говорил он.—Чудесное от Гоголя, боль—от Достоевского, чудное и праведное—от Лескова». Оживление Ремизовым древнерусской литературы, обогащение писательского словаря, перенесение поэтической метафоричности на прозу, поиски новых синтаксических и лексических возможностей литературного языка—все это оказало влияние на «орнаментальную» прозу 20-х годов—на творчество Е. Замыatina, писателей из содружества «Серapiоновы братья» К. Федина и М. Зощенко, на молодого Л. Леонова, Б. Пильняка и других и не потеряло своего значения и поныне.

Особое место в ремизовском творчестве занимают его «вспоминательные» книги «Подстриженными глазами» и «В розовом блеске», где воскрешаются страницы прошлого самого писателя и его жены—Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло. Обе книги прославляются литературными характеристиками, «размышлениями по поводу», фантастическими отступлениями. Книголюб и книгочей, Ремизов был еще и выдающимся каллиграфом, знатком славянских рукописей и книг.

О значении его точно сказал уже цитировавшийся ранее К. Федин:

«Нежность Ремизова к русской земле... сочетала в себе страсть и женственность, и была его настоящей писательской сущностью. Никакая гримаса, никакое юродство или скоморошничество не могли скрыть этой главной серьезной стороны его искусства. Казалось, выросши из подспудных корней родины, он сам стал корнем и ушел в землю так, что его не выкорчует никакая сила».

Олег Михайлов

Литературное наследие А. М. Ремизова, одного из любимых писателей М. М. Пришвина и И. Г. Эренбурга, которые в своем творчестве опирались на его опыт, вызывает большой читательский и писательский интерес. Сочинения Алексея Ремизова, издававшиеся до революции, а также «Избранное» (М.: Худож. лит., 1978), в которое вошли повести и рассказы из сборников разных лет, сказки из книги «Посолонь», главы из книги воспоминаний «Подстриженными глазами», давно уже стали библиографической редкостью.

В настоящую публикацию, предлагаемую читателям «Альманаха библиофила», включены фрагменты из книг «Подстриженными глазами» (не вошедшие в «Избранное») и «В розовом блеске»—своеобразного описания жизни Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло (Оли)—жены писателя.

Эти главы, соединенные сквозным сюжетом, в то же время являются вполне законченными отдельными рассказами. Для публикации отобраны те из них, которые представляют библиофильский интерес: воспоминания Алексея Ремизова о первом проникновении в мир книги, о писателях-современниках, о работе в редакции журнала «Вопросы жизни» (1905), попытки понять собственное творчество, сложные литературные реминисценции, проливающие свет не только на событийную сторону биографии Ремизова в контексте современной ему действительности, но и на тайный, беззащитный, притягательный процесс творения книги.

Рассказы, отмеченные звездочкой, печатаются с некоторыми сокращениями.

Людмила Букина

ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ*

Каллиграфия

Каллиграфия всегда была свободна и никогда никто не вступал в ее волшебное царство, где буквы и украшения букв: люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава — ткуются паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек.

Начертание слов может быть понятно и непонятно, можно иметь неразборчивый почерк или ясный и отчетливый, можно писать ровно и твердо или «куроляшкой» и стесняться своего почерка, но это никаким боком не подходит к искусству писать буквы, слова, фразы, и как расположить их на странице.

У китайцев всякое произведение требует своего особого буквенного расположения — в «как, на чем и чем» написано есть зрительный ключ для чтения, «мелодия»; китайская рукопись, черной ли тушью на бумаге или золотом на шелку, всегда звучащая — и немых строчек, как в нашем однообразно написанном, не отличающим сказки Толстого и розысканий Веселовского, не может быть. А разберет ли кто этот китайский ключ или останется загадкой, для автора, он же и писец, безразлично: начертание неразрывно с формой произведения.

Арабские и персидские чистописцы, о мастерстве которых сложены стихи, а имена вошли в сказку, — как не вспомнить того несравненного мастера из «Тысячи и одной ночи», подделал письмо самого доброго человека на земле и искусного писца Яхьи-ибн-Халида к его врагу Абд-Аллах-ибн-Малику-аль-Хусан, и тем примирил их! — арабские писцы в своем искусстве были далеки от искусства «наживы».

И наши книгописцы — все эти Леониды и Иосифы, «влодычные ребята», и дьякон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Ефросиния Полоцкая, никакой «утилитарной» цели не преследовали: уставное письмо без перерыва между словами — слитной строкой и без знаков; скоропись с надстрочными и подстрочными буквами при разнообразии и никогда не одинаковой величине букв и как в «уставе», без перерыва; и, наконец, «вязь» — слово из сплетения, вплетения и разветвления букв — рука не поднялась бы написать буквы, чтобы слово вышло непременно для кого-то понятно — для какого-то среднего глаза, нет, писалось так, как писалось и иначе не могло написаться, подчиняясь лишь какому-то начертанному закону развития самой линии, составляющей букву.

Сколько голов, столько и почерков, а искусство — каллиграфия — одно.

* Текст печатается по изданию: Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж, 1951.

Куроляпка

О свободном искусстве каллиграфии я стал знать со вступительного экзамена в гимназию—с первой написанной под диктовку строчки «коровы и лошади едят траву» или как у меня написалось—

«коровы и лошади *идят* траву» при чем, несмотря на линейку, хвост строчки, начиная с «ди» (лошади), спустился за линейку, и вся строчка изобразила лошадь; голова же строчки с рогатым «к» (коровы) имела подобие—коровье.

Мне только что исполнилось семь лет; снисходя к моему возрасту, меня приняли в подготовительный класс. И началось мое чистописание.

От чистописания все мои двухплановые рисунки с центральной, составленной из резко очерченных линий, фигурой на фоне воздушной паутины росчерков, штрихов и завитушек и всевозможных спиралей, которые и должны выражать волшебство: то странное сияние, по Гоголю, что примешивается к блеску месяца, или тот блеск другого мира, что чудится за «натуральным» блеском, по Толстому.

У меня было два учителя чистописания: Александр Родионович Артемьев—Артем по МХТ—Митрич по «Власти тьмы», и Иван Алексеевич Иванов. От них я и перенял: от Артемьева—росчерк и завитушку, от Иванова—линию.

А тот бисер, которым пишу строчки, бесцельно переписывая «набело» мои рукописи, я перенял у учителя математики Сергея Николаевича Световидова. Точнее и аккуратнее я не встречал человека, а за то и название имел он—«Аптекарь». Этим аптекарским бисером пользуюсь я для подписи под моими рисунками: себе в память и другим в разумение: потому что изображаемое мною в природе не существует, а вышло из моей памяти о многомерном мире, в котором прошло мое детство, как в сновидении.

Самая материя моего письма, должен признаться, самая чистейшая лесковская «куроляпка» из «Полунощников»; черновые мои записи, особенно те—глубокою ночью—самому мне разобрать редко удается, и только по догадке.

Но я знаю, «куроляпкой» я не завековал бы мой век; я знаю все значение «встречи»: встреча с человеком, события и книги. И всегда: что-то приходит, или чтобы пробудить, или чтобы убивать; способности убить нельзя, а *убивать* можно.

Александр Родионович Артемьев, по прозвищу «Вий», в самой запутанной своей «артистической» шевелюре заключал все тайны своего искусства. Изъеденный оспой, сонный, с полуопу-

ценными веками вдруг взблескивал, устремляясь на росчерк: усики, закруты, оплет, загиб, вывих и закорючка; а размах его пера был такого дыхания, что когда, как очнувшись, вел он завиток,— дух захватывало.

Все его ученье заключалось в том, что он начнет тетрадь. Одним духом, не прерывая, выписывал он заглавную букву— буква занимала угол страницы, но это еще не конец: не прерывая, от буквы к противоположному углу или вокруг буквы к углу вниз, он выводил росчерк, и вот в этом-то росчерке вдруг из какого-то завитка выскочит птица или показывались заячьи уши и округлится усатая мордочка, или вдруг загораздит целое поле— и колокольчики, и ромашка, и трава с «петушками», а если разлистятся листья— такие «леандры», не проберешься. Иногда он писал и целую строчку: и в этой строчке все будет кругло— все буквы, как откатывались от прописной непрерывно.

Я сравнивал свою тетрадь с тетрадями других и с уцелевшими тетрадями моих братьев, старших меня по классу, и заметил, что птица везде была одна, заячьи уши и усатые мордочки— все одинаковые, а цветы и трава и листья— одни и те же. Из году в год, целый учебный год начинать тетради— и вот рука так намахалась, как в подписи; но пусть даже по привычке, механически, выскакивала птица и заячьи уши,—какая сила, твердость и размах!

Первая моя проба была неудачна. Я расчеркнулся— и разорвал бумагу. Беру другую страницу и начал путать и закручивать— и получилась грязь, а из слившихся волшебных спиралей поднимается самая лесковская «спираль»; хотел поправить и посадил кляксу. И испугался.

Я не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек—каких-каких понаделать птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных паучков.

Я испугался и на третьей странице, приноровив и следя за ручкой, со всем вниманием к перу,—а сколько раз обмакивал и стряхивал,— робко повел,—но закруты не выкручивались, хвосты не загибались,—что-то жалкое, беспомощное, вроде как у детей, копирующих оригинал с подкладной синей мажущейся бумагой: не было линии, каждый штрих дрожал и прерывался.

И получил единицу.

И отмеченный единицей, продолжал портить бумагу. И не только в тетради чистописания, я расчеркивался, где попало, и на учебниках, и на доске, и за доской, а попадет под руку чужая тетрадь, заевается какой-нибудь Доронин или Дивилин, я и в их чистенькие хвост вхощу.

Мои каллиграфические выкрутасы подымали на смех— для

всеобщего развлечения на глазах у всего класса я показывал фокусы, так надо это понимать, и заметил, что чужой глаз меня не смущает, только б не подталкивали, рука не дрожит и росчерки сами льются, пока чернил хватит. А между тем «Вий» ко мне не подходил—я из всех считался самым плохим по его памяти: «единица!»—и в четверти он ставил мне двойку из снисхождения: по возрасту я был самый маленький в классе.

И только к концу года я решился, и сам подошел к «Вию» со своей тетрадкой: на чистой странице я вывел заглавную «Д», никаких зайцев, но отлет-закрута и сетка-оплет в два угла вверх и вниз, непрерывно.

С едва сдерживаемым хохотом ждал класс, все повскакали с парт. Но ко всеобщему разочарованию,—«Вий» поставил мне пять и, приподняв свои полуопущенные веки и взлеснув на меня, как перед росчерком, прибавил к пятерке плюс.

Многого достиг я за этот год «приготовительного класса», но овладел росчерком много лет спустя, когда о первых гимназических уроках не вспоминалось.

В Петербурге я читал те учебники, какие проходили слушатели Археологического института. И когда под руководством С. П. Ремизовой-Довгелло я добрался до образцов старинных рукописей, сердце мое заиграло. Я разбирал и переписывал старинные грамоты. Сколько ушло на это ночей—упорство мое было такое же, как в семь лет над росчерком после позорной единицы, может быть, единственной в практике учителей чистописания!—и ночей и сплошь дни: я проходил букву за буквой в скорописных веках.

А понемногу начал и от себя писать грамоты. И выходило, я это видел. И еще я видел, что это было то, да—не то. И это меня обрадовало.

Как в моих апокрифах и сказках, только имея в памяти всевозможные сборники сказаний и записи сказок и областные словари, особенно ценные для меня не столько словами, сколько примерами на слова, я никогда не копировал и не стилизовал, так и в своих рукописях-грамотах: само выбиралось, что было в веках под мою руку и шло к моей руке. В сказках я продолжал традицию сказочников, а в письме—книгописцев.

Из русских писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось под конец жизни выправлять свой почерк? Или потому, что в рукописи есть магия, как и в человеческом голосе. Обладая необычайной магической силой слова, Гоголь знал и волшебство голоса—звучание слова: Гоголь слышал «полднeв-

ные» оклики. А кроме того, несмотря на свой козлиный голос и что немножко был он «из под Глухова», Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, читал изумительно — «актеры обижались!». И если с голосом можно и пустяками обворожить, что очень хорошо известно всякому мошеннику, рукописи — творят чудеса.

Другой мой учитель чистописания, Иван Алексеевич Иванов, которому я обязан «прямой» и «параллельной», — ничего общего с «Виём», никакой шевелюры, а одет, как с иголки, и очень аккуратный, без всякой «виевой» обсыпки. Он был как в упряжи лошадь, несогбенный, а если по Гоголю, «голова его сидела в воротнике, как будто в бричке», а синий фрак с золотыми пуговицами, наутюженный до окаменения, как тяжелый чеховский футляр, — работа знаменитого портного с Костомаровки Павла Павлыча, по прозвищу Поль-уже, а на указательном пальце сверкал перстень. И жил он не на Смоленском бульваре, откуда приволакивался «Вий» в своей порыжкой, выеденной, жалко смякшей енотке, а по соседству с нами на Яузе в Криво-Ярославском переулке около Всехсвятских необозримых огородов, застроенных в канун войны, а в те времена изумрудных весной и, как подсиненная скатерть, в московскую крепкую зиму, и носил шапку под Некрасова. Не «Вий» — «свободный художник», а «ученый каллиграф» Строгановского училища, а имя ему было Козлок.

(Не «Козел» — Козлом по воспоминаниям Пришвина звали В. В. Розанова¹ в бытность его учителем географии в Ельце.)

Теперь я думаю, по его какой-то пронизающей все существо его черствости и по его формализму, ему подошло бы лесковское «Павлин».

То, что Козлок жил около огорода, сказывалось на его словоупотреблении. Козлок не признавал линейку: он сравнивал ее с капустным червем, «пожирающим нежный кочан», — и прямая, проведенная по линейке, не живет, а мертва, «как сухой черный корень»; единственное исключение: по линейке можно было сделать рамку — «как для весенних парников неизбежна бывает стеклянная рама»; параллельные, которым придавалось особенное значение, сравнивал он с черными мартовскими грядами, резко очерченными еще не сошедшим снегом на межгрядьях, — а эти весенние черные полосы я на веки вечные помню! — рекомендовал чистить спаржу, что настраивает руку на прямые, приучает к терпению и методичности, а глаз к мере; еще советовал из бумаги вырезать квадраты и треугольники и резать фигурками моркови и картофель, чтобы получались конусы, цилиндры и параллелограммы, вроде кушанья свифтовских лапшутян; транспаранты же и разлинованную бумагу, как

рассадник лени, советовал при всяком удобном случае уничтожать: «сорные травы и козлу не в корм!»

Никогда в тетрадах—метода «Вия», а на доске на глазах у всех всему классу Козлок выписывал буквы—мелом особо выточенными брусками разных размеров. Когда я бывал дежурный, я не мог удержаться и под предлогом разбил, ем: так был белоснежен, заманчив меловой пестик.

Все сводилось—все буквы—к прямой. Из прямой, пальцем подмусля с концов, выводил Козлок овалы. Методично ныряя перед доской, меловыми буквами изображал он тончайшим образом изящнейшую строчку.

Такой ли она была на самом деле?—ведь я только догадывался. Но думаю, что не ошибался: мастерство Козлока было не меньше «Вия», только совсем в другом роде,—не звездами распускавшийся росчерк, не волшебные спирали, а математически-точная линия.

И опять горе: никаких прямых у меня не выходило и параллельные мне не давались, а моя строчка всегда сползала. Я хотел щегольнуть своими завитками, но Козлок только погрозил—и его сверкающий перстень алмазом беззвучно срезал раз и навсегда. А за мои сползавшие прямые и дрыгающие параллельные поставил двойку.

Только и было во всем классе нас двое—двоешников: сын запойного ильинского дьякона Воскресенский, по прозвищу «Пугало», да я, сверзившийся на двойку с «вийной» пятерки с плюсом.

«Пугало» пустяками не занимался, а для меня начался скучнейший год: упражнения в прямых и параллельных. И как когда-то над росчерками-завитками, теперь на «палочках»—я не пропускал клочка бумаги, а если не было чернил, впустую махал пером под параллельные. И к концу года наметал глаз и наострил руку—я не знаю, что бы мне давалось легко: с какими усилиями я добываю слово, чтобы выразить мои мысли, а чтобы что-нибудь твердо запомнить, мне мало слов, мне надобен еще и рисунок, а сколько положено труда, чтобы научиться писать! Козлок поставил мне пять, и с «Пугалом» меня рассадили: я снова стал первым по чистописанию.

Но плюса к пяти я не получил.

Потом уж, когда ни «Пугало», ни Козлок не вспоминались и всякая память о прямых и параллельных стерлась, я напал на старинные гравюры и понял, за что прибавляется к пяти плюс: какая четкость и мера!

В рукописях Достоевского попадаете готический собор и ясно выписанные—каллиграфически—имена и слова. И это при

исступленности и горячке Достоевского! Но это-то именно и характерно, ведь иначе хаос и распадение — именно у Достоевского готический собор и каллиграфия. В этой четкости и мере — власть.

Домашний маляр*

...До тринадцати лет я читал случайно, а между тем весь дом — вся наша бывшая красильня, начиная с матери, все мои братья упивались чтением. Детская литература прошла мимо меня. Но теперь книга стала для меня все: я читал на уроках, в перемену и дома вечерами, пока не гасили свет. Я точно разыскивал в книге чего — потерянное?

«В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского — первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку — на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горячее — читал и не мог начитаться.

Потом все позабылось, и не как вытесненное, а нагрузом других, по чувству памятных: Достоевский, Толстой, Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский и много позже Гоголь. А когда я раздумываю, кого мне назвать своим родоначальником, я уверенно говорю: Мельников-Печерский.

И как странно, не Гоголь, а ученик Гоголя, да не из первых, не из «оркестра», как Достоевский, а один из бесчисленных «копистов» стал вдохновителем трех современников.

У Кузмина единственно живые лица его романов — Марья, Устинья и Марина — старообрядки, отблеск «Лесов» Печерского; у Андрея Белого — его «Серебряный голубь»: книжно-измышленные хлысты — по Мережковскому, а по теме — с «Гор» Печерского; а в исследовании о Гоголе, где Андрей Белый дает параллель из текстов «Гоголя-Яновского» и «Белого-Бугаева»... ведь только непоправимо оглушенному трескотней Заратустры, автору параллелей, растерявшему звуковое чутье, не чутко, что не с Гоголем-Яновским, а с Павлом Ивановичем Мельниковым — Андреем Печерским сличим Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый. И наконец мое — моя «Посолонь» запевно-отпев Мельникова-Печерского, из лирики «Лесов»; Печерский пользовался Афанасьевым, «Поэтические воззрения славян на природу», я же Веселовским, его «Розысканиями», и тут между нами пропасть: после Веселовского никак не засластишь под «русское», да и «белой» гурьевской каши не сварить.

А как мне было не читать с волнением Мельникова-Печерского: ближайший круг знакомых и родственников по кореню старообрядцы — из «Лесов»: Хлудовы, Прохоровы, Востряковы, Лукутины... А было и с «Гор» — со стороны отца.

Отца я видел наперечет и помню смутно, в последний раз — в гробу, это я помню. Дед мой — тульский, из села Алитова, отпущенный крепостной, жил в Москве у Иоанна Воина, а отец начал у Кувшинникова «мальчиком», вышел в приказчики, а по смерти Кувшинникова, стал хозяином. И не у Ивана Воина, а Николы в Толмачах жил в собственном доме, и писался не «Ремезов», как дед, а с «и» — «Ремизов», не желая, как говорили, происходить от «птицы-ремеза». После смерти отца я всего раз был с матерью в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже, два галантерейных магазина отца: от вещей и вещей глаза разбежались и остались только рамки и рамочки, откуда, должно быть, мое пристрастие — все свои рисунки я непременно обрاملю: сама рука ведет и инкрустирует...

А чего-чего я не читал в те годы и по программам систематического чтения и так, что подвернется под руку, и еще по какому-то капризу, что вдруг взбрело в голову — так почему-то потянуло к Китаю и я много перечитал всяких китайских историй и знал наизусть изречения Конфуция и Лаотци.

Спрятавшись от видимого мира — зная, не очень-то мне показался! — погрузившись в мир книг, я продолжал рисовать...

Страсть к рисованию, как и страсть к литературе, я сохраняю на всю жизнь. Рисовать для меня, что горе-рыбаку рыбу удить или так: рисование мне, что криксе соска. И иногда мне кажется, что мне легче нарисовать, чем выразить словом, — по моей беспамятности на слова и тутому на слово, памятливому лишь на движения и цвет...

Два дела можно делать, но чтобы были они одной сути и существа, а «живопись» и «слово» — что может быть более отдаленного и такое разное? А жизнь можно положить только за одно. Мне на долю выпало слово.

Книжник*

Из самого раннего детства сохраняю память на имена: о Погодине, Самариных, Аксаковых, Киреевских, Хомякове, Стрехове, Леонтьеве, Каткове, Забелине. Возможно, что некоторых из них я видел, а запомнил лишь одного Забелина, поразившего мое воображение рассказом о московских мастерах-книгописцах и первопечатнике Иване Федорове.

Образ Ивана Егорыча Забелина ожил и как бы продолжается в костромском книжнике и ученом археологе Иване Александровиче Рязановском, встреча с которым также неизгладима, а чувство мое признательно и благодарно.

При всех своих необозримых познаниях в истории и археологии Рязановский, кроме обязательной юридической работы при

окончании Ярославского Демидовского лицея, в жизнь не написал ни одной строчки!—явление едва ли не наше только, русское!—но изустному слову которого обязаны в своем чисто «русском», что останется навсегда, и Чехонин и Кустодиев, а через Кустодиева Замятин, в его лучшем—«Русь»; знаю, что и М. М. Пришвин добрым словом вспоминает «костромского старца», и для Г. К. Лукомского имя «Рязановский» не безразлично.

Значение изустного слова Рязановского в возрождении «русской прозы» можно сравнить только с «наукой» самого из всех «знающего» громокипящего Вячеслава И. Иванова в возрождении «поэзии» у стихотворцев.

Я подразумеваю «русскую прозу» в ее новом, а в сущности древнем ладе: в ладе красного звона и знаменного распева, в ладе «природной речи», и в образах русской иконы; лад этой прозы мало в чем совпадает с Мельниковым-Печерским, еще меньше с Горбуновым и никак с гр. А. Конст. Толстым.

Остервенелый «западник», исповедник «римского права», зачарованный музыкой природной русской речи, углицким звоном, церквами Романова-Борисоглебска, годуновскими миниатюрами, впитавший в себя самую русскую музыку, выговаривающуюся с такой ясностью у Мусоргского в рассказе о исцелении слепого у могилы Димитрия царевича,—Рязановский... годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом, и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова (ударение на «кова»).

А познакомил меня с этим необыкновенным человеком М. М. Пришвин, счастливый на встречи, как с птицей и зверем, так и с человеком...

Мне посчастливилось неделю провести на его костромской родине...

За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а, прямо сказать, выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет, ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге, он входил ко мне со свечой по-ночному в халате с уцепившимися и висевшими на концах пояса котятками, от которых он отбивался, но не руками, занятыми книгой и свечой, а своим костромским окликом с торжественным «о». Уткнувшись в книгу и уже забыв обо мне, он вычитывал восхищавшие его строки или, оглядывая книгу через двойные очки, принимался рассказывать историю ее, припоминая мелочи покупки и о собственнике-предшественнике и тоже книжнике. За семь дней и семь ночей я узнал о книге не как о библиотечном явлении, но о книге в ее

сущности, о книге в «себе самой», и понял, что такое книжник в царстве своих книг. Ведь, не будь Александры Петровны, он и о еде не вспомнил бы, да и я просидел бы голодом. Только мне было все равно: я сам весь был в книге.

Сохраняю мою костромскую память — «рязановскую» в моем «Стратилатове» («Неуемный бубен») и в «Пятой язве».

* * *

Моя мать — урожденная Найденова. Брат ее Николай Александрович Найденев известный торгово-промышленный деятель, председатель Московского биржевого комитета и ближайший сотрудник Забелина, и про это знают только специалисты: описание старинных московских церквей — труд циклопический — принадлежит Найденову.

Моя двоюродная сестра Елизавета Арсеньевна Ежова трудилась над «Писцовыми книгами», делая для него выписки. На Ежову смотрели, как на чудо морское, и называли не иначе, как великомученицей. «На Писцовых книгах, говорили, не мудрено и с ума спятить и уж наверняка глаза потеряешь, а кроме того, — под постоянной грозой человеку никак не выдержать!» Н. А. Найденев не допускал и самых простых описок и никаких вольностей в переносе слов, а что-то будто бы в тексте «неразборчиво»... «я все могу разобрать!» кричал он с каким-то визгом, от которого, как утверждали попадавшие в переделку, сердце леденело.

«Что же это такое эти самые «Писцовые книги», как бы так посмотреть и потрогать?» Мысль, завладевшая мною и не отпускавшая меня. А все говорили, что это никак невозможно и опасно, и ссылались на Ежову «великомученицу», которая работала буквально под замком: Найденев никому не доверял.

В белом найденевском доме была огромная библиотека. Книги начал собирать еще мой дед Александр Егорыч. Впоследствии все эти книги поступили в фонд богатого собрания Московского биржевого комитета на Ильинке. А самые драгоценные хранились в кабинете у самого Найденова; там, по моим догадкам, должны были находиться и таинственные «Писцовые книги».

Как-то в обед мы возвращались с урока от Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева: мой брат и я готовились поступить в гимназию. Н. А. Найденев, увидя нас в окно, позвал к себе в дом: а делал он это часто без надобности, «здорово живешь», но, случалось, и для «острастки». Очутившись близко у стола, заваленного рукописями, я вдруг увидел что-то похожее на наши Макарьевские Четьи-Минеи...

— Покажите мне Песцовые книги! — сказал я, совсем близко

наклоняясь к столу.— Песцовые!— повторял я, шаря глазами по столу.

— Пес-цовые?

И этот цок:— «цовые»— меня вдруг отдернул, я почувствовал, как весь оледенел; я только и мог разобрать—сквозь вызвизгивало: «песцовые»—и с каким издевательством на «е», переходящим в смягченное: «пес», передразнивающим мою ошибку...

— Воровать яблоки... бабошники... голубятники.

«Кубарем скатились», как говорили про нас, я это выражение хорошо запомнил, когда мы добежали до нашей бывшей красильни. Я так и не понял, в чем дело,—мне было пять лет, чего и спрашивать! я только почуял какую-то свою ошибку, а лед я почувствовал, как ожог...

На одной из лекций Ключевского при упоминании о «Писцовых книгах» я вдруг отчетливо услышал этот визг, прорезавшийся через годы: «песцовые»! Но не бабки, не голуби, а яблоки раскатились в глазах: было это осенью и в Охотном ряду я проходил мимо лотков с яблоками—какие! самые те... золотой налив, из-за которых... Не яблоки, конечно, а «буква», я понимаю, и еще вот что: только книжник может так горячо чувствовать и так беспощадно карать за букву.

Когда у Найденовых собирались гости и случалось тринадцать, посылали за Молчановым: приказчик от Расторгуевых на Солянке, а жил по соседству у Николы в Воробине. Посылали и за нами: мы совсем под боком. Редко не являлся Александр Максимыч и одет был всегда парадно, русая борода его блестела, рассвечаясь улыбкой: «да-с», «не могу знать». К гостям его не пускали и за ужином он сидел с нами. Благодушные не покидало его—а ведь мы как скучали! Конечно, не угоди он в «четырнадцатые», ему никогда бы и не приснилось попасть в такой важный дом и находиться о бок с такими высокими гостями. Но однажды я заметил: правда, на мгновенье вдруг как смело все, и куда девалась русобородая степенность, и все благообразие и улыбка, выработанные тяжелым трудом приказчика, угождающего и хозяйну и покупателю, слетели без остатка, и глянуло сурью, спокойно-сверлящий и такой усталый взгляд,—и я узнал в его лице Николая Максимыча, брата, с которым он не ладил.

Александр Максимыч широкий и мягкий, трезвый человек, семейный; сын его учился в Александровском Коммерческом училище. Николай Максимыч весь в рост, костлявый и черный, желчный, усы Горького, запойный. А жил он один у Николы на Ямах. И чего только не было в его тесной, заставленной квартире: рамки и клетки, картины, мебель, шкапы, но глав-

ное — книги: на полу, на полках, на подоконниках, на смятой неубранной постели и под кроватью, и даже на кухне с окном в палисадник: квартира не отапливалась. Это был первый книжник, которого я увидел близко, но не как Найденова, а по-человечески.

«Озлобленный», по словам матери, он всех презирал. Как мы жили! внешне мало чем отличались от фабричных детей, но и нас он встретил сурово и с брезгливостью — это была его манера и говорить и держаться, когда он подозревал «благополучие». Мы покорили его своим любопытством к книге.

От него я впервые услышал о Некрасове: это был его любимый поэт и читал он его вдохновенно, с горящими глазами, задыхаясь от кашля; от него узнал я и о другом его любимом писателе: о Марлинском, которого ценил он выше Гоголя по блеску и ливу слов.

Когда случился пожар, а произошло это ночью, а загорелось у Молчанова и как раз, когда Николай Максимыч «безумствовал» в запое и, воплощаясь в Некрасова, словом-огнем Марлинского жег всякое благополучие, где бы ни попадало оно по всей земле, и все сгорело, весь хлам и все книги, а сам он едва выскочил. Но, как потом рассказывали, успел-таки вырвать из огня и вынес какую-то свою заветную книгу и, обгорелый, не на себе тушил он, а затлевшиеся страницы... я понимаю, это было первое издание и, может быть, единственный экземпляр.

Англичанин*

— мое первое напечатанное —

1890

Гёте я нашел у нас на чердаке, как находят золотые зарочные клады. Имя Э. Т. А. Гофмана я услышал от матери. Шекспира и Свифта я получил от дяди. Это не тот известный на Москве «самодур», мой двойник, открывший мне с «Писцовыми книгами» Шевырева, Погодина, Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Забелина, Строева, это другой — «англичанин».

Первое, что я увидел в Малом театре, это «Макбет» с Федотовой и Ермоловой и «Гамлет» с Южиным. А «Гулливер» с картинками — подарок на Рождество с анненковским Пушкиным — первый камень нашей детской библиотеки.

А когда меня заодно с моим братом перевели из IV-ой гимназии в Александровское Коммерческое училище и начались мои английские уроки у знаменитого московского англичанина Маклелянда (застрелен провалившимся на экзамене), я нашел себе такого покровителя, о чем и мечтать не мог: это был

старший брат матери и мой крестный — Виктор Александрович Найденов, «англичанин».

* * *

...Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаульшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву на Земляной вал «англичанином».

Фабричные рабочие найденовской шерстопрядильной сразу наклеили ярлык «англичанин» в отличие от других хозяев — братьев Найденовых.

«Англичанина» никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова. К «англичанину» не замедля прибавилось: «скусный» (скушный) и «змея».

Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом найденовском доме в семье своего знаменитого брата «Самодура», гремевшего на всю биржевую Москву. Ни малейшего сходства с Найденовым, сам-по-себе, подлинно «англичанин». В его лице ничего, что так ярко и резко во мне — из рода суздальского красильного мастера из села Батыева, ни китайских чувствительных бровей, ни тибетских скул. Европейец — Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали без всякого намека на Азию.

Ближайший круг его брата «Самодура» — «славянофилы», а ему подавай московских англичан: его знакомые — обрусевшие или приезжие англичане директора московских фабрик и инженеры.

И дома, в обиходе не филипповские и чуаевские пирожные изобретения и не от француза Трамблэ, а сухое английское от Бертельса. А в его библиотеке не русские, а английских и немецких имен стена.

Директор найденовского банка на Ильинке — почетное место, а настоящее его дело — он выписывал английские журналы и «беспредметно» следил за литературой, для него единственной с единственным языком английским. А, кроме английских книг, оранжерея.

Круглый год парадные комнаты белого найденовского дома ярко цвели и благоухали. Помню, когда я с воли входил в зал, у меня разбегались глаза и кружилась голова, особенно в дни, сверкавшие морозом...

Я не думаю, чтобы он кого-нибудь любил, но и у него была привязанность, кроме английских книг и цветов, это его Молли. Но живой я эту Молли не видел, я застал ее уже в мраморе — какое нежное песье творенье. И за эту любимую Молли он имел

преимущество перед всеми в собачьем царстве: подтишковые собачонки — напасть бесконечного найденовского двора — за ноги его не кусали, злые, радовались на его ласку. А ведь не было человека, да сколько раз и я терпел от их острого зуба, не уследишь, тяпнут молчком или снежным комом ударятся под ноги, только и знай, что вытаскивайся, как из липкой кусающейся грязи.

* * *

При первых моих английских уроках я обратился к Виктору Александровичу за разъяснением о произношении — мне долго не давалось «th» и «r». С этого все и пошло. И я убедился, что Виктор Александрович Найденев, трудно поверить, подлинно англичанин, не отличишь от Маклелянда.

Большую часть лета он проводил в Москве. Случалось, в воскресенье он затевал, по английскому обычаю, воскресную прогулку. Меня и моего брата, для которого, «чтобы ему не скучно было», меня перевели из гимназии в коммерческое, вызывали нас обоих к Найденевым отбывать повинность. Он брал нас с собой в Петровское-Разумовское: до вокзала на конке, потом поездом. И «на лоне природы» в молчанку мы пили чай с лимоном. Два часа такой прогулки тянулись для нас без срока, большого наказания не придумать.

Но когда он заговорил со мной по-английски, его не узнать было. Не улыбнется, а тут улыбался — магия безулыбных английских слов, — улыбался он по-русски. Некурящий, казалось, вот-вот закурит и добродушно пустит дым сквозь ноздри после вкусной затяжки; непьющий, вот хлопнет рюмку и скажет: «за ваше здоровье». Тут я узнал и историю его любимой Молли: вывез он ее из Англии и как он без нее тоскует, и всегда ему памятна — мраморная, а как живая. И о цветах, сам повел меня в оранжерею, а ведь в другое время, раньше-то и глядеть не разрешалось, а не то что войти и потрогать.

Помню, я как Диккенса начитался, и в первый раз, прощаясь, я назвал его «дядя».

* * *

По-английски я был первый в классе. Мои английские изложения, заданные на дом, исправлял Виктор Александрович Найденев. У Маклелянда первыми учениками считались только те, кто брал у него домашние уроки — цена очень высокая: 5 рублей за час. Я был исключением.

Однажды английский дядя для испытания моих успехов дал мне перевести из «Times» статью. Но это был не рассказ, а, со

всякими цифрами, исследование о «атмосферических осадках». Очень скучно, но я исполнил, одолел. И, неожиданно для себя, в «Московских ведомостях» я увидел свой перевод: «Атмосферические осадки»; статья была проредактирована, сокращена и, конечно, без моей подписи.

Так безымянным «англичанином» я в первый раз попал в русскую литературу. Не помню №-а «Московских Ведомостей», а год 1890. Мне было 13-ь лет.

В то лето я собирал бабочек. Но, кроме бабочек и гербария, географические карты: все цветное меня привлекало. Я все думал, если бы мне достать такой атлас, чтобы с горами, реками и лесом — елочками — мое «зографское» ремезовское пристрастие (Семен Ульяныч Ремезов первый русский географ).

Английский дядя мне обещал за перевод гонорар. И на Рождество я получил от него подарок: немецкий атлас бабочек — не цветные, черные иллюстрации: все бабочки на одно лицо.

Кокосы*

Случай с «фуфыркой» — мой «голландский» полет на луну, сбросивший меня с Андроньевской горки на берег Яузы, отвадил меня бесповоротно от всего, где чувствовался, хотя бы только намек на спиртное, вроде «пьяных вишен» и ромовой «бабы», но любопытство к превращениям раздул в страсть.

Источник у меня единственный: книга. По счастью, они сами шли ко мне в руки. Я так и смотрю на книгу, как на живую встречу. Потом уж я стал присматриваться и приглядываться к живым людям и строить всякие догадки, что есть настоящее в человеке и в чем он только «прикидывается» или, что то же, во что превращается. А, наконец, и заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений.

Одно скажу, что без долбушек или, когда прямо по голове щелкают, без этих «ко-ко-сов», дело не обходится. А еще я заметил, что существеннейший признак состояния превращенности — полнейшая искренность, и тот актер, который будет играть Иудушку Головлева, ханжа и лукавя, никогда не даст живой образ этого образцового превращения, более сложного по разнообразию и глубине и самого Тартюфа и более яркого, врезающегося в память, чем Петр Степанович Пустолобов, гоголевский «оборотень» Квитки-Основьяненко.

И разве уж так необходима травка фуфырка, чтобы обернуться или обернуть?

Да, Гоголю без фуфырки не обойтись, но ему известно и еще одно средство и не менее действительное: «страх». И если фуфырка «воздвигает», у страха глаза велики, то же на то же.

Для Достоевского обязательно «горячка», вообще высокая температура. Но как же быть со мной, с моими лягушиными градусами, зябнущему, когда говорится, что на воле жарко, с моим пристрастием к дождю, к ненастной погоде и болоту, а между тем не могу пожаловаться,— это видно кокосы долбят мне в голову, и недаром наемни в голове у меня разбили чернильницу и черным залило мне мозг.

В «Тысяча и одной ночи» я нашел много случаев превращения и рисовал, не знаю, куда с моими собственными превращениями задевались рисунки! В этих сказках мало указаний на способ, чем вызвана чудесная перемена, а кроме того дело идет о джиннах-маридах и по преимуществу о злых маридах — ифритах, а для меня любопытнее было узнать, как и чем человек превращается в мышь, кота, собаку, осла, буйвола...

О превращении в медведя я узнал от Вельтмана, а про волков открыл мне Орест Сомов.

«Лучи месяца упали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился, как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня, бормоча: «На море-океане, на острове-буяне, на полой-поляне светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк-мохнатый, на зубах у него весь скот-рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтобы серого-волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли!» Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. Ермолай стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды,— чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг видит Артем: старика не стало, а на место него очутился страшный серый волчище. Зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми глазами, обнюхал воздух на все четыре стороны, завыл и, воя, пустился бежать вон из лесу. Артемий дрожал от страха. Зубы его так часто и так крепко стучали, что на них можно было истолочь четверик гречи, а губы его сжались и посинели. Он подошел к пню, призадумался и давай обходить около пня, твердя заклинания. И, став лицом к месяцу, трижды кувыркнулся через ножик с медным черенком. И за третьим разом, глядь— вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который таялся, как метла. Он попробовал молвить слово, но вместо человеческого голоса, завыл волком».

И тут никакая фуфырка, тут месяц, медь, слово... И что удивительно, есть оказывается средство обращать не только

Ермила или Артема, это все живые люди, а и мертвого в живое. Об этом я узнал от того же Сомова (Байский)—его рассказ известный и Пушкину, и Бестужеву (Марлинскому), и Гоголю, и Погорельскому, и Одоевскому. Но тут не месяц, а яркий полдень и черная свеча,—синий огонь («черная»,—по Новалису из тарантулова сала, а «тарантул» в горячечном видении Ипполита у Достоевского—мать жизни и смерти).

«В последний день Зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала поляну—на поляне нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника,—она очертила около себя круг белым клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу,—и свеча сама собой загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и аукая вихрем помчалась через поляну вереница,—на одних венки были из осоки (утопленницы), у других из ветвей (удавленницы), так что казалось, будто у них зеленые волосы. Вот бежит и ее Горпинка. Фенна едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Она поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой дочери,—и мигом зеленый веночек из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинки. В кругу Горпинка стояла, как оцепенелая, но едва мать вывела ее из круга, начала она у нее проситься тихим ласкающим голосом отпустить: «Мать, отпусти меня; мне тяжело, мне душно будет с живыми!» Фенна не слушалась и все вела ее к своей хате. Вот пришли, старуха ввела Горпинку в хату; Горпинка села против печки, облокотясь обеими руками себе на колени и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка вдруг изменилась: лицо ее посинело, все члены ее окостенели и стали холоднее льда, а волосы были мокры, как будто только что она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие. Проходит день, настает ночь,—проходит и ночь, проходят дни, недели, месяцы,—все так же неподвижно сидит она опершись головою на руки, все так же открыты и пусты глаза ее, бесценно глядящие в печь, все так же мокры волосы».

И не только мертвого можно оборотить в живого, хотя бы на краткую меру свечи, самовозжигающейся при прикосновении с землею, но есть средство создать двойник человека. А средство это вот какое: надо крепко, наступив на тень человека, сдернуть ее к себе и пустить на волю,—и уж не различишь, кто из двух будет настоящий. (Сложнее потом раздаться: надо исхитриться поймать за хвост и стащить чужую шкуру, тогда только сгинет.)

Но сама сила человеческого пожелания разве плоше «фuffyрки» или слабее месячного блеска и медного черенка или ее

синий огонь тише тарантуловой черной свечи? И зачем мне с моей кипящей волей механические приемы, чтобы стать и тем и нетем, обернуться или обернуть?

Насытив свое любопытство на всевозможных превращениях, добравшись, наконец, до русалок и хвоста двойника, я задумался.

В «Игроке» у Достовского есть намек на загадочное явление: «безобразие». «Я не умею себе дать отчет, что со мной сделалось, в иступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничая, пока не свяжут». А у казака Луганского (В. И. Даля) я нашел живой образ *безобразника*: помещик Иван Яковлевич Шалоумов.

«Он по дням, по часам, по неделям принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы, и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад: утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот: в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье затеям нет конца и весь дом вывернет вверх дном». И внешне он переиначивается: «Когда он являлся в халате, это означало, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, то это значило, что он будет человек крайне деловой; если же в коротенькой курточке, то это была одна из самых дурных примет, и очень походила на расправу со всей дворней; вовсе же без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке или в щегольском убранстве показывали, что барин будет отчаянным весельчаком». Но он не только обращался в самых разнообразных людей, действуя по душевному убеждению,— «и все это он желал, может быть, сделать, все это являлось у него уже в готовом, действительно исполненном и сделанном»; он обращался также и в зверей и птиц: кричал петухом, собакой, конем, теленком, выл волком; но также и в инструменты. Но, превратившись в контрабас, сорвался.

«Иван Яковлевич, схватив меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед собой и, перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом контрабасу. И вдруг закашлявшись и как будто вздумав что-то новое, опрометью побежал из зала в свой кабинет. Все затихло в ожидании. А в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос».

«Желание» — это магия для всяких превращений и без всякого посредства и вне условий: я захотел и тотчас сделался из «самого себя», ведь и месяц, и заклинания, и тарантулова свеча

без желания,—никогого действия. А бывает и нехотя, а превращения налицо. Или действуют тут подлинно магические, а без всякой магии, эти самые «кокосы»,—какое же волшебство в долбушках? И разве я когда-нибудь наступал, желая, на чью-нибудь тень?..

Голубой цветок*

Вот уже с конца мая, как распустили на летние каникулы, и вся Москва переселилась на дачи, кто в Сокольники, кто в Кунцево, кто в Останкино, а с Таганки в Кусково и Царицыно—места, освященные русской литературой: Тургеневым, Писемским, Лесковым, я нашел себе в доме такое местечко, получше всякой прославленной дачи,—это наш чердак.

Я никому не защу и никто мне не мешает. Целый день я провожу за книгой, захватываю сумерки—порчу глаза над моими мелкими рисунками и встречаю луну, ее бередящее мерцание через единственное слуховое окно. Днем немного тепловато,—но я всегда мерз, и не жалею; раскаленная июльская крыша, стучащая и раскатывающаяся китайскими барабанами в проливной дождь—мне ничего, я всегда любил непогоду, она мне ближе погожих дней.

Дверь на чердак из детской. Скрытая обоями, она годами не замечалась. Но однажды на моих глазах пошли на чердак. Туда складывалось все, что почему-либо не выбрасывалось или дожидалось очереди перейти под расшитую шелками пеструю тибетейку кочующих по московским улицам и переулкам бритых казанских князей, пахнувших остро своей памятной кумысовой ордой, скороговорных и неуступчивых с их окличным «шурум-бурум» и заключительным непререкаемым «иок»; а также береглось на чердаке теплое зимнее в табачных листах в летние месяцы. И когда я заглянул в приоткрытую дверь, какой-то особенный свет показался мне—как раз по моим глазам; и воздух парной—не оранжерея, но вроде, только не комнатный—и это тоже по мне; и еще что-то, что я почувствовал, как свое, и меня потянуло.

Но почему-то ходить на чердак нам запрещалось.

И я заметил, что и большие—так звали мы старших—никогда в одиночку на чердак не заглядывали, да и то лишь днем, и сгорбившаяся, притаившаяся дверь, которую на ночь, как спать ложиться, нянька крестила, оставалась запертой на всякий блестящий замок. А скоро я дознался, что за этой дверью есть еще дверь—тесовая, невыкрашенная и неоклеенная, и висит черный замок. А между дверями—чуланчик: полки—и на полках варенье; высокие вишневые банки—клубника-виктория

(не в честь ли английской королевы Виктории?), любимый барбарис (его разросшиеся кусты в самом опасном углу Найденовского сада, где громяхают цепями Трезор и Полкан), малина, сливы, черная смородина, крыжовник, китайские яблочки, рябина; а в углу кадушка с мочеными яблоками. Из подслушанных разговоров мне стало ясно, что ходить на чердак боялись. Но что там скрывалось такого страшного, чего все боялись, я и спрашивал, а никто мне ничего не ответил. И я понял, что знают, а не хотят сказать: страшно.

Зимой на чердаке выл ветер. Душу охватывало черной песней. И если бы не садило так от двери, я бы не отошел, выстаивал бы часы, впитывая черноту заманивающей звучащей пучины: в ней слышалась и какая-то безграничная власть и пропад, все разрешающее и никогда не разрешимое. Голосом беззвучным я повторял песню и выговаривал слова без значения, но глубокого сердца, как тайный оклик, и я чувствовал тянущиеся ко мне руки и за ними легкие дышащие крылья. В большие морозы за дверью трещало: это ходил Мороз-Снегович с зеленой лунной бородой и серебряной гривой, торчами из ушей.

Но кто, не Мороз же, кто пугал на чердаке и о ком боялись сказать?

«Рожа черная, рыло широкое, глаза навывкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, а из-под шапки комли рогов выглядывают, и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями...» Сказкой заключил я свои догадки о страшном, и не догадался — дело было вовсе не в черте.

Тяжелых «устужских» сундуков я не трогал. А надобно было бы кое-что передвинуть, — не хотелось переть против рожна: «привыкли!» Но свалку я разобрал и распределил, «классифицируя», как бабочек и гербарий.

В хламе под разбитой детской колясочкой — в ней возила меня кормилица в мое первое лето в Сокольниках, памятных мне по рассказам о моем первом озорном приключении с «откушенным носом»; под жестяной печкой, изуродовавшей меня, должно быть, так же играя, как я с какой-то понравившейся мне Валею; под обгорелыми кубиками — тоже памятными мне: моя ожесточенная затея сделать в доме пожар; под деревянным облезлым конем — «лошадкой», игрушкой моего брата, соединившейся с памятью о его кормилице, длинной и ноющей Катерине с прозвищем «околедая лошадка»; под деревянным ружьем с застрявшей в жестяном дуле почернелой горошиной — мне показала прямо на земле, с землей, книга, я ее поднял на свет — а это был Гёте, «Вертер».

И я почувствовал, что в этой книге и есть разгадка всяких страхов — почему перед чердаком был такой трепет и боялись

заглядывать в одиночку, а вечерами никогда. И эта догадка оказалась верной, а черт совсем не при чем: на чердаке — давно это было — повесился найденовский учитель, он жил до нас в нашей бывшей красильне, учил мою мать, ее сестер и братьев русскому: «несчастливая любовь».

А под «Вертером» таился целый клад.

Есть жук, летает ночью в канун Ивана Купалы, и сам норовит налететь на человека: коли рот раскрыть и подставить, и жук влетит и с перепугу угадится мелкими дробинками, то выплунуть на руку, и у тебя богатый клад: сыпь скорей с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы — посыплется чистое золото.

И без жука, отряхивая землю, я складывал книгу за книгой: и первое — «Голубой цветок» Новалиса, его «Офтердинген», а за Новалисом Тик, «Генофева» и «Лунатик»; «Аврора» Якова Бёме, Марлинский, Погорельский, «Пестрые сказки» Одоевского, сказки казака Луганского, «Бурсак» Нарезного, «3448 год. Рукопись Мартына Задека» и «Лунатик» Вельтмана; «Подснежник», «Невский альманах», «Полярная звезда», «Северная муза», «Северные цветы», «Новогодник», «Комета Белы»...

Много я возился с уборкой застрашенного чердака и так, наконец, обставился и расположился, как в жилой комнате, нет, еще свободнее: я был совсем один. И только паук у слухового окна — и когда тонкий луч проходил ко мне и падал на мой стол, прозрачная паутина переливалась чистейшим светом.

И я получил новое прозвище: меня уж стали звать не просто «отшельник» и не «отшельник» с прибавлением «оглашенный», а «немец».

Если бы читали Потебню, его исследование малороссийских колядок, сразу бы и головы не ломая догадались, откуда у меня «конструктивные» способности и призвание к уборке... Если бы знали Потебню, то безошибочно определили бы источник моей «хозяйственности» или говоря песенно: уменью «гнездо вить», а не приписали бы влиянию моих соседей и приятелей — часовщику Дроссельмейеру и органисту Абрагаму Лискову, хотя должен сказать, и «Щелкунчик» и «Кот Мур», впервые тогда прочитанные, вызвали во мне живые, горячие воспоминания, и я не мог быть безразличен к их «немецкой» повадке.

У Потебни приводятся древние «колядки» и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным «Святым вечер!» — величание одаряющей счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по-особенному, а имя этой птички «ремез» — вот от нее-то я и веду свою фамилию. А ведь известно, прозвища даются не зря...

И как Семен Ульяныч зограф, Тобольский сын боярский,

потрудившийся над сводом Сибирской летописи, почему и зовется она Летописью Ремезовской, так и отец его Ульян Моисеич и дед Моисей, все писали Ремезов, нося имя «первой у бога птицы» и оправдывая дар ее — чего стоит одна Сибирская карта Семена Ульяныча, помещенная в его Хореографской Чертежной книге (1701 г.), с кедрами и елочками сибирских лесов, с церковками, означающими русские города, и юртами кочевников, а какие надписи — какое витье и завитушки, и не даром получил он царскую награду: пять рублей денег и выход. (По толкованию Л. С. Багрова — аудиенцию с царем.)

Знал ли Моисей Ремезов (современник Якова Бёме, Паскаля и Аввакума), что означает его знатное царское и волшебное прозвище и передал ли песню-колядку о чудесной птице сыну Ульяну, а Ульян Семену, не могу сказать, а моему отцу значение фамилии не было известно. А подписывался он по старине — «Ремезов», как писал отец его — мой дед, московский разносчик Алексей Михайлович, песнослов, «своеобытный человек», крепкой породы... И вот однажды на Макарьевской ярмарке, а случилось в трактире в прощальный ярмарочный вечер при всем честном народе, какой-то дошлый, бог его знает, как затесавшийся в компанию, разговорившись с отцом, открыл ему, откуда все мы приходим.

Отец задумался: и как это возможно, он, московский второй гильдии купец, известнейший галантерейщик — и при чем тут «птичья причинность»? Да, в его лавках очень все хитро и вещи лезут сами покупателю в глаза и в руки — искусство и распорядок: «ремезово гнездо!» но он хотел бы происходить не от птицы, а от ткацкого станка «ремиза», он даже согласен на карточный «ремиз»... Известно, купцы, не дай бог, попал на язык и давай — и надо и не надо: «птица» — срам! Отец взял да и поправил себе «е» на «и» — и вышло «Ремизов», — какая же это птица, и как будто не придиришься. А если бы знал он, что по-французски наша птица пишется не с «е», а с «и» — *le remiz* — и, стало быть, зря вся его «фамильная» работа... но по-французски, к его счастью, среди московского купечества не слышно, по-немецки и по-английски другое дело.

А произносилась фамилия и с поправкой, а по-прежнему, как звучала она у Моисея, как величали зографа Семена Ульяновича и как откликался московский разносчик Алексей. И когда соседка Новоселова назвала отца, подчеркнув его самодельное «и», отец обиделся: «Катерина Васильевна, не коверкайте моей фамилии, уши вянют, никакой я не РемИзов, всегда был и останусь РЕмизов». А сосед Ланин («Ланинская шипучка») тут же проговорился, что, мол, «и» или «е» — дело не меняет, и все едино, — «птица», как ни пиши.

Не «птица», а «немец» — долго я под таким прозвищем ходил; иногда «немца» замеяли «кротом», а про «отшельника» забылось, как забылся и «летучий голландец» — мой единственный головокружительный полет на луну на погубившей меня «фуфырке».

А между тем жизнь моя была подлинно «отшельника» и никогда еще луна, «родина всей тоски и всех желаний», не подымала меня так близко к себе, как тут, на чердаке, и первый памятный мне лунный сон — о папоротнике, выросшем из моей головы, я записал под слуховым окном.

Встреча с «Вертером» Гёте останется для меня первым среди первых; Тик, Новалис, Гофман, эти первые мои не-русские книги, кого я слушал и с кем разговаривал. На всю жизнь они станут мне самыми близкими и понятными.

Я был полон тех же чувств; моим глазам открылось то же небо и та же земля, — то ли существо мое одной с ними сущности, и вот душа моя распускалась «голубым цветком». И я не жалел, что судьба загнала меня «под небеса», и меня забыли — я ничего не забыл оттуда и мне хотелось понять, что же такое было во мне и есть, отделившее меня от других, то — именно то, на что у других под сердитую руку вырывалось и обжигало меня: «грубый человек».

Редко кто заглядывал ко мне на чердак, и фабричная жизнь, раздраженные крики и глухая жалоба не проникали ко мне, и только вечером подымалась музыка: играл на кларнете тот мой брат, который писал стихи, или тот, который всегда плакал, играл на рояли, — лунатики.

Мне никто не мешал уходить с этой музыкой в мои далекие странствования, далеко от дома, фабричного двора, шумящей фабрики. И мне понятно становилось, почему, как во сне, вдруг распахивались все двери и открывалась дорога — музыкой: музыка! — это «последнее поддонное дыхание души, тоньше слова и нежнее мысли». И с Новалисом мне смутно вспоминались забытые инструменты, своим звоном вызывавшие тайную жизнь лесов: духов, скрытых в деревьях; а в пустынях, пробуждавших омертвелые семена.

И потом, как это часто со мной бывало и бывает, воспоминания, но с какою горечью, без слов, они проносились перед закрытыми глазами, и я чувствовал себя каким-то навязавшимся в эту жизнь, которому нет места.

Андроньевский колокол пробуждал меня. Глубокий голубой из всколыхнувшегося сторожевого сердца, катился он над Москвой, собирал сумерки в ночь, окликаая живых и мертвых, проживших назначенный срок на земле.

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ*

Баррикадный

В одиннадцать лет Оля много прочитала всяких книг, в доме у них большая библиотека, а за чтением никто не следил. Из Достоевского она прочитала рассказы, изданные для детей, про Толстого часто слышала от отца. Слышала имена и других писателей, но про Чехова ничего.

Перед Рождеством отец приехал в город за Олей. Радости ее не было конца, а пуще нетерпению: поскорее домой. Вместе с Олей отец взялся отвезти и соседнюю девочку Марусю: Маруся старше Оли, ей было лет четырнадцать, а по классу на один выше: и поздно отдали в гимназию и неспособная; Оля ею командовала как старшая.

Дорогой поднялась метель, долго плутали, наконец выбрались в какое-то село, и пришлось остановиться на постоялом дворе. Оказалось, что не их только, а и еще какого-то загнала метель на этот постоянный двор и надолго загородила путь, а может быть, и на всю ночь. Это был высокий, таким он показался Оле, и в пенсне.

Когда подали самовар, отец пригласил его чай пить. За чаем он разговаривал с отцом, расспрашивал и Олю с Марусей, но больше обращался к Оле. И что особенно занимало их — и не как он, морщась, отхлебывал чай, а то, что часто вынимал записную книжку и что-то записывал. Маруся, разливая чай, тихонько подкладывала в его стакан сахар, да и сам он, конечно, положит, и получается не чай, а чайный сироп. Перемигивались друг с дружкой. Или он отвернется, а они за его спиной такие гримасы сделают и потом примутся хохотать. Стал и он с ними смеяться.

А уж близко к ночи, и надо бы ехать. А метель словно только-только что началась. И как ни смотрели в окно, ничего не видно. Пришлось остаться ночевать.

— Как же мы будем ночевать: комната одна! — сказала Оля.

И на это смешной спутник, записавший что-то в свою записную книжку, может быть, о сахаре, который в метель бывает слаще, чем обыкновенно, нашелся.

— А мы сделаем баррикаду! — сказал он.

О баррикадах ничего еще не знала Оля, а Маруся и подавно. И сначала не поверили, но когда разъяснилось, обеим страшно понравилось: оказывается, веселое это дело — строить баррикады!

Натачили стульев, передвинули столы, на столы взгромозди-

* Текст печатается по изданию: Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952.

ли стулья, а стулья заставили чемоданами и шубами, и такое получилось загорождение, разве что мышка проскочит. А что творилось во время стройки: не то пожар начался, не то постояльцы повздорили; хозяин, человек строгий и благочестивый, не раз тихонько приотворял дверь и в полноса заглядывал, но не разобрать было, кто больше дурачился, дети или этот — в пенсне.

Баррикада готова — спать пора! — и улеглись.

А долго не могли заснуть: и смех не сразу унимается и разговор никогда не кончишь. А говорили о «баррикадном», как назвала его Оля. Услышат, кто-то кашлянул.

— Нет, это не папа! — скажет Оля.

— Ну, значит, баррикадный, — отзовется Маруся.

И снова начинается смех.

А как бы им хотелось узнать, что такое он записывал в свою книжку!

На всяких догадках и застиг их сон, тихо заснули и не заметили, как и ночь прошла, а за ночь, перебесившись, и метель успокоилась.

А когда наутро Оля проснулась, видит: отец один за самоваром.

— А где же баррикадный? — первый вопрос Оли.

— Это писатель Чехов, — сказал отец, — чуть свет уехал, а я пожалел вас будить.

С этой метели Оля знает имя: Чехов.

И потом, когда она читала Чехова, ей всегда вспоминалось: и ее счастье, и ее радость, и ее нетерпение ехать с отцом домой на Рождество; метель, постоянный двор и «баррикадный», записывающий в свою записную книжку; и как она и Маруся, куда-то потом пропавшая, слившаяся в общей деревенской жизни, потешались над ним, — и было такое чувство, что не из книги она читает, а слышит, как сам он ей читает из своей таинственной записной книжки.

А догадывался ли когда-нибудь Чехов, как однажды в метель на постоялом дворе, каким был он развлечением для детей и скоротал неизбежную их скуку, а главное нетерпение, когда так бы, кажется, поднялся на воздух и в самую метель с самой метелью улетел домой!

Наперекор*

Оля дружила со всем классом, а с Зиной Разумовской особенно. Почему-то друг другу понравились. Зина училась хорошо, как и Оля. И обе считались смелыми — на уроках их вызывали при всяких ревизорах: никакие «значительные» лица,

ни головоломные вопросы не смутят их. Обе принадлежали к «задумывающимся» — по Достоевскому и к «убежденным» — по Блейку. Такими они на свет зародились.

...Обе читали книги и передавали друг другу. Зина дала Оле «Ниву» за несколько лет с романами Саллиаса и Соловьева, а Оля прежде всего свою любимую в шоколадном переплете золотыми буквами — «Русским детям Достоевский», прочитанную еще во втором классе в пансионе Пенкиной.

Ни Неточка и Катя, ни Нелли, а рассказ из «Подростка», названный «В барском пансионе», вызвал тогда бурные, изливавшиеся со дна сердца, горячие слезы: в рассказе ничего не было, что хотя бы отдаленно напоминало судьбу Оли, кроме пансиона, но, переговаривая словами Достоевского о униженной матери, Оля представляла свою мать, и это были первые слезы.

Год в шестом классе Оля прожила в странной семье Берсеневых, где после смерти матери отец не говорил с детьми и где все было странно до жутких зеркал и жутко потрескивающего по ночам паркета. А Зина у французской учительницы мадам Вьяр.

И Оля и Зина «обожали» учителя словесности Павла Николаевича Соловьева. Оля получила от Зины записку, как всегда, косо и слитно, но все разобрала:

«У мадам Вьяр будет Соловьев, приходи!»

Пропустить такой случай — такая редкость: поздороваться с Соловьевым за руку, сидеть с ним за одним столом! — Оля едва дождалась вечера и в своем легком сером платье, а в таком неформенном гимназисткам не позволялось ходить по улицам, помчалась к Зине.

И обе с нетерпением ждали, когда мадам Вьяр позовет их чай пить. А какими счастливыми вошли они в столовую, где уж сидел учитель Соловьев. К чаю, конечно, они не притронулись и ничего не ели.

— Что вы читаете? — спросил Соловьев Олю.

— «Преступление и наказание».

— Вам рано, — сказал Соловьев, — не можете всего понять.

Оля вспыхнула: она — не все понять?!

И Оля была права: большие произведения тем и большие, что есть в них много окон и много дверей, и в какое окно ни заглянешь и в какую дверь ни войдешь, останется, что видел все; это все — в меру каждого глаза, для четырнадцатилетней Оли свое, для учителя словесности свое, но чувство одно: видел и все понял.

Не пауки Свидригайлова, глазатые и тысяченогие, ткущие жизнь и распределяющие долю живому без пощады и милосердия по своим каким-то соображениям; не баня с пауками — этот образ

то-светной вечности и того неожиданного и поразительного, что откроется человеку, освобожденному от чувств в его смертную минуту; не разожженный уголек в крови Свидригайлова—этот гвоздь всяких романических трагедий, такое совсем чуждое существу Оли, и надо всеми словами сказать, что не только этот один единственный разожженный уголек светит и цветит жизнь человека, а есть и еще что-то, какое-то другое «начало» жизни, с чем зарождаются люди и проходят свою жизнь и в цвете и в свете!—не сыскные фокусы Порфирия Петровича—охота человека на человека—эта душа авантюрных произведений, а бедовая, ничем не оправдываемая судьба погибающих от «непосильной работы»—слова старой няньки, сказанные бог весть когда, и оставшиеся у Оли живыми на всю жизнь; бедные люди, унижаемые праздными и сытыми. И не убийство старухи процентщицы—вши, не Раскольников, прячущий свою преступную тайну под камень на Вознесенском проспекте, а Раскольников терзающийся, его кругом одиночество; и не нищенианские рассуждения Раскольникова о «сверхчеловеке», которому все позволено, а слова Раскольникова перед решением повиниться: перед кем повиниться?—Оля с детства видела и оценила эти суды праздных и самодовольно-легких людей, ищущих денег, славы и покоя ценою лжи, клеветы и помыкательства, суды того круга, в котором она жила и где ей назначалось жить! И, наконец, прожигающее слово Достоевского «сметь»—посметь взять все это за хвост и стряхнуть к черту! А ведь это самая сердцевина ее «настойчивой и пламенно-настроенной воли» и самый глубокий и властный голос ее «врожденной любви к правде».

Нет, Оля все поняла—она увидела больше, чем видят четырнадцатилетние глаза. И учитель был не прав. Но Оля не возразила—но ей было обидно...

Без предмета*

(Стихи)

Стихи самое, что есть живое не только в литературе, а и в жизни—сказки Шехерезады расшиты стихами. Пока мир будет стоять, будут выходить стихи. А уж дальше пойдет то самое замерзание—дышать нечем!—о котором говорится в естественной истории, и, наконец, взвихренная земля сотрется в космический порошок.

Критика—гонители стихов и с ними актеры, «декламирующие» стихи, как прозу, нарушая глубокомысленными паузами ритм, и не защелкивая рифму, подлинно закоренелые изверги—

«враги рода человеческого», отворачивающиеся от самого живого в живом. Уж одно необычное расположение строчек в стихах, постойте! — и читать не обязательно: при одном взгляде зазвучит. А этот стихотворный ритм и есть сам звук жизни.

А ведь жизнь — ее природа, ее глубочайшая скрытая завязь — «это все сильное глухое, темное и немое существо странной и невозможной формы» — этот огромный и отвратительный тарантул Достоевского, этот приземистый, дюжий, косопалый человек в черной земле с железным лицом и с железным пальцем — гоголевский Вий — для живого нормального трезвого глаза, не напуганного и замученного, никогда не «тарантул», никогда — «пузырь с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал, на которых черная земля висела клоками», никогда никакой Вий с железным пальцем, нет, никогда не это, а все что можно себе представить чарующего из чар, вот оно то и есть, душа жизни.

И есть такие люди, одаренные воздушными песенными чарами, — так не пройдешь, не заметив. Мало того, даже не чувствуя в себе никакой словесной склонности, при взгляде на них начинаешь сочинять стихи. И такие люди вовсе не какие-нибудь «роковые» и «демонические» вроде гоголевской «сверкающей» панночки, и совсем не под стать подмосковной полотке с «инфернальным изгибом» — Грушеньке или Катерине-«хозяйке», и ничего в них мучительного, как в Полине и в Катерине Ивановне, и ничего мучающего от Лизы Хохлаковой, — ничего от Достоевского...

Без указки*

Второй приезд Оли из Петербурга на каникулы, когда Оля перешла на третий курс, остался навсегда памятен: так много мыслей прошло за это лето, точно в первый раз Оля взглянула на свет — и вот мир стал другим через эти мысли.

За это лето Оля много думала и не так, как привыкла думать в Петербурге — над книгами и программами, над всем тем, что составляло жизнь Оли на Курсах и в революционных кружках.

Там была теория — там жизнь рассматривалась книжным глазом; при каких-то предполагаемых «равных условиях», делались выводы со всеобщим значением о каждом, как о всех; а тут были отдельные случаи, под которые нельзя было подводить всех и заключать о всех — тут была та самая «живая жизнь», любимое выражение Достоевского, который этим словом обозначил своеобразное и всегда наперекорное всеобщему отдельное человеческое действие, или, по Лескову, тут выступала «бьющаяся живая

жила», заявляющая о себе, вопреки всяким рассуждениям, и как часто ни с чем несообразным, неожиданным действием, тут выходило на свет основное гоголевское: «Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!», или знаменитое, легко принимаемое, глубочайшее хлестаковское: «У меня все вдруг».

Ни что такое человек, а чем бывает человек? И ни что есть человек человеку, а что такое бывает человек человеку? Так и только так можно говорить о «живой жизни» и об ее «бьющейся живой жиле», заявляющей во весь голос:

«Я хочу и буду поступать так, как поступаю; я хочу и буду жить без указки всегда и во всем!»

В гимназии среди гимназисток был кружок «Союз дружбы». Всех участвовавших соединяла настоящая дружба: Нина и Катя Муравицкие, «чудесная» Люда Резилова и ее сестра Надя, Вера Горлина и Нина Мавлютина...

В это лето умерла Катя Муравицкая, одна из участниц «Союза».

Кате девятнадцать лет, умерла она от чахотки. Катя хорошо играла на рояле и, больная, все говорила: «Кому я передам свои руки для игры?» И все смотрели на ее руки—на ее тонкие, бледные с синими ногтями пальцы, бессильные—Катя больше не играла, и передавать-то ей уже нечего было, ее искусство давно пропало; и если она так говорила, в ней говорила еще не угасшая память, и от этих слов ее было особенно жалко. Ее повезли в Крым: с ней ездила ее сестра и Павловский—Павловский жених Кати. И вдруг—назад привезли: в Крыму ей стало совсем плохо. А вскоре она и померла. Ни мать, ни сестра так не горевали, как Павловский: он переехал к Муравицким, чтобы быть всегда в той обстановке, где все было близко Кате, купил ее рояль, хотя ни сам и никто в их семье не играл на рояле, и шесть месяцев не произнес ни одного слова,—он только кивал головой, отвечая на вопросы. Жалко было смотреть на него! Вот как долго живет память!

Оля познакомится с Павловским потом в Петербурге и узнает на его руке Катино кольцо. А потом уж узнает, что он женился на Логоватой, тоже бывшей гимназистке, которую не любила Катя,—оборот поизвилистей описанного Гоголем в «Старосветских помещиках» в судьбе «страстно влюбленного», предмет страсти которого тоже «поражен был ненасытной смертью». Но сейчас перед Олей был только пример знойной памяти и «палаячей тоски», которую не может погасить время...

В это лето сошел с ума студент Черкасов. Сумасшествие Черкасова—редкий случай, известный, как «сумасшествие от любви», в русской литературе встречается однажды: у Писемско-

го в «Водовороте» — судьба Григорова. Черкасов не принадлежал ни к каким революционным кружкам, он был только сочувствующим во всем Оле, перед ней не скрывал этого, но в своем безумии выкрикивал слова Оли, спорил и нападал на воображаемых противников... Главный его «пункт» заключался в том, что Оля окружена врагами, и ее жизни грозит опасность, и он не расставался с револьвером, которым впоследствии и убьет себя, — «он лежал распростертым на канаве, кровь была у него фонтаном изо рта, в правой и как-то судорожно согнутой руке он держал револьвер», это из Писемского, но так будет и с Черкасовым: ведь это его страсть окружала Олю, его страсть была тем самым врагом Оли, которого он так ненавидел и подстерегал с револьвером.

Оля чувствовала глубокую жалость к Черкасову, а за этой жалостью скрывалась какая-то вина: Оля чувствовала, что она чем-то виновата, и не могла найти, в чем именно ее вина. Оля ничего не делала, чтобы привлечь к себе Черкасова, в ней не было никакого «кокетства» — в Оле не было никаких «инфернальных изгибов», по терминологии Достоевского, тянущих человека в пропасть. Русский народ, и это заметил Лесков, различает: есть «любовь», а есть «любва», глагол «любить» и глагол «любиться»: Грушенька — это «любва», Оля — это «любовь». Олю можно было полюбить, и только полюбить. И вот оказывается, что и там, где «любва», и там, где «любовь», вешаются, стреляются, режутся и травятся, а также... и режут, и что самые знойные песни сложены не только про «любву», а и про «любовь»...

В это лето умер отец Оводова. А был он странный человек, не как все. И вовсе не самодурство руководило им — ни это «здорово живешь» — самое страшное, как и все, где не можешь ответить «почему». Александр Петрович задумался, как надо людям жить, — и по своему понял Толстого. Сосед Оводовых Корецкий, у которого старшие сыновья кончали университет, тоже начитавшись Толстого, свою младшую дочь не отдал в гимназию и вообще решил не учить, убедившись, что «просвещение» принесет только вред — Толстой прав, Оводов же не видел ничего вредного в ученье, но считал для каждого обязательным уметь все делать своими руками. Сам, не молодым уж, изучил все ремесла и заставил сына и дочерей выучиться, и дети наловчились по-всякому, например, Сергей Оводов мог сделать фазтон. Кроме этого практического убеждения, у Александра Петровича была страсть: лошади. И лошадей он жалел больше, чем домашних: лошадь пальцем не тронет, а детей бил. Дети его боялись: если надо было ехать в город, кто-нибудь отваживался и спрашивал, можно ли взять лошадь, а другие с трепетом ожидали ответа, стоя около двери. Мать, тихая и добрая, всегда за детей

заступалась, и дети не раз слышали, как отец стучал кулаком по столу: «молчать!» Дочери не позволил выйти замуж не потому, чтобы почувствовал, какой это подлец Костобобров, а просто потому, что Костобобров бедный, а значит, дрянь...

Лепта из вечного*

...По вечерам, а зимние вечера, когда нет и проблеска дня, бесконечны, Шидловский заходил к Оле. Молчаливый, он мог часами сидеть, не давая о себе знать, и это молчание не беспокоило: ведь за его суровостью ничего не скрывалось, а было, как чистое поле, а в глазах — беззаветная верность.

— Я буду вышивать, — скажет Оля, — а вы мне читайте.

Так прочитали Лермонтова «Герой нашего времени».

— Когда-нибудь я вас встречу, — сказал Шидловский, — как обрадуюсь, а вы скажете, как Печорин Максиму Максимовичу: «Да, что-то припоминаю».

После Лермонтова Оля выбрала Достоевского: «Преступление и наказание». Но с Достоевским дело не пошло. Чтение было прекращено на той сцене, где изображено последнее унижение «бедности», на решающей для Раскольникова встрече на Конногвардейском бульваре.

«...Выглядывая скамейку, — читал Шидловский, — Раскольников заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину... Она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи (матерчатое) платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, а сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное: целый клоч отставал и висел, болтаясь. Маленькая косынка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны...»

— Не могу больше читать, — крикнул Шидловский и бросил книгу, — не могу вынести.

Или этот образ человеческого позора обжег сердце, раненое однажды, или в этом образе позора оскорблена была его беззаветная и безоглядная любовь к Оле — этот чистейший образ недосягаемой и недостижимой, гордой и правдивой.

Достоевского Оля заменила Писемским.

Вопиющее надругательство человека над человеком и человека над самим собой — вот закон «ошибочного» мира, и никто не нес его в себе так полно, как Достоевский, — потому-то от его признаний и такая жгучая боль. У Писемского с его полетом, как сам он о себе выразился, не орлиным, но и не лживым, этот

мир — не «ошибочный», а только «привычный», а ведь если привычный, то его и нарушить можно и переделать, и потому самые возмутительные сцены из жизни этого «привычного» мира — «картины нравов нашего времени, где собрана вся ложь России», читались гладко и увлекательно, как исторические романы.

В «Взбаламученном море» особенно поразили Шидловского слова Сабакеева — Сабакеев революционер: на уговоры сестры, остерегающей брата — покинутой мужем сестры, для которой гибель брата равна гибели ее детей, а, значит, больше ее собственной — «очень жаль, — ответил брат, — и если б от этого в самом деле погиб я сам, мать, ты, дети твои, все-таки, я ни на шаг бы не отступил».

А лирические «хоровые» концовки — Писемский ученик Гоголя, как и Гоголь, любил театр, и после Гоголя, как чтец, первый — нравоучительные и мечтательные концовки трогали. И особенно растрогал запев старой крепостной песни — Шидловский повторял его сотни раз за белокурым студентом, который в московской бильярдной, опершись на кий и подобрав высокую грудь, пел чистым тенором:

— Уж как кто бы, кто моему горю помог...

Оля*

...Есть в именах тайна. Знать имена, значит владеть их силой: на этом основаны заклинания. Именуют человека неспроста, все равно по календарю или по пристрастию: в имени знак его сил и судьба.

Произошла перемена: пламенная Серафима в лунную Ольгу. Ольга вышла из мечты Серафимы. Стало быть, такое превращение возможно в свете и цвете жизни...

С кем идет Оля в русской литературе? Да такой нет, одна. Но есть же кто-то ей не чужой, кого она могла выбрать себе в подруги?

Вспоминаю Лизу — «Некуда» Лескова и тургеневских: пламенную Марианну «Нови» и Елену из «Накануне».

Оля любит переговаривать Татьяну. Или оттого, что образ пушкинской Татьяны, единственный, овеян таким горьким светом, недаром и вызвучено Чайковским. Горький свет — цвет человека, неужившегося со своей судьбой. А верность слову, перед образами или в мэрии, исполнение долга, вызвавшее восхищение Достоевского, да это как-то само собой и не имеет значения: Татьяна не собачонка, что можно приласкать, но можно и турнуть.

Оля задумывалась о судьбе Лизы «Дворянского гнезда» —

говору за Достоевским о Лизе после гордой Татьяны—Лиза отходит от своего счастья, Лиза уступает и идет в монастырь на казнь: от любви никуда не уйти и нельзя позабыть. Лизу жалко, как жалко Анну Каренину, обманувшуюся, поверила в какую-то докончателъную любовь какого-то верхового пентюха, оскорбленную и покинутую.

Но кто Оле чужд, это все зверовидное тургеневское: Одинцова, Полозова, Лаврецкая, Ирина, и толстовская Элен, а у Лескова Глафира («На ножах»), у Писемского Екатерина Петровна («Масоны») и, конечно, Саломея Вельтмана.

Чужды Оле и карикатуры с «инфернальным изгибом», что представлено у Достоевского, как «бунт и соблазн крови». Не свое, конечно, и такое трогательно «животное», как добродушная Тетеся Квитки-Основьяненко. А надо сказать, что эти бессловесные Тетеси всю жизнь льнули к Оле, как и любимые—все эти безумные, блаженные, юродивые и ни на что не похожие.

* * *

«Люди мои, братья мои, я прожил весь в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь. Любите ее до преступления, до порока. Все—к подножию Древа Жизни. Древо Жизни—новая правда, и это одна правда на земле. И до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни... Жизнь—в самой жизни. А выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг... Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни... Я был тоскующий человек, но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, зеленое человечество с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого не надо, воистину—не надо...» (В. В. Розанов о К. Н. Леонтьеве²—1831—1892. Новое время, 23 февраля 1917 г.).

«Василий Васильевич! (Розанов.—Л. Б.) Ваша мечта, новая правда: жизнь, потому что вы прожили свою жизнь в тоске и неудаче. Но кого вы сунете под ваше Дерево в беззаботное зеленое человечество? Я их всех вижу и первую вельтмановскую Саломею, а за ней тургеневских и толстовских зверовидных и кобылиц Достоевского Аглаей и Грушенькой, все они с «угольком». К ним в «союз» вы присоедините зеленых с Сингапура из края роз и яда. Сам я там не был, а знаю от И. А. Гончарова, пишет с Фрегат Паллады: «Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жаркодышащим ртом, с волнуемой грудью, но видеть

перед собой только это лицо, никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали—устанешь и любоваться».

«Василий Васильевич! Мою Посолонь я вам читал на все «гласы», вы знаете, как я люблю природу: весну, осень, траву, зверей и птиц—«жизнь», но больше недели прожить на лоне природы не в состоянии. Все вокруг топчется и всякие мелкие зверки и букашки и толкачики—все они роятся «на радость», а мне хочется книжку почитать, «помучиться», и затоскуешь. Я родился с «подстриженными глазами» и природа с ее разнообразием меня утомляет. На вечерний закат—кто только не восхищается!—или как англичане, не отрываясь, смотрят из автокара на бретонские морские сверкающие переплеты, но мне достаточно только глянуть и отвернуться. Люблю грозу, северное сияние, пожары, но какие могут быть пожары под Древом Жизни. Уж очень под вашим Древом Жизни благообразно, Лермонтов от скуки просто разложит костер и подожжет—туда и дорога и со всеми райскими плодами. Я понимаю, откуда ваша мысль, да вы и не таите: «истосковался, неудачи!»—вы мечтаете о рае божьем. Древо Жизни! Вы сами знаете, не знай с которой стороны подойти: дети хворают и редко не услышишь жалобу: у кого спина, у кого печень и постоянная зависимость от погоды и со всех сторон тиски, я говорю о внешнем, осязательном, не о душе—там ад без срока. Человек выбрал другое дерево и свою волю не уступит до смерти. А хочется тихо в своей норе посидеть, и чтобы было тепло, главное, натоплено, а по Достоевскому еще и чаю попить, а по мне и с баранками, и без всякого Лермонтова, вообще без «человека», а только домашние животные допускаются, пускай себе лают и мяукают и если охота топчутся на здоровье. А людей «лунного света» и с ними Олю? Помните, как в первый раз заглянув ей в глаза, вы, обратясь ко мне, сказали: «Серафима благородная, а мы с тобой...» Я понял, о чем вы хотите сказать,—Олю вы не принимаете под ваше Дерево, в ваше цветное Телемское аббатство? Но если бог кладет в человеческое сердце раскаленный уголек, он же озаряет и белым, самым жарким светом—Древо Жизни многолиственно и много поясов, оно покроем с головой ваше зеленое и среди них вы первый заскучаете и как было в жизни, посоритесь и полезете вы туда, где Оля. Оля—это мечта, «без которой ни бога, ни его Древа Жизни»...

С первого глаза*

Я еще ничего не печатал, а про меня идет слава: писатель-декадент. О декадентах все знали по статье Н. К. Михайловского в «Русском богатстве».

«По Пензенскому делу непартийный с.-д. писатель-декадент», что означало «никуда»,— мое написанное проходное свидетельство в Устьсысольск.

* * *

Пройдя через Вологодскую тюрьму, пять суток плыл я по Вологде, Сухоне и Сысоле. На медовый спас— 1 августа (1900 г.) рано утром под звон колоколов—звонили к ранней обедне, пароход причалил к пристани, дальше ехать некуда: Устьсысольск, по-зырянски Сыктывкар.

Я поднялся на высокий берег и с легкой ношей—этапный мешок за плечами, пошел в город.

Приютил Федор Иванович Щеколдин, староста и казначей, старейший из ссыльных, учитель, подобие Варлаама индийского...

К раннему чаю собрались другие ссыльные: приезд нового—событие, и любопытно: такого еще нигде не водилось: декадент!

Настоящие люди, попадая в такие края, справляются у старожила про охоту. Дрианского я читал—первый по богатству слов и зверя знает, как родного брата, а я и в лесу никогда не был и слова из словарей выписываю, мне охота, как апельсин корове, мне бы до книг добраться.

И тут я услышал о Оле.

Ольга Александровна Ильменева из Петербурга по делу с.-р.; год держали ее на Шпалерной в предварительном заключении, с месяц как приехала в Устьсысольск. В ссылку привезла много книг.

Я подумал: «Стало быть, нас вместе арестовали в марте: ее в Петербурге, меня в Пензе».

После чаю решено было идти к Оле. Щеколдин взялся меня проводить. Кстати, ему нужно по своему делу.

* * *

...Я смотрел кругом—какая нависшая грусть над притаившейся пустыней. Я узнаю прародину человечества, крайний камень откуда выйдет и пошел, разбредется по лицу земли, человек. Я вижу первого человека, зверей и духов под пологом двух слившихся зорь. И читаю древнюю память человека о создании мира—о природе жизни из отчаяния и восторга...

У Оли сидел Оводов и она была недовольна, что так рано. А Оводов нарочно пришел пораньше и возился у Олиной хозяйки: он сделал для Оли стол и полку—он все может сделать, а для Оли даже и такое, о чём никогда в голову не приходило.

Оводов лесник, кончил Лесной институт, ему все лесные породы, как мне «кикиморы», он охотник, читал и Дрианского, только оценил его не за слово, а за охотничью точность и разнообразие охоты...

В комнате хозяйские вещи, но было и свое—на комодѣ коробочки и книги в переплетах—Михайловский. Я протянул было руку, но Оля заметила, я это почувствовал, и как, отвечая Щеколдину, отошла к комоду.

И когда я заговорил о книгах, она ничего не сказала, для меня неожиданно, стесняясь.

И я представил себе, как она тут беспомощна и одинока среди ссыльных. И жалость смутила меня. И я продолжал о книгах, но не выпрашивая, а предлагая ей.

— Мне обещали,—сказал я,—присылать все новинки французских символистов—прямо из Парижа...

— А скажите,—Оводов обернулся ко мне, глаза его нехорошо смеялись,—Ремизов! Вам не родственник Ремизов у Горького?

Я не сразу сообразил: «у Горького»? но почувствовал ревнивую неприязнь.

— Нет, не родственник,—ответил я растерянно, как пойманный.

— У Горького дважды,—продолжал Оводов,—в «Вареньке Олесовой» Сашка Ремизов конокрад, а в «Фоме Гордееве»—золотопромышленник.

Щеколдин прощался. Оля предлагала нам чай с медом.

Мне было очень грустно.

— Сюда мне не дорога,—подумал я и мое, извечно наперекорное, глубоко повернулось во мне.

— А по-моему, Ремизов повар,—сказал Щеколдин,—не то в «Троих», не то в «Исповеди».

Непоправимое*

С Олей я не встречался в Устьсысольске. Оводов оберегал ее. Я, сидя в своей кикиморной норе, с кличкой «декадент», за самый короткий срок превратился из Ремизова-конокрада, золотопромышленника и повара в Басаврюка Подстрекозова. Как-то к разговору о жизни ссыльных Горький рассказал мне обо мне такие истории в пору Вечерам Гоголя: и волшебство и безобразие; я помалкивал—кому же не хочется быть и краше и богаче!

Оля научилась переплетать и однажды Щеколдин предложил мне, будто бы от Оли, переплести что-нибудь; я дал Историю философии Льюиса. И не скоро, а вернулась ко мне книга в переплете—«декадентский», не смеясь смеялся Щеколдин: одна сторона синяя, другая желтая, а корешок красный под кожу в

пупырышках. Храню эту единственную память, пусть сделанное на смех, но я и такого не заслужил...

* * *

Его я знаю по портретам и рукописям — тетрадь с рассказами. Заруцкий поляк из Ломжи, тонкие черты — печать духа и культуры. Учился в Дерпте. По-польски начал писать еще студентом, стало быть, с тюрьмой лет пять и с год по-русски — для Оли.

Почерк мелкий убористый — латинский без усов. Лирическая проза — осенний день, печальный вечер, а ночью метель, а во сне распятая дорога, полевые цветы. Его учителя Красиньский и Норвид³, а путь Марлинского⁴, русского ученика Сенковского⁵ — польская руда в русских ладах, как Киевский распев...

И что было для Оли удивительно, Заруцкий, в свои последние отчаянные дни, говорил ей обо мне, советуя познакомиться поближе, а знал он меня только по слухам: Подстрекозов.

Заруцкий отравился, он не Оводов, не земляной, а воздушный и все чувства его больнее...

«И разве можно заставить себя что-нибудь любить?» — спрашивала она себя и возмущалась нашептыванию голосов, которые осуждали ее. А перед глазами возникал, все заполняя, образ человека, который любил ее и не вынес своей жгучей любви. И чувство вины и непоправимое терзало ее.

Я встречу еще одного человека, тоже обнаженная совесть, это А. А. Блок. Мне говорили, таким был Глеб Успенский.

* * *

...Обыкновенно после обеда Щеголев читал вслух Чехова. И стихи декадентов — 1902 год — Бальмонт, Брюсов, а из старых Фет. В этот раз Бодлер, перевод П. Я. (Мельшина-Якубовича)⁶. Хорошо читал Щеголев, отчетливо.

Зажгли лампу. Самая осень. Слякоть и ветер. Помню число: 26-е октября. Для Бодлера подходит.

Я попросил книгу себе на вечер. И, прощаясь, заглянул проверить: книга не Щеголева, а Оли и посвящение.

* * *

...На ночь я приготовил самовар и читаю Бодлера. Угольки из печки с теплом поблескивают.

Еще самовар не допел свою песню, слышу стучат...

Я отворил и не верю глазам: Оля. Ее зеленая кофточка была

вся исполосована черным дождем, а на голове поблескивали дождемки.

Она пришла за книгой. Она видела, как Щеголев дал мне на вечер, книга память, а от Щеголева назад не получить.

— Прочитайте мне что-нибудь!— сказала она и села у печки.

И я начал из «Непоправимого»:

Властны ли мы заглушить неотступную старую Совесть?

Живучая, извиваясь и кипа,

Она питается нами, как червь мертвецом,

Как гусеница дубом.

Властны ли мы заглушить неутолимую Совесть?

И я почувствовал, как под моим голосом она вся вздрогнула. Я закрыл книгу и подал ей. Но она с удивлением посмотрела на меня. И тут я заметил, что лицо ее пылает и волосы спутались, и она все поправляла, точно хотела снять с голову.

Я пробовал о Бодлере, но она никак не отзывалась, да она и не видит меня. Я отошел к окну, поправил вздувшиеся занавески и все думаю, что нет у меня ничего к чаю— угостить.

Но ей ни до чего было, она сидела как будто спокойно, но глаза ее закатывались и стиснутыми зубами, как бывает от досады, так резко— этот звук нельзя слышать безразлично.

Я налил ей горячего чаю, думаю, согреется и отойдет. И вдруг она изменилась: она смотрела в меня и просила, но я не мог понять, что ей нужно. Я даже спросил. Но она не ответила и только глядела с такой болью и стиснутыми зубами— этот звук, от которого падает сердце.

За окнами вышептывало из ночи. Их было много, они раздували занавеску заглянуть. Я поправлял, переходя от окна к окну. А она сидела, не шевелясь, то с горечью глядит, прося или напомнить хочет?— то уйдет— белые глаза.

Я вышел в кухню подогреть самовар. Надо было что-то сделать, и не знаю. Перемыл посуду и вернулся.

На мои шаги она поднялась. Она была не та: с лица сошла краска и белое до сини переходило в синь— или так гляделось моим глазам? Она заторопилась, но что-то задерживало: хотела ли она сказать мне о своем решении, ведь надо ж кому-нибудь сказать, и мучилась, не могла выговорить. Книгу она не взяла. Так и ушла в черный дождь.

* * *

Помню на утро: укор— разве можно было так бросить человека? но что же мне было делать?— откором глушило совесть.

За ночь все переменялось — кончилась осень — подсушило дорогу и серые тучи несли первый снег.

«Как это хорошо, зима!» — подумал я и снова глубоко резануло: о ночи.

Олину хозяйку я застал встревоженною, она махала руками, повторяя: «несчастье!» Это одно слово распахнуло тайну ночи: утром Олю свезли в больницу.

Хозяйка повела меня в комнату Оли. И сразу я узнал знакомое по первой встрече в Устьсысольске: те же в переплетах книги и на комодке всякие коробочки. А на столике, около кровати, развернутые порошки.

— Ими! — показала хозяйка и всплеснула руками.

— Отравилась! — сказал я и острой жалостью обожгло меня.

* * *

На третий день опасность миновала, и меня пустили в больницу. Я подошел близко — как мне обрадовалась Оля! Никогда она так не смотрела — с такой любовью. А в словах ее было такое, будто мы век знали друг друга. И на лице ее, светясь, светила ее улыбка, которая погасла в ту ночь.

И что удивительно, потом я заговаривал о этой ее ночи, но она ничего не могла вспомнить. Эта ночь прошла для нее, как глубокий сон, что тоже смерть.

Оле надо было умереть, чтобы под другим именем начать жизнь — свою страду.

Наташа*

...Мы всегда были богаты бедностью. Как мы прожили в Одессе и Киеве — только молодость, да говорят еще, что я родился счастливый. И никогда не расставались с Наташей. А в Киевский пожар я вынес ее на руках через огонь — безумные и дети огня не боятся.

В 1905-м году министр внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирский разрешил нам въезд в Петербург. В Петербурге начинался толстый журнал «Вопросы жизни», редактор Н. А. Бердяев⁷, издатель Д. Е. Жуковский. «По протекции» Льва Исааковича Шестова⁸ и самого Николая Александровича, оба отлично понимали, что плутуют, я получил место заведующего конторой.

При редакции нам две комнаты: в угловой Серафима Павловна с Наташей, а тут я ючусь, и тут обедаем и чай пьем и Наташу купаем. А на кухне в кутке Ганна, берестовецкая девочка нянька, очень скучала по малороссийскому салу, и поет

над Наташей про «Гули, сиры гули, во червонных, во чоботах...». Сорок рублей жалованья в месяц, и почему мне такое число мучеников, так и осталось тайной, а прибавки я не дождусь: к новому году все вместе с журналом вылетим в трубу.

К вечеру, как зажигать лампы и служащие разойдутся из конторы, а редакционный прием кончился, я брал на руки Наташу и выхожу в зал и начинаем игру: Наташа порядочно кукует, чище часов с кукушкой, лукаво показывает язычок и ловко пальцами строит нос, а к пасхе и говорить научу, то-то сказки скажутся!

Мы весело жили.

Я был не только заведующий конторой, а и всем редакционным хозяйством — дворецкий — домовый.

Образцовый порядок, каждая вещь на своем месте, бухгалтерия, по бумажным и типографским счетам без задержки, а гонорары выплачивались до выхода книги после верстки и редко за кем из сотрудников не числился аванс, конторские барышни блестят, как паркет и все двенадцать окон, конторские мальчики, нагуляв себе рожу, наскакивали, лупя друг друга, как жеребята, ни одной жалобы, ни косога взгляда, в комнатах тепло, полное освещение и смех.

Но существо дела — расчетливость и коммерческая сметка — мои торгово-промышленные и биржевые родственники от меня открестились бы, да и сам хорошо понимаю, какой я хозяин! скажу наперед: и году не протянули, сорок тысяч ухнули, когда при расчете можно было двадцать ухлопать.

Часто заходил в редакцию А. А. Блок, студент в голубом. Если случится меня позовут по хозяйству, я не кликал Ганну, а Блоку передаю Наташу нянчиться. Бережно и нежно брал он ее себе на руки и она, глядя в его лунные глаза, показывала перед ним мою науку или тихо сидит, зачарованная голубым.

Забегит из «Нового времени» В. В. Розанов и всегда ручки поцелует.

А что Сологуб, что Мережковский — звери и дети чуют, я и не навязывался с Наташей.

Д. С. Мережковский, глухой к музыке, терпеть не мог детей и с каким-то гадливым страхом сторонился.

Начитавшись всяких житий о старцах, как старцы с медведями ладили и детей не отгоняли, однажды Мережковский, побуждаемый высокими чувствами — да ведь и в Евангелии сказано! — победив в себе омерзение, посадил на колени Наташу. Наташа не брыкалась, но что-то поняла и носиком стала такое выделывать, как тужится. Тут Мережковский вдруг опомнился и возопил, именно возопил: «Зина, убери, огадит!» А случившийся В. В. Розанов, лукаво подмигнув, заметил: «Дмитрий Сергеевич свои, им самим зас...ые, штаны бережет».

Наташу называли «редакционное дитя», но секретарь редакции Г. И. Чулков (имя то историческое, по грамотам XVI века великие сутяги!), «мистический анархист», к рукописям близко ее не подпускал, да она и не стремилась, ее занимал брыз и лом, из которого морды смотрят. Понемногу стала она различать и говорить не по-кукушечьи, а слова: «Папочка, не уходи!» А станешь объяснять ей и как будто все понимает, а сама опять свое: «не уходи!»

По ночам не спит, и чтобы с ней разговаривать и не слова, мои лады слов — она вслушавшись вся, ведем, я видел по глазам и как складывает губами: «еще!»

«Наташа! в те ночи сколько сказок мы с тобой насажали. Ты жила тогда в сказочном мире, а я из того мира никогда не уйду».

Хозяин Дмитрий Евгениевич Жуковский, издатель неподъемных кирпичей Куно Фишера⁹, философ, сам не писал, а любил в философских разговорах вставить замечание о трансцендентном, по образованию зоолог. У Дмитрия Евгениевича была страсть покупать именья: осмотрит, приценится и соображает, чтобы в следующее воскресенье или на неделе еще куда в Смоленскую катнуть и там осмотреть другое и прицениться. Исколесил всю Россию, сюжет Гоголем не предвиденный: не мертвые души, а земля и со всеми угоды и хлебом стоячим и молочным.

Помню, вернулся Жуковский из своей Чичиковской поездки и, не заезжая домой, на Мытнинскую, прямо в редакцию. Был Бердяев. Встречаем хозяина: Бердяев с «трансцендентным», я с бухгалтерией. И видим, сияет. «Нашел, говорит, подходящее, но цена!» Никогда этого подходящего именья он не купит, а решено закрыть журнал.

Так и кончились «Вопросы жизни» и все кончилось: наши комнаты опустели...

Мать

...Я последний и нежеланный, роковой.

Моя мать из «Некуда»: Лесков для своего романа пользовался хроникой «Богородского кружка» московских нигилистов.

Моя мать из богатой московской семьи вышла замуж не по расчету — революционерка не продается, и не по любви, другого она любила: художник семейный, имя не громкое, она вышла замуж — «назло». Так словом «назло» прозвучал ее ответ, но не людям — ей что мнение? она нигилистка, и не ему — оказался так

себе, нет, *туда*, в черные судьбы жизни, в тайное, по чьей прихоти содрогнулась моя душа и в моих глазах пустырь. Она взяла на свою душу неподъемную тяжесть: мечь. И пять лет она держала зло на сердце.

Нас пятеро, осталось четыре: одного из братьев она сама кормила, и он помер, отравленный ее молоком. Я последний — из какой пучины злой тоски я родился! — с моим появлением больше она не выдержала — я освободил ее душу. Без повода, без объяснения она уехала и всех нас увезла с собой из отцовского дома. Отец был ей за няньку — так до смерти и осталось для него тайной: за что?..

К ней, в ее спальню, нас не пускали. Я подсмотрел: читает. Потом я буду ходить в библиотеку менять для нее книги. Книгами она убивала время. Бывали недели она не выходила к нам. Когда нас уложат, на кухне ужинает прислуга, все спят, а я прислушиваюсь: я не мог понять, что говорилось о матери, но мне было чего-то беспокойно...

Когда я перешел от чистописания к книгам, редко, а удавалось заговорить с ней о книгах. Не легко это было: очень подозрительная — ни во что не веря и не доверяя никому, она, как я о себе в шутку: «Я всегда провожаю гостя до дверей не из почтения, а бог его знает, стянет еще чего!» Я узнал от нее и о Лескове и о первых нигилистах...

* * *

О матери я прочитал у Достоевского в «Подростке» и у Толстого «Анну Каренину». И у Достоевского и у Толстого очень похоже. Я себе ясно представил «Мать». Но почувствовал всю силу этого слова через Олю, когда Оля, переступив за заповеданное ей, превратилась в Серафиму Павловну. И по ее разлуке с Наташей и по ее чувству ко мне и моему к ней. Я как бы снова прошел свои первые годы под ее материнским глазом.

Она меня учила моей любимой русской словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет — и цензором в литературе и в жизни. Сколько бы я наделал глупостей — к своему часто бываешь и слеп и глух — ни в чем не зная ни меры, ни удержу, и при моем безграничном доверии к человеку, и воображению — видеть не то, что есть, а то, что тебе хочется и всегда нарядное, увенчанное, в «розовом свете». Она предостерегала меня и как мать, выговаривала...

Я кочевник или поневоле или в снах, попадая в сферическое пространство Лобачевского, а в простом Эвклидовом мире я сидень и один так всю жизнь и просидел бы в своей комнате за

книгой. Все, что удалось мне в жизни увидеть, а не вычитать, все по ее воле и выбору.

А мои сказки — мои неправдашные рассказы, она слушала с улыбкой и никогда не пробуждала окликом трезвого и черствого сердца: «неправда»...

В беспастушное пространство*

...Когда-то я изучал философию, перевел с помощью Бердяева книгу Леклера — К монистической гносеологии — и одолел речь философов, но сколько ни пытался философствовать, ничего не вышло: какая-то паутина с застрялыми мухами, так путался я в словах. И осталось только мое пристрастие к «философствованию»: люблю слушать, как Иван Александрович Ильин¹⁰, самый блестящий из московских учеников Гегеля, разговаривает.

Из философов огнем застряли в моей памяти Гераклит и Эмпедокл. Из семи мудрецов меня особенно поразил Фалес своей бездонной памятью, он помнил Океан — живой: водный и воздушный, верно и о рыбе той помнил, самой первой, о которой я услышал на первой лекции по анатомии: по ее строению все мы, люди, звери, рыбы и птицы. И, конечно, оставил память Пифагор числами и своей судьбой — о жизни древних вообще никто ничего не знает, все пропало, а говорю по Сенковскому; барон Брамбеус и не то еще знает: как мечтал и просился Пифагор воплотиться в собаку — высшее и верное воплощение, а определено ему было жевать траву и он воплотился в корову. А по моему званию? — мне полагается где-нибудь приткнуться около Плотина. Когда-то Шестов напечатал статью о Плотине, находчивый редактор в последней корректуре заметил и исправил шестовское «и» на «о», и вовсе не для безобразия Плотина превратил в Платона. А «для безобразия» был грех, но только со мной: И. А. Давыдов написал рецензию на книгу Рожкова¹¹, Рожков известный петербургский «экономист», Серафима Павловна служила корректором в «Вопросах жизни», принесли корректуру, и я заметил, что вместо Рожков набрано «Розиков», и, не показывая Серафиме Павловне, исправив на свой страх опечатки, но, не трогая «Розикова», отослал в типографию, да так и вышла книга с «Розиковым». Хототу было, но и обидя: этой рецензии Рожков ждал, а Давыдов старался, и ведь все в похвальных выражениях: «Розиков — Розиков — Розиков». Я тогда совсем забыл, что ведь все падет на корректора, ну мне за это и отплатилось и через много лет, тут уж в Париже*: самый лучший отзыв о «Крестовых Сестрах» появился в женевской газете, но вместо Ремизова напечатали

* С 1921 года А. М. Ремизов жил с женой в Париже.

жирным шрифтом: «Ремозоль» и в заглавии и в тексте и вовсе не «для безобразия» «Ремозоль». И вспомнив, я подумал, от беды не увернешься, и неизвестно еще, отчего все так бывает и за что. Так и я расфилософовался. А было над чем: разорение и беспелюха; а в нашей жизни: пропад...

Отходная*

...Вот уже три года, как я ничего не пишу. И только снится: кто-то с глазами, полными слез, стоит передо мной.

И я начал себе «отходную», что был человек, был обуян словом, маниак, и все кончилось, ушли слова и осталось порожнее место, засыпано цифрами продовольственных карточек, и очень хочется спать. Отходной я не кончил, вместо слов пошли рисунки, так легче, и втянулся, по-лошадиному засыпаю в очередях, стоя.

Все реже удается читать. Нет времени. В последний раз начал «Юлию» Дружинина¹² — Дружинин ученик Лермонтова, не чета другому ученику, более известному, автору «Тамарина» Авдееву.

С. П. в последнее время на память читает «Онегина» и предсмертные стихи Сологуба: «Подожди еще немного», и польски из Мицкевича. А за неделю до смерти попросила меня прочесть ей вслух «Наймичку» Шевченки. Это и была «Отходная» — мое последнее чтение: страда матери, в жизни не узнав своей сыном и только в час смерти она открывает ему, что она его мать.

Для моего московского трудное чтение, но С. П. сказала, что услышит и через мое, как бы сама она говорит:

Прости мене! Я каралась
Весь вік в чужой хаті...
Прости мене, мой сыночку.
Я... я твоя мати!

«Наймичка» написана 13 ноября 1845 года — С. П. переписала. — И я повторил: «13-го».

Выслушав мою «отходную», она поднялась, она с трудом, но еще могла передвигаться, и пошла из кухни в свою комнату, повторяя: «13-го»...

Задора-Довгелло*

По отцу «Оля» — Серафима Павловна с Литвы, Довгелло. Герб Задора: «голова львова, сера космата с огненной пастью в поле блакитном»...

Родовая вотчина Довгелл, жалованная Ягелло, село Берестовец, Борзенского уезда Черниговской губернии. В соседстве с Батуриным, столицей левобережной Украины. Места, описанные Нарезным в «Барсуке» и отчасти Гоголем в «Вии».

На селе старинный замок, по-восточному, с башнями. В одной из башен архив и библиотека...

Библиотека — богатое книгохранилище, собранное поколениями. Книги польские и русские. Польские по латыни и польски.

Из старых польских: Нарушевич, Красицкий, Немцевич¹³ — о них поминает А. Бестужев-Марлинский в письме к матери из Полоцка 1821 г.: «Учась по-польски, разрабатываю новую руду для русского языка».

Киевское цветоречие — «трубы словес»: Петр Могила, Захария Копыстинский, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Исаия Копинский¹⁴, Лазарь Баранович¹⁵, Иоаникий Голятовский и сам Памва Берында: «Лексикон словено-русский. Киев, 1627 г.» — тоже новая руда для русского языка — корень серебряной гоголевской речи. (Проза Марлинского и Гоголя из польской памяти!)

Со временем книжная казна пополнится новиновскими изданиями: «Древняя Российская Вифлиотека» для познания отечественной истории; и мистические книги для умудренного сердца: Яков Бёме, Сведенборг, Сен-Мартен, Эккартсгаузен, Юнг Штилинг, «Сионский вестник» А. Ф. Лабазина...

За Новиковым современники Пушкина. Издания Смирдина и сборники: «Северные цветы», «Полярная звезда», и журналы: «Северная пчела» Фаддея Булгарина и «Библиотека для чтения» Сенковского.

(Тоже новая руда: Сенковский учил польскому Марлинского, а Марлинский исправлял русское Сенковского, для которого легче было писать по-турецки, чем по-русски.)

Любопытен черный подбор: «Черная женщина» Н. Греча, «Черная курица» Погорельского, «Черный год» Полевого, «Черная немочь» Погодина, «Черные перчатки» Одоевского, «Чернец» Козлова; потом добавят: «Черные маски» Леонида Андреева. А я бы еще подложил для «безобразия»: «Черный плащ и кинжал» Анны Крутильниковой — изображение Петербургского туриста И. А. Чернокушниковой (А. В. Дружинина).

Особое собрание книг духовных и по истории. Журналы. А все завершилось высокой беллетристикой: Толстой, Достоевский, Гоголь, Лесков, Мельников-Печерский, Тургенев, Гончаров, Писемский.

* * *

Книжная башня особенно памятна Оле. Вопреки запрету и всяким страхам, забегала она по трясущейся лестнице на самый

верх — ее тянуло как на какой-то таинственный зов — затаившись, она просиживала часами, заморожена книжными переплетами, золотым тиснением корешков. А потом, когда научилась читать, за первую книгу...

* * *

И когда я увижу, как Серафиму Павловну, втиснув на стул, потащут с лестницы, чтобы положить у дверей дома на носилки и везти в амбулянце в госпиталь; когда я увижу перепуганное насмерть лицо, и как она кричала — «ее тащили шакалы на тот свет: там будет спокойнее!» — я вспомню рассказ ее о отце.

Скрученного веревками, отбивавшегося, тащили его из дому, чтобы на зеленом Берестовецком дворе положить на подводу и на любимых его лошадях везти за семьдесят пять верст в Чернигов в Заведение для умалишенных.

Говорили, от книг — «в книгах зашелся» и вообще «беспокойный». Но, судя по уцелевшим листкам его дневника, было и еще что-то. Или это «книжное» и «совестное», что мучило его, упало на разлаженную, неусмиренную, бурную его душу? Его отец, дед Серафимы Павловны, зарезался в «меланхолиевом черном недуге» — душевная болезнь «черная немочь», от которой своею смертью помер кн. Д. М. Пожарский...

Последняя «Задора»*

У «Оли» — Серафимы Павловны была старая нянька, она и отца Оли выходила. От этой няньки Татьяны (Фатевны) с первых лет набралась Оля всяких вер и поверий и не только черниговских, а и киевских и полтавских: нянька все святые места обошла, не миновала и «заколдованные».

А тут и еще дивчата с песнями, колядками, и диды с думами, и ведьмы с ворожкой и заговорами — Берестовец ведьмами славился.

Мне посчастливилось, видел я этих берестовецких ведьм — они все те же, как здесь у Океана в Бретани: далекие глаза — и глядят, глотая. Все те же приемы и те же сроки — часы и дни колдовства, а в заклинаниях ритм и одинаковое в словах.

Ведьм боятся, а зовут, когда аптекарские лекарства не помогают. Я не раз был свидетелем чудесных случаев с людьми и с животными как в Берестовце, так и в Бретани, да и слышал рассказы. Но говорят, бывает и «наоборот» и непременно укажут на какого-нибудь Хому, а тут на Пьера: «пропал!»

«Пропал, — скажу за Гоголем, — потому что забоялся».

«А если бы не боялся, ведьма ничего не могла бы с ним

сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет». (Вий.)

Оля переняла от дивчат, дидов и ведьм простую речь Шевченки и с детства говорила, как черниговка, словами черной земли, выросшими вместе с маками и мальвой в синюю украинскую ночь...

Серафима Павловна была похожа на отца: литовская крепь, мужество и буря. С отцовской стороны от Задор ее открытость к тайновидению: вещие сны, предчувствия и чувство на расстоянии, когда совершающееся за глазами мысленно проходит как перед глазами — ясновидение Баалы Довгелло.

От украинской бабушки Ковалевской, открывшей Оле «таинственного зайчика» — реальность ее веры без всяких туманных абстракций и словесно-беспутного богословия — простая вера с гоголевскими «заколдованными местами» и «святой землей»...

* * *

Она прошла путь русской интеллигенции — явление единственное и едва ли понятное в Европе.

Революционность не от теории, не от «экономической необходимости» и не от страсти к аванюре, не из честолюбия.

Коля Красоткин у Достоевского:

«— О если бы я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду».

В «Подростке» такое душевное расположение названо: «всемирным болением за всех».

Жандармский полковник Шмаков, который допрашивал ее, никак не мог понять, в чем дело, и держал ее в тюрьме. А потом ссылка.

Прочитайте воспоминания В. Г. Короленко, сколько там примеров, да и сам был примером революционной интеллигенции. Но у кого «сердце» может быть и зорко, но беззвучно, никогда не поймут и осудят...

* * *

В Париже она применила свои ученые знания — науку Ил. А. Шляпкина.

В Школе восточных языков (Ecole de langues orientales, 2 rue de Lille, Paris) с 1924—1939 при курсе русского языка (Буайе, потом Паскаль) она читала обязательный курс (cours libre) по славяно-русской палеографии.

В хронике Школы восточных языков отмечен случай с Н. И. Гречем. В 1817-м году Греч был в Париже. Профессор

персидского языка Ланглез (Langlés) предложил ему место профессора русского языка в Парижской Школе живых восточных языков, основана в 1795 г.

Русской палеографии тогда еще не существовало, но предлагаемый курс Греча был очень близок к «славяно-русской палеографии».

Задача курса была шире понятия о палеографии: палеография — искусство читать древние рукописи, но в курс входило и изучение языка этих рукописей как основы русской книжной речи. К вопросу «где» и «когда» (места и времени) присоединилось «что», «как» (язык и грамматика).

За пятнадцать лет много было у нее учеников: все ученые французы, а из русских верный — я.

Начал я мое ученье, еще когда она сама в Петербурге только что поступила в Археологический институт. И до последнего года ее жизни я спрашивал ее. Ученик и есть тот, кто спрашивает.

Она выбрала себе церковно-славянскую высокую книжную речь, завершленную собранием Макария, а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечием.

В примечании к «Наталье боярской дочери» (1792) Карамзин говорит, что тогдашнего языка (XVII в.) мы не могли бы теперь понимать.

То-то и оно, что не так оно...

Вот что я понял, сорок лет учась русской грамоте: в школах начинать с образцов приказного языка XVI—XVII вв. — указы, грамоты, судные дела; усвоив русские лады — они не карамзинские, не пушкинские, перейти к церковно-славянскому и памятникам «Древней русской литературы».

По себе скажу: зачем мучить детей аористами и двойственным числом — грамматической вязью до обалдения.

Главные пособия — книги: А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, Е. Ф. Карского, В. Н. Щепкина, И. Срезневского, И. В. Ягича, Ф. И. Буслаева, Н. М. Каринского, П. А. Лаврова, И. Ф. Колесникова, И. С. Беляева, В. В. Майкова, Н. К. Грунского, Н. П. Лихачева.

Одаренная необыкновенной памятью, она без книг читала из древних памятников русской письменности XI—XVII веков, отчетливо, ясно и со всем спокойствием уверенности, никогда не фальшивя в интонации. Голос звучал виолончелью, увлекая внимание, и легко проникали в память слушателей слова. Чтение без книги очаровывало. А ясность глаз и улыбка — светили живым светом и освещали древний текст.

Последнее ее выступление на открытом заседании в Обществе Друзей Русской Книги о русских рукописных книгах всем памятно.

«Рад бысть заяц, изринувшись от тенета, а рыба от сети, а птица от клещца, а должник от резоймца, а холоп от господаря, так рад бысть писец достигши в книзе остаточного слова пролога сего и последний строки видючи, яко святого воскресения».

Да помяну имена трудившихся над русскими древними письменами и научивших нас искусству чтения; имена историков, исследователей и собирателей; имена, повторяемые среди многолетних занятий — спутников мысли и руководителей:

Оленин
Ермолаев
Калайдович
Митрополит Евгений
Востоков
Солнцев
Грамонин
Строев
Кочановский
Надеждин
Погодин
Бодянский

Шевырев
Буслаев
Горский
Новоструев
Ягич
Срезневский
Прозоровский
Соболевский
Пыпин
Тихонравов
Шахматов

* * *

«Рад бысть корабль, переплывши пучину морскую, также и писец книгу свою. Аминь».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Розанов В. В. (1856—1919) — русский писатель, публицист и философ. Автор книг «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913—1915, т. 1—2), литературно-критических работ о Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, М. Ю. Лермонтове и др.
- 2 Леонтьев К. Н. (1831—1891) — русский писатель, публицист и литературный критик. Автор повестей, литературно-критических этюдов о Л. Н. Толстом, И. С. Тургеневе, Ф. М. Достоевском.
- 3 Красиньский З. (1812—1859) — польский писатель. Автор романтических драм «Небожественная комедия» (1835), «Иридион» (1833—1836), религиозно-мистической поэмы «Перед рассветом» (1843) и цикла «Псалмы будущего» (1845—1848); Норвид Ц. К. (1821—1883) — польский писатель, художник, скульптор. Большая часть произведений опубликована посмертно. Его философские поэмы, новеллы, эссе отличается предвдварившая поэтику XX века интеллектуально-ассоциативная лирика.
- 4 Марлинский А. А. (1797—1837) — писатель-декабрист, создатель альманаха «Полярная звезда». Приговорен к 20 годам каторги, с 1829 года служил рядовым в армии на Кавказе. Убит в бою. Автор романтических стихов, повестей «Фрегат „Надежда“», «Аммалат-бек».

- 5 Сенковский О. И. (1800—1858)—русский писатель, журналист, один из зачинателей русского востоковедения. Редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом Барон Брамбеус печатал «восточные», светские, бытовые повести, фельетоны.
- 6 Мельшин-Якубович П. Ф. (криптоним—П. Я.) (1860—1911)—русский поэт, революционер-народоволец. В 1887—1903 годах отбывал каторгу и ссылку. Автор книги «В мире отверженных. Записки бывшего каторжанина». Лирика П. Ф. Мельшина-Якубовича проникнута духом некрасовских традиций.
- 7 Бердяев Н. А. (1874—1948)—русский религиозный философ, представитель персонализма. На рубеже 1900-х годов примыкал к так называемому легальному марксизму, в дальнейшем обратился к религиозной философии. Испытал влияние Ф. М. Достоевского, Вл. Соловьева, В. И. Несмелова, позднее—Я. Бёме.
- 8 Шестов Л. И. (1866—1938)—русский философ-иррационалист, писатель, представитель экзистенциализма. С 1895 года жил преимущественно за границей. Миросозерцание Шестова—в русле идей Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше.
- 9 Фишер К. (1824—1907)—немецкий историк философии, гегельянец. Главное произведение—«История новой философии» (1852—1877), содержащая обширный материал об учениях, жизни и деятельности Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Автор работ о Гёте, Лессинге, Шиллере, Шекспире.
- 10 Ильин И. А. (1882—1954)—русский религиозный философ, представитель неогегельянства. Автор наиболее значительного в истории русского идеализма труда о Гегеле—«Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека» (1918).
- 11 Рожков Н. А. (1868—1927)—русский историк, автор трудов по истории сельского хозяйства, государственного аппарата XVI—XVII вв., развития капитализма в России. Основная работа—«Русская история в сравнительно-историческом освещении» (1918—1926).
- 12 Дружинин А. В. (1824—1864)—русский писатель и литературный критик.
- 13 Нарушевич А. (1733—1796)—деятель польского Просвещения. Автор трудов по истории Польши, лирических стихов, басен; переводчик античной литературы; Красицкий И. (1735—1801)—польский писатель. Известен романами «Мышеида» (1775), «Монахомахия» (1778), «Приключения Николая Досьвядчиньского...» (1776); Немцевич Ю. У. (1757 или 1758—1841)—польский писатель. Был адъютантом Т. Костюшко. Автор политической комедии «Возвращение депутата» (1790), цикла «Исторические песни» (1816), романов.
- 14 Копинский И. (?—1640)—украинский церковный деятель, один из организаторов Киевского братства, сторонник воссоединения Украины с Россией.
- 15 Баранович Л. (ок. 1620—1693)—украинский церковно-политический деятель, писатель. Основал типографию в Чернигове.

Лоренс Блокмэн

СМЕРТЬ В ЗАМКЕ*

Перевод с английского и примечания Г. А. Толстякова

Было 6 часов утра 21 июля 1970 года, когда из парижского клуба «Нью Джиммиз» вышел человек. В руках он держал рукопись нового романа. Человек сел в «феррари», и машина, взвизгнув, помчалась вдоль бульвара Монпарнас. Спустя десять минут в окрестностях Булонского леса в «феррари» врезался другой автомобиль... Прохожие вызвали «скорую помощь». По дороге в больницу человек умер.

Так в возрасте семидесяти лет завершил свой земной путь Лоренс Голдтри Блокмэн — путешественник и писатель, автор множества киносценариев, радио- и телепрограмм, книг, которые и сегодня пользуются завидной популярностью. Его жизнь сама могла бы стать сюжетом для романа.

Лоренс Блокмэн закончил калифорнийский университет Беркли. Потом занялся журналистикой — был спортивным комментатором, редактором, репортером судебной и уголовной хроники.

Однако жизнь в Калифорнии скоро ему наскучила. В 1921 году Блокмэн уезжает работать в токийскую газету «Джэпэн Адвертайзер». В Японии берет уроки джиу-джитсу, которые очень пригодились ему впоследствии. Через год Блокмэн отправляется специальным корреспондентом газеты «Саут Чайна Морнинг Пост» в Гонконг. Там он в одиночку разоблачает банду фальшивомонетчиков. В 1922 году Лоренс Блокмэн уже в Индии — работает в Калькутте очеркистом и фоторепортером газеты «Инглишмэн». Здесь ему удается собрать уникальные материалы об одной из таинственных индийских сект — секте тугов.

Чуть позже журналист перебирается в Париж, работает в газете «Пэрис Таймс», помогает французской полиции в расследовании крупных преступлений. В него стреляют на Пляс

* Lawrence G. Blochman. The Aldine Folio Murders (1940). Перевод сделан по: Boillabaisse for Bibliophiles, ed. by William Targ, Cleveland, New York, Work Publiles., 1955, p. 251—279.

Пигаль, подкарауливают на бульваре Монпарнас, но судьба оберегает Блокмэна.

С 1928 года Блокмэн занялся профессиональной литературной деятельностью и уже первым романом «Бомбейская почта» снискал славу талантливого писателя, работающего в детективном жанре. Роман сразу же был экранизирован в Голливуде. Вслед за «Бомбейской почтой» вышли другие книги, ставшие бестселлерами, — «Бенгальский огонь» (1937), «Полуночное плавание» (1938), «Смерть бродит по мраморным залам» (1942). За роман «Диагноз: убийство» Блокмэн получил премию имени Эдгара По — самую престижную награду Американской ассоциации писателей детективного жанра.

В старости, уже незадолго до смерти, Блокмэн сказал: «Я объездил полсвета только для того, чтобы лишний раз убедиться в одной простой истине: жизнь прекрасна. Это — захватывающее приключение. Спешите насладиться ею, чтобы не пришлось жалеть после. Творите хорошие дела, боритесь со злом, чтобы жизнь предстала в своем истинном обличье, имя которому — добро и красота».

Г. А. Толстяков

Возможно, вы и не помните кафе месье Гролье. А между тем в иные времена (бог знает сколько лет прошло с тех пор) оно было неотъемлемой частью Парижа. На Елисейских полях тогда еще не раздавался наглый лязг стальных чудищ и тяжелые сапоги гиммлеровских молодчиков не топтали души людей, для которых совсем недавно не существовало ничего важнее утренних газет и ароматного бургундского. Кафе Гролье располагалось на боковой улочке, неподалеку от отеля Друо. Букинисты и антиквары, посещавшие знаменитый аукцион, частенько заглядывали и в кафе. Хозяин гордился своей клиентурой, винным погребом и сочными бифштексами. Он даже добился для себя соответствующего телефонного номера: Гутенберг 14—40¹.

Помню, как-то раз, еще в мирные дни, я сидел в кафе Гролье за столиком, стоявшим прямо на тротуаре, и просматривал библиотечный каталог, который нужно было разослать. Потягивая перно, я вдыхал аромат жареных каштанов. Вдруг кто-то дружески похлопал меня по плечу и радостно воскликнул:

— Ха! Дружище Банде!

— Инспектор! Прошу вас, садитесь. Составите мне компанию.

Я искренне обрадовался инспектору французской сысканой полиции Полю Мордану, с которым обычно сталкивался в полиции. Он был практически единственным сотрудником отдела

изящных искусств, и в сферу его деятельности входило раскрытие музейных краж, преступлений библиоманов, подделки произведений искусства и аферы на аукционах. Мы часто оказывались в одних и тех же местах. Внешность этого высокого, элегантно одетого, седого детектива была весьма примечательна. «Тип Льюиса Стоуна»², как сказал бы голливудский сценарист. Ему доставляло наслаждение произносить мое американское имя — Бендер — на французский манер. Он говорил, что Банде звучит мужественнее.

— Только что из Нью-Йорка, Банде? — спросил инспектор, опершись локтями о мраморный столик.

— Нет, я был в Лондоне. Приобрел коллекцию инкунабул.

— Ла-Манш вы, без сомнения, пересекли для того, чтобы купить библиотеку Марсуан?

— В библиотеке Марсуан есть несколько изданий, которые, может быть, и стоят того, — признал я. — Но, по правде говоря, я приехал сюда по телеграмме из Нью-Йорка. Фирма просит меня поехать в провинцию и купить альдину³.

Инспектор Мордан кивнул.

— «Гипнэротомасия Полифила»⁴, — сказал он. — Замок Бомюр.

Я спросил инспектора, знаком ли он с Рене Франсуа, продающим бомюрскую коллекцию, но он отрицательно покачал головой.

— Я хорошо знал его дядю, — сказал он. — Молодому Франсуа недавно посчастливилось унаследовать библиотеку и он хочет как можно скорее обратить ее в деньги. В книгах он ничего не смыслит: не в состоянии различить печатные форматы. Вы сможете хорошо заработать.

— Я собираюсь поехать в Бомюр перед распродажей, — сказал я. — Если альдина окажется в хорошем состоянии, Нью-Йорк уполномочил меня заплатить за нее полмиллиона франков.

По правде говоря, в телеграмме было сказано «пятнадцать тысяч долларов», но в те предвоенные дни, когда курс франка упал, хотя еще и не окончательно, «полмиллиона франков» звучало солиднее. Я надеялся, что на молодого Франсуа это тоже произведет впечатление.

— Что нового в Лондоне? — спросил инспектор, потягивая принесенный официантом лимонад.

Я ответил, что в Лондоне все по-прежнему.

— Не случилось ли вам сталкиваться на аукционе «Сотби» с неким Эмилем Дором?

— Не знаком с этим джентльменом. Приличный человек?

— Нет. Он — вор. Специалист по музейным кражам. Похищение Франца Гальса из Мюнхенской галереи в 1926 году⁵ — его

рук дело. Правда, в последнее время он переключился на редкие книги, так как их гораздо легче сбывать. В прошлом году он сидел в бухарестской тюрьме, но до меня дошли слухи, что Дор снова на свободе. Оказавшись на воле, он всегда навещает Лондон или Париж.

— К сожалению, не имею чести его знать,— сказал я.

Инспектор Мордан допил лимонад, бросил несколько медяков, со звоном упавших на стол, и встал.

— Навестите меня, когда вернетесь в Париж,— сказал он.— Удачи вам с альдиной.

На следующий день я отправился в Бомюр. Деревушка эта расположена в пяти часах езды от Парижа, среди зеленых холмов Бургундии. Огромное здание замка с первого взгляда поражало своей несообразностью, разноголосицей архитектурных стилей и эпох. Представляя собой некоторую историческую ценность (одна из его башен была построена чуть ли не в десятом веке), замок все же оказался недостаточно изысканным для того, чтобы им заинтересовался Виолле-ле-Дюк⁶.

Новый владелец замка, Рене Франсуа, сердечно встретил меня и настоял на том, чтобы я остановился у него, а не в деревенской гостинице.

— К сожалению, в замке на сорок пять комнат всего одна ванная,— добавил он, улыбаясь.— Покойный дядя не хотел осквернять свой драгоценный дом чем-либо современным, например, водопроводом или электричеством.

Я тотчас согласился, поскольку Франсуа понравился мне с первого взгляда. Это был красивый молодой человек лет тридцати, с озорной улыбкой и серьезными глазами. У меня создалось впечатление, что он провел беспутную юность, полную удовольствий, и, наконец, решил остепениться. За графином янтарного вина из собственных виноградников он рассказал мне, что расстается с дядюшкиной библиотекой, дабы осовременить замок и обработать прилегающие к нему земли. Он собирался купить американские сельскохозяйственные машины, упростить сбор пшеницы и посвятить больше внимания сбыту вина, которое, по его мнению, за пределами деревни никогда не было оценено должным образом. Его даже обуревали еретические для француза мысли о рекламировании собственных вин.

— Альдина... «Гипнэротомехия Полифила?» — молодой человек помрачнел.

— Боюсь, что вам придется дожидаться мэтра Кардоннэ,— сказал он.— Это деревенский нотариус и дядин душеприказчик. Думаю, он сделает все, чтобы помешать распродаже, поскольку не одобряет моих планов, связанных с переустройством. Большая часть библиотеки находится у него под замком, но я уверен, что

он позволит вам взглянуть на альдину, когда придет вечером обедать... А вот и Жаннет!

По лестнице, близ которой мы сидели, спускалась маленькая нарядная молодая женщина с волнистыми каштановыми волосами, голубыми глазами и прелестным дерзким носиком. Я в жизни не видывал такой крошечной ножки и таких восхитительных щиколоток, выглядывавших из-под платья. Она была несколькими годами моложе Франсуа.

— Мадемуазель Лакур — мистер Бендер, американский библиофил, — представил нас Франсуа. — Его интересует альдина. Когда мэтр Кардоннэ вернется из деревни?

— Не раньше шести, — ответила девушка.

— Мадемуазель Лакур — мой секретарь, — продолжал Франсуа. — Я похитил ее у одного антиквара из Одеона и привез сюда. Теперь она составляет каталог дядиной библиотеки. Мне пришлось долго уговаривать ее уехать из Парижа, но в конце концов она сжалась над моим невежеством и пришла на помощь. Не знаю, что бы я без нее делал.

Произнеся эти слова, он серьезно, без улыбки взглянул на нее.

Она задумчиво улыбнулась в ответ. В ее глазах читались обожание и глубокий безотчетный страх, как будто она чувствовала, что не имеет права на счастье, которое ей выпало, и боится потерять его в любую минуту. Вряд ли Франсуа имел в виду дядюшкин каталог, когда говорил, что пропал бы без Жаннет Лакур. Да и ее поведение подтверждало мою догадку.

Оставалось только ждать, когда придет мэтр Кардоннэ. Он появился ровно в шесть и привел с собой двух гостей. Они приехали в сверкающей, черной, длинной «испано-сюизе», принадлежавшей доктору Хьюго Сторчу. Румяный и бодрый на вид, несмотря на седину и сутулость, доктор Сторч, швейцарский антиквар, рассказал, что приехал из Парижа, чтобы выторговать бомжорскую библиотеку.

Другой пассажир, сидевший позади нотариуса, бледный как мертвец, с виду завсегдатай баров и казино, оказался дальним родственником покойного дядюшки. Звали его Жюль Пюжо. Когда Пюжо и Франсуа здоровались, все почувствовали, что атмосфера накаляется. Они даже не подали друг другу руки. Не нужно было быть ясновидцем, чтобы мгновенно понять: Пюжо явился в Бомжур не с благими намерениями.

Сам нотариус оказался пухлым напыщенным человечком с совиным личиком, украшенным бородой. Он говорил с сочным бургундским акцентом, раскатисто произносил «р», тянул «о» и назойливо распоряжался всем, даже размещением Пюжо и доктора Сторча в комнатах. Последнего он заставил поставить

автомобиль прямо во внутренний двор замка, поскольку гаража не было.

Франсуа представил меня нотариусу и объяснил, что я интересуюсь альдиной.

— После обеда!— заявил мэтр Кардоннэ.— Доктор Сторч тоже выразил желание взглянуть на коллекцию. Я попросил его остановиться в замке, поскольку не исключено, что завтра аукцион вообще не состоится.

— Не состоится?!— вскричал в ужасе Франсуа.

— Ваш кузен Жюль Пюжо возбудил иск о разделе имущества,— объяснил мэтр Кардоннэ.— По-видимому, придется все опечатать до тех пор, пока вопрос не будет решен.

— Но Жюль упомянут в завещании дяди...

— У него свои притязания,— уточнил нотариус.— Предлагаю собрать завтра утром семейный совет. Из Дижона придет адвокат вашего кузена, и мы с ним решим, состоятся ли торги.

— Они непременно должны состояться,— возразил Франсуа.— Прибудут покупатели из Парижа. Из Америки уже приехал господин Бендер, и вот теперь доктор Сторч...

— Закон есть закон,— промолвил нотариус с важным видом.— Не я издаю законы и не мне их менять. Там видно будет. О, по-моему, пахнет жареным барашком, дорогой Рене?

Мой взгляд отметил энергичное лицо нотариуса, болезненное, недоверчивое выражение кузена Жюля Пюжо, затем встретился с напряженно-мрачными глазами Рене Франсуа и очаровательно озабоченным взглядом Жаннет Лакур. Она вошла сообщить, что обед будет подан через пять минут. Лишь вежливое розовое лицо доктора Хьюго Сторча оставалось невозмутимым.

Несмотря на обилие блюд и восхитительное вино, обед полностью расстроился. Ничто не могло развеять холодной враждебности. Канделябры освещали ледяной мрак громадного, похожего на пещеру, обеденного зала. Я чувствовал, что руки покрываются гусиной кожей, и несколько раз порывался предложить разжечь дрова и хворост, сложенные в огромном камине, однако сдерживался, пытаюсь понять, почему на душе у меня было так тревожно.

Когда дворецкий внес гигантскую лепешку сыра «бри», Жюль Пюжо открыто перешел к ссоре. Опершись о стол, он подался вперед и спросил Франсуа:

— Кузен Рене, вам бы очень хотелось, чтобы я покинул Бомюр и не мешал продаже вашей библиотеки, не правда ли?

Франсуа не ответил. Он даже не взглянул на Пюжо и сжал губы так, что они побелели. Пюжо откинулся назад и рассмеялся.

— Ну, вот вы и ответили,— сказал он.— Разумеется, вы бы дорого заплатили, милейший кузен Рене, за то, чтобы я уехал.

— Думаю,— глухо ответил Рене Франсуа,— что если бы вы решились мне помешать всерьез, я не задумываясь убил бы вас собственными руками.

— Ну, ну, не торопитесь, кузен Рене,— усмехнулся Пюжо.— Вряд ли вам это удастся. Мое предложение более осуществимо. Когда мы ехали из конторы мэтра Кардоннэ, доктор Сторч сказал, что его особенно интересует книга, имеющаяся у вас. Она представляет большую ценность.

— Альдина «Гипнэротомехия Полифила»,— сказал доктор Сторч.

— Если это та книга, которую я имею в виду, да еще в отличном состоянии, я готов сегодня же вечером заплатить за нее 400 тысяч франков наличными.

— Наличными?— густые брови нотариуса поползли вверх.— Доктор, благоразумно ли носить с собой столько денег?

— Я плачу только наличными,— ответил доктор Сторч.

— Если альдина в безупречном состоянии, я даю больше доктора Сторча на 50 тысяч франков,— сказал я.

— Аукцион состоится завтра,— объявил Франсуа.

— Нет, он не состоится,— возразил Пюжо.— В этом-то все и дело, кузен Рене. Если вы не примете мое предложение, я подам в суд на раздел имущества, и аукцион придется отложить на долгие годы. Вы ведь знаете, как медлительны суды.

— Что же вы предлагаете, месье?— бледный как смерть Франсуа отказывался называть Пюжо «кузеном».

— План очень прост,— сказал Пюжо.— Вы дарите мне эту альдину. Я продаю ее доктору Сторчу. Сегодня же вечером я вместе с мэтром Кардоннэ еду в нотариальную контору и пишу расписку, в которой отказываюсь от всех притязаний. Завтра я уезжаю прочь, и вы избавитесь от меня навсегда.

Франсуа оттолкнул заскрипевшее кресло.

— Вы понимаете, о чем просите?— воскликнул он.— Речь идет о полумиллионе франков...

— Я все прекрасно понимаю,— спокойно ответил Пюжо.— Последнее время в казино Довиль мне ужасно не везло, и сейчас я во что бы то ни стало должен раздобыть около полумиллиона франков. Вам же, в свою очередь, необходимо получить право на остальную часть имущества. По рукам?

Франсуа смотрел на Пюжо в упор. Казалось, сейчас он прыгнет через стол и задушит кузена. Но вместо этого лишь крикнул:

— Шантаж!

Пюжо пожал плечами.

— Это выгодно нам обоим,— сказал он.

— Хватит впустую препираться,— прервал их мэтр Кардон-

нэ, снимая салфетку, скрепленную у шеи маленьким золотым зажимом.— Давайте пройдем в библиотеку, чтобы джентльмены могли взглянуть на книгу, о которой идет речь.

Нотариус отпер дверь библиотеки старинным ключом. Другим ключом он открыл массивный дубовый книжный шкаф, окованный железом, третьим—внутреннюю панель.

Я едва сумел скрыть восторг, когда альдина наконец попала ко мне в руки. Это был великолепный экземпляр, по-видимому, принадлежавший некогда Карлу V и не так давно купленный на аукционе доктором Розенбахом за 450 тысяч франков. Я нашел колофон и стал искать марку Альда—якорь и дельфина. Сердце у меня екнуло. Знак знаменитого книгопечатника отсутствовал. Но тут я улыбнулся про себя, вспомнив, что дельфин и якорь не появлялись на книгах Альда до июня 1502 года, а «Гипнэротоматия Полифила» была напечатана в Венеции в 1499 году.

Затем я нашел знаменитую ксилографию «Поклонение Приапа», которая в экземплярах, виденных мной ранее, была либо вырвана, либо попорчена. Эта же превосходно сохранилась в каждой детали. Экземпляр был действительно великолепен.

Так, вероятно, думал и доктор Сторч. Глядя через мое плечо, он довольно цокал языком. Обернувшись, я обратил внимание на жадный блеск в глазах седовласого библиофила и решил, что нужно будет поднять ставку на 50—75 тысяч франков. Нью-Йорк уполномочил меня это сделать, и я чувствовал себя вправе назначать цену по своему усмотрению.

— Я покупаю ее,—объявил доктор Сторч.— Сейчас же.

Мэтр Кардоннэ немедленно забрал у меня книгу.

Доктор Сторч вынул из кармана бумажник поразительных размеров и стал быстро перелистывать пачку огромных, из тонкой бумаги пастельных тонов десятидесятифранковых банкнот (тогда еще франк был франком, а Франция—Францией).

Увидев деньги в руках библиофила, маленький бородастый нотариус выпучил глаза.

— Сегодня я даю пятьсот тысяч наличными,—заявил Сторч.— Завтра моя цена будет меньше.

— Я буду набавлять,—сказал я.

— Если предложение доктора Сторча не будет принято сегодня же, аукцион вообще не состоится,—заявил Пюжо.— Ну, что, кузен Рене, вы согласны?

— Я никому не позволю себя шантажировать,—ответил Франсуа, едва шевеля побелевшими губами.

— Как знаете,—пожал плечами Пюжо.— Вы конченный человек, кузен.

— Посмотрим,—пробормотал Франсуа.

Доктор Сторч спрятал бумажник.

— Прошу прощения, доктор,— обратился к нему мэтр Кардоннэ.— Не кажется ли вам, что благоразумнее оставить эти деньги на ночь в моем сейфе? Такая сумма, знаете ли...

— Вздор!— Сторч снисходительно фыркнул.— Я возил с собой и более значительные суммы, и никогда ничего не случалось.

Он похлопал себя по карману пиджака и изменился в лице. Сунул руку в карман,— пусто.

— Меня ограбили!— закричал доктор Сторч, вне себя от ярости.— У меня украли пистолет. Я всегда ношу его с собой.

— Может быть, вы оставили его в комнате?— предположил Франсуа и перевел взгляд на Жаннет Лакур. Ее рот был полуоткрыт, на лице было написано страдание.

— Я не мог оставить его в комнате. Он всегда при мне. Вот уже двадцать лет я не расстаюсь с ним.

— Я сообщу в жандармерию,— предложил нотариус.

— Спасибо, не стоит,— сказал доктор Сторч.— Уверен, что найду его. Кажется, я догадываюсь, куда он мог деться.

— А пока оставьте деньги в моем сейфе.

— В этом нет необходимости,— глаза старика сверкнули.— Я еще способен себя защитить, и тот, кто в этом сомневается, сможет убедиться.

— Вопрос исчерпан,— маленький нотариус важно подошел к дубовому шкафу, поставил альдину на полку, затворил обе дверцы и положил ключи в карман.— Бог знает, что может случиться сегодня ночью... Попрошу вас покинуть библиотеку. Всех без исключения. Я останусь здесь.

Мэтр Кардоннэ запер библиотеку и расположился в большом кресле возле двери. Он принес маленький столик, бутылку бренди и подсвечник. Глядя на бренди и на раскрасневшееся лицо нотариуса, я подумал, что вряд ли он окажется хорошим сторожем.

Остальные отправились спать на второй этаж. Комната доктора Сторча находилась возле самой лестницы. Следующую комнату между доктором и Рене Франсуа занимала Жаннет. Дальше коридор поворачивал под прямым углом. Здесь была комната, которую отвели мне. Следующую за нею занимал Жюль Пюжо.

Я снял лишь ботинки, пиджак и галстук, потому что знал: заснуть не удастся. Долго стоял у окна, выходящего во внутренний двор. Внизу был пруд с фонтаном и сточенные непогодой скульптуры, возвышавшиеся в тусклом свете луны. Весь двор мне не был виден; дверь, возле которой стояла машина доктора Сторча, была скрыта от моих глаз, и чисто подсознательно мне вдруг захотелось расположиться на ночлег в комнате Пюжо, из

которой, без сомнения, эта дверь видна. Однако я не мог сказать, кого именно ожидал там увидеть.

Пока я так стоял, полоска света, падавшая на плиты двора из окна Пюжо, исчезла, и мгновением позже свет погас в окне доктора Сторча. Комнаты Сторча, Жаннет Лакур и Рене Франсуа выходили на узкий балкон, огражденный каменной балюстрадой. Я продолжал наблюдать за освещенными окнами и вскоре увидел, как Жаннет вошла в комнату Франсуа. Окно было затворено, и я не слышал слов, но по жестам было видно, что они о чем-то горячо спорят. Через несколько минут девушка ушла, Франсуа отворил окно и погасил свет. Минуту спустя в комнате Жаннет тоже стало темно.

Я продолжал стоять у окна в смутном ожидании. Выкурив полпачки сигарет, я растянулся на кровати и долго лежал в темноте, прислушиваясь к таинственным ночным звукам — потрескиванию мебели, скрипу флюгера где-то наверху, ударам крыльев летучей мыши о карниз. Мне почудились шаги в коридоре. Потом со двора донесся резкий звук — дзинь — и что-то зазвенело, как будто бутылка разбилась о плиты.

Я вскочил и выглянул во двор. Он был пуст в холодном свете луны.

Я подождал, все было тихо. Я снова растянулся на постели. Сколько я так лежал — не знаю. Может быть, десять минут, а может — час. Казалось, прошла вечность. И вновь я услышал звук, похожий на крадущиеся шаги. На сей раз я почти наверняка был уверен, что кто-то прошел.

Я нащупал в чемодане карманный фонарик и осторожно открыл дверь, но никого не увидел. Я тихо вышел и вновь прислушался. Мне почудилось какое-то движение в комнате Франсуа, но света под дверью не было. Испытывая страх, я осторожно спустился по ступеням. Сердце стучало так сильно, что казалось, будто по сводчатому коридору разносится гулкое эхо.

Я пошел напрямик, через двор, к крылу, ведущему в библиотеку. Мэтр Кардоннэ все еще сидел в своем кресле возле двери и, похоже, спал. Голова его запрокинулась, а короткая седая бородка глядела прямо на меня. Впрочем, сон ли это? Желтое пламя, обглодавшее уже половину свечи, отбрасывало странный, безжизненный отблеск на лицо и подчеркивало его неподвижность.

Я быстро подошел к нотариусу, подозревая самое худшее. В ту же минуту мэтр Кардоннэ издал короткий, успокоивший меня храп. Я было уже посмеялся над своими страхами, как вдруг в ноздри мне ударил тошнотворный сладковатый запах, который я тотчас же узнал — хлороформ!

Рядом валялся носовой платок. Я поднял его и понюхал. Так

и есть — хлороформ. Но платок принадлежал нотариусу, на нем были вышиты его инициалы.

Я потормошил маленького человечка. Он не проснулся. Я было собрался снова встряхнуть его, как вдруг увидел, что дверь библиотеки медленно отворяется. Я вжался в стену. Зачарованно наблюдая за дверью, я отчаянно страшился той минуты, когда увижу того, чья рука дюйм за дюймом раскрывает ее. Мне казалось, что я провел долгие часы, затаив дыхание, пока во тьме медленно ширился и разрастался, заполняя собой все пространство, скрип двери. Наконец я сделал судорожный выдох.

В дверном проеме стояла Жаннет Лакур. Она пристально, не моргая, смотрела на меня. Бледное юное лицо казалось спокойным, но она вся дрожала.

Кивком головы она пригласила меня в библиотеку. Я обошел спящего нотариуса.

— Зажгите спичку,—шепнула она мне.

Вместо этого я вытащил фонарик и нажал кнопку. Ее пальцы сжали мне руку, направляя луч через комнату, пока в круге света не обозначились массивные ключи нотариуса, свисавшие из замка дубового шкафа.

В ту минуту мне и в голову не пришло, что ее присутствие здесь куда более подозрительно, чем мое собственное, и я прошептал:

— Исчезла?

— Не знаю,—ответила она.—Едва я успела войти, как услышала в коридоре ваши шаги. И подумала, что в такой ситуации лучше иметь свидетеля.

Я отпер шкаф. Альдина, действительно, исчезла.

Пока я просматривал другие инкунабулы, дабы убедиться, что книгу не переставили, Жаннет рассказала мне, что спустилась сюда, потому что ей послышались шаги в верхней зале.

— Разбудим-ка лучше нотариуса,—сказал я, убедившись, что альдины нет на месте.

Мы попытались привести его в чувство, но безуспешно. Он беспокойно зашевелился, пробормотал несколько бессвязных слов и снова впал в прежнее состояние. Я пощупал его пульс, взглянул на лицо и понял, что полученная им доза не опасна для жизни и что, вероятно, он скоро проснется.

— Разбудим Рене,—предложила девушка.

Я сказал, что он, видимо, уже проснулся: спускаясь по лестнице, я слышал движение в его комнате.

Мы прошли через двор, и вдруг Жаннет сильно и испуганно сжала мне руку. Я быстро обернулся и успел заметить, как в темноте главного входа исчезает чья-то тень.

— Кто это?—прошептал я.

— Не знаю,— ответила она.— Должно быть, показалось. Просто привиделось.

Но я был уверен, что она кого-то узнала и испугалась еще больше. Ее рука, сжимавшая мою, сильно дрожала, а на лице, освещенном лунным светом, был написан безнадежный страх.

— Я уверен, что видел чью-то тень,— сказал я.

— Тогда оставайтесь здесь и продолжайте наблюдать. Я вернусь в обход и позову Рене.

Не успел я ответить, как она исчезла.

Крадучись, я продолжал ходить по двору, как вдруг донесся звук, в котором я безошибочно узнал пистолетный выстрел.

Секундой позже раздался второй.

Причудливое эхо отражалось от башен и стен дворика, и определить, откуда доносятся выстрелы, было невозможно, но я тотчас же побежал в замок. Нотариус уже выпрямился в кресле, но еще не стряхнул с себя оцепенения и был не в состоянии ответить на вопросы, которыми я его забросал.

Я ринулся назад через двор и побежал вверх, прыгая через три ступеньки. Наверху я едва не столкнулся с Франсуа, который схватил меня за руку и закричал:

— Где Жаннет? Где мадемуазель Лакур?

Я отвечал, что не знаю.

— Вы лжете!— вскричал он.— Я видел вас с ней всего минуту назад. Вы стояли вместе во дворе.

— Но она пошла к вам. Может быть, она у себя?

— Ее дверь заперта. Она не отвечает.— Затем, внезапно оборвав разговор, Франсуа ринулся вниз, как сумасшедший.

Одна из дверей, выходящих в коридор, отворилась. Появилась взъерошенная белая шевелюра доктора Сторча. Сонно моргая, он уставился на меня и спросил:

— Что случилось? Где-то стреляли?

— Видимо, да.

— Минутку,— сказал он, вернулся в комнату, оставив дверь открытой, и я увидел, что он достает из-под подушки свой знаменитый бумажник и сует его в карман фланелевой ночной рубашки.

Когда он вновь вышел, большой колокол на воротах замка наполнил покой звонящим эхом.

Мы спустились и увидели, что Франсуа беседует с бригадиром бомюрской жандармерии и еще с кем-то в штатском, в котором я с первого взгляда признал инспектора Поля Мордана.

— Ба, кого я вижу! Ну, что, дорогой Банде, наслаждаетесь?— спросил инспектор.— Вкушаете прелести сельской жизни?

— Вы приехали сюда как раз вовремя, Мордан. Вы телепат?— спросил я.

— Дело не в телепатии,— отвечал инспектор.— Днем я получил телеграмму из Парижа, признаться, несколько меня смутившую. Вот я и решил, что мое присутствие в Бомюре может оказаться небесполезным. Итак, я здесь. Что произошло?

— Украдена альдина,— выпалил я.— И я слышал выстрелы.

— Выстрелы? Где?

— Не знаю. Мне показалось, что наверху.

— Пойдемте, взглянем,— сказал инспектор. Он оставил бригадира с нотариусом, нетвердо стоящим на ногах, и, прихватив Франсуа с доктором Сторчем, извинявшимся за свою ночную рубашку, мы поднялись наверх.

Первой он осмотрел комнату доктора Сторча. Делал он это спокойно и обстоятельно. Переворочил постель, заглянул за гобелены и картины и совершил еще массу показавшихся мне бессмысленными действий.

— Вступив во владение замком, вы, видимо, уже делали уборку, мсье Франсуа?— сказал инспектор.

— На прошлой неделе,— согласился Франсуа.

Инспектор Мордан подмигнул мне.

— Простите, что хвастаюсь наблюдательностью, дорогой Банде,— сказал он, указывая на потемневшую от времени картину.— Просто портрет недавно перевесили. Обратите внимание на светлый прямоугольник на стене, справа, как раз там, где он висел раньше.

Он наклонился, провел пальцем по плинтусу, зажал щепотку белой пыли между большим и указательным и продолжал исследовать комнату.

— Нет, альдины здесь нет,— сказал он наконец.— Кто занимает соседнюю комнату?

— Мадемуазель Лакур,— с усилием ответил Франсуа. Было видно, что ему трудно говорить.

— Ах, да, Жаннет Лакур,— улыбнулся инспектор Мордан.— Знакомое имя.

Не обращая внимания на возражения Франсуа, инспектор повозился с отмычками и открыл дверь. В комнате царил беспорядок, свидетельствующий о поспешном бегстве. На кровати и стульях валялась одежда, которую в спешке сорвали с крючков огромного платяного шкафа, распахнутого настежь. В углу был брошен неуложенный чемодан. Жаннет и след простыл.

— Она... она исчезла,— запинаясь произнес Франсуа.

— Вернется,— уверенно заявил инспектор Мордан.— Мне помогает бомюрская жандармерия. Под нашим наблюдением находятся все дороги, ведущие к замку. Уверен, что ее задержат. Позволю себе предположить, мсье, что меньше всего вам хотелось бы, чтобы кто-нибудь ушел этой ночью, не простившись.

Он не стал обследовать комнату Жаннет.

— Очевидно,— сказал он,— если даже в комнате и находилась старинная венецианская книга, мадемуазель, уходя, забрала ее с собой. Кто живет в соседней комнате?

Франсуа поперхнулся.

— Я,— сказал он.

Инспектор Мордан отпер соседнюю дверь и замер на пороге.

Я заглянул через его плечо и увидел тело Жюля Пюжо, распростертое на полу в дальнем углу комнаты, как раз под окном. Даже мне, человеку неискушенному, было ясно, что Пюжо мертв.

Инспектор тотчас захлопнул дверь и, повернувшись, отдал приказания бригадиру, стоявшему внизу. Несколько минут спустя появились два жандарма и взяли под стражу Франсуа, доктора Сторча и нотариуса, который уже вполне оправился и, брызгая слюной, стал громко возмущаться. Затем мы с инспектором и бригадиром вошли в комнату Франсуа, чтобы осмотреть тело.

Пуля попала Пюжо прямо в лоб. Она проделала в нем аккуратную темную дырочку. Не было ни пороховых ожогов, ни кровоподтеков. Лишь в уголке рта запеклась тонкая струйка крови. После минутного осмотра Мордан выпрямился и сказал:

— А теперь, дорогой мой Банде, пока я буду работать, расскажите мне по порядку, как все было. Я знаю, что у вас хорошая память, поэтому хотел бы, чтобы вы расписали мне по минутам все, что видели в замке. Давайте с самого начала.

Я рассказал о том, что уже изложил здесь: о приезде нотариуса с доктором Сторчем и Пюжо, о беседе во время обеда, о том, как реагировали Франсуа и Жаннет на грубый шантаж Пюжо, о деньгах доктора Сторча, о том, как пропал его пистолет, о том, в какой последовательности гас свет в доме, о шагах в коридоре и о том, как я нашел одурманенного нотариуса и Жаннет в библиотеке.

Пока я рассказывал, инспектор Мордан осмотрел буквально все, что было в комнате. Он сдвинул мебель, снял матрас с кровати, заглянул за каждую картину, исследовал каждую раму с помощью маленькой лупы. Но я знал, что он отмечает каждое мое слово. Прервал он меня только раз, когда я рассказал, как я нашел Жаннет в библиотеке, высказав предположение, что девушка находилась там по той же причине, что и я.

— Вам ведь понравилась мадемуазель Лакур, признайтесь, дорогой Банде.— Он улынулся.— Девушка в самом деле очаровательна. Однако не стоит делать поспешного заключения, будто она так же невинна, как и хороша собой.

— Что вы имеете в виду?

— Да, в общем, ничего. Просто обратите внимание на выражение ее лица, когда она вновь увидит меня. Разумеется, на этот раз она выкажет больше самообладания.

— На этот раз?— переспросил я.

Мордан кивнул.

— Мое появление, показавшееся вам телепатией, не было чудом,— сказал он.— Должен признаться, что я приехал еще вчера вечером и без шума, тщательно осмотрел замок. Я был той тенью, которую вы видели во дворе, и это меня, очевидно, узнала мадемуазель Лакур. Поэтому я решил, что будет лучше выйти и войти вновь уже как должностному лицу.

— Значит, вы приехали сюда из-за Жаннет Лакур?

— Да,— спокойно ответил инспектор.

Я не предполагал, что Рене Франсуа может так сильно побледнеть.

Мордан обследовал мою комнату с той же придирчивостью, как и предыдущие. Он осматривал комнату Пюжо, когда в замок возвратились два жандарма вместе с мадемуазель Лакур. Инспектор пригласил всех в библиотеку.

— Ну и ну! Вот уж никак не ожидал встретиться с вами так скоро, мадемуазель,— сказал он.

Жаннет не ответила. Она не казалась больше испуганной— она была взбешена. К щекам прилила краска, а синие глаза вызывающе сверкали.

— Могу я поговорить лично с вами, месье инспектор?— спросила она.

— А почему лично? То, что вы совершили,— это дело суда. А ваши ночные подвиги— дело, представляющее интерес для всех нас. Где альдина?

— Я не прикасалась к альдине!— заявила девушка, не глядя, однако, на Рене Франсуа.

— Как бы то ни было,— сказал инспектор,— мне кажется, что с наступлением дня мы организуем поиски и найдем книгу где-нибудь между замком и тем местом, где мадемуазель повстречала жандармов.

— Это неправда!

— Тогда почему вы столь поспешно покинули замок, мадемуазель?

— Я... Я послал ее... с поручением,— запинаясь, пробормотал Франсуа.

Тут девушка повернулась и взглянула прямо в лицо Франсуа. Глядя ему в глаза, она проговорила:

— Это не так, Рене. Инспектор знает, что это не так. Он знает: я скрылась, чтобы избежать этой сцены.

— Понимаю,— инспектор говорил мягко, с ноткой сожаления

в голосе.— Очевидно, месье Франсуа не знает, что вы были приговорены к трем месяцам заключения условно за участие в похищении библии кардинала Мазарини в прошлом году. Почему вы не рассказали ему об этом?

— Потому что я пыталась всем своим образом жизни заставить людей забыть об этой злополучной истории,— горячо сказала девушка.— Мое участие в этом деле было совершенно случайным. Даже судьи признали, что я действовала непреднамеренно, и приговорили меня условно. Неужели вы никогда не дадите мне забыть о библии Мазарини, месье инспектор?

— Нет, мадемуазель. Нет, потому что вы втерлись в доверие к наивному молодому человеку, чтобы получить доступ к ценной библиотеке и украсть книгу.

— Но я не крада!— крикнула девушка.

— Тогда почему же вы сбежали?

— Потому что...— Жаннет запнулась.— Потому что незадолго перед тем, как все это случилось, месье инспектор, Рене просил меня стать его женой. Я отказалась— по крайней мере до тех пор, пока не найду мужества сказать ему всю правду о себе. Но когда украли альдину и приехали вы, я поняла, что никогда не решусь сказать правду. Рене не поверит мне. И я убежала— потому что я люблю его.

— Уж не потому ли вы спрятали книгу вне пределов досягаемости его кузена?— инспектор Мордан покачал головой.— В этом случае вам нужно было предупредить Франсуа о том, что не стоит убивать Жюля Пюжо.

— Убивать?...— губы Жаннет вновь раскрылись, но голос ей не повиновался. Она не смогла вымолвить больше ни слова. Веки ее, затрепетав, сомкнулись, и она беспомощно опустилась на пол.

— Принесите бренди,— распорядился инспектор Мордан.

Затем он приказал слугам открыть несколько комнат на первом этаже, чтобы запереть в них владельца замка и его гостей, пока продолжается следствие.

— Я запер бы и вас, Банде,— сказал он,— но предпочитаю, чтобы вы находились рядом со мной. Я не буду спускаться с вас глаз.

Он нашел осколки разбитого флакона из-под хлороформа, что объясняло таинственный звон, который я слышал ночью. Затем обнаружил в фонтане пистолет доктора Сторча. Два патрона отсутствовали.

— Это подтверждает ваш рассказ, Банде.— Два выстрела. Но на теле Пюжо только одно пулевое ранение. Как вы думаете, почему?

— Должно быть, с первого выстрела промахнулись,— предположил я.

— Логично. Но я пока еще не нашел следов второй пули в комнате Франсуа. Надо осмотреть ее еще раз.

— Пуля могла вылететь в окно,— заметил я.— Помните, Франсуа отворил окно, прежде чем погасить свет.

— Но когда мы нашли тело, окно уже было закрыто,— сказал Мордан.

— Франсуа мог затворить его, пока я был внизу в библиотеке.

— И это логично,— признал Мордан.— Послушайте, Банде, вы не хотите вздремнуть? А я мобилизую жандармов для поиска альдины в остальной части замка— конечно, если мадемуазель Лакур говорит правду и книга находится здесь. Когда выяснится что-либо заслуживающее внимания, я вас разбуджу.

Он не разбудил меня, и я крепко проспал, должно быть, два или три часа, потому что, когда я проснулся, на дворе было совсем светло. Мордана я нашел в столовой. Он пил кофе.

— Добрый день, Банде,— сказал он.— Я в замешательстве. Никаких следов альдины не обнаружено, и потому приходится заключить, что девушка похитила ее из замка. Тем не менее я совершенно убежден, что девушка не убивала Жюля Пюжо. Вы дрожите, Банде?

— Здесь прямо как в холодильнике,— ответил я.— Вы не против, если я разожгу камин?

Инспектор не возражал. Я подошел к огромной каминной решетке с зажженной спичкой и уже было собрался поднести пламя к охапке хвороста, как вдруг выронил спичку и громко воскликнул. Сквозь хворост виднелся знакомый переплет. Я потянулся за ним, но инспектор отстранил меня и сам вытащил книгу.

Это был старинный фолиант.

Пока он возбужденно перелистывал страницы, я попытался было заглянуть ему через плечо, но он сделал знак, чтобы я отошел.

— Прошу вас, Банде, принесите воды. Да, воды. Скорее... Я принес графин. Он смочил страницы в середине. Потом разлепил пять-шесть листов, чтобы убедиться, что они как следует пропитались.

Я озадаченно спросил:

— Разве это не альдина, инспектор? Латинский шрифт, время издания то же и...

Мордан захлопнул книгу.

— Вы ничего не видели, Банде,— сказал он.— И ничего не слышали. А теперь прошу вас, попросите бригадира привести всех сюда сию же минуту. Надеюсь, вы получите ответы на все вопросы.

Уходя из комнаты, я оглянулся и увидел, как инспектор Мордан вновь прячет большой том в камин.

Один за другим, напряженно и угрюмо, обитатели замка входили в столовую. Раздалось несколько невнятных приветствий, кое-кто обменялся враждебными взглядами, однако единственный, кто обратился непосредственно к Мордану, был доктор Сторч. Зябко поежившись, пожилой джентльмен сказал:

— Холодно, не правда ли, инспектор? Не разжечь ли камин?

Я в ужасе посмотрел на Мордана, который беспечно пил кофе. Он кивнул мне, и мне даже показалось, что он находится в приподнятом расположении духа. Увидев, что я остановился в нерешительности, он сказал:

— Ну, что же вы, Банде? Зажигайте. Все готово.

Я повиновался. Но, глядя на первые языки пламени, приближающиеся к месту, где была спрятана книга, я почувствовал дурноту.

— Я пригласил вас сюда,— сказал инспектор,— чтобы вы помогли мне разгадать тайну.

— Никакой тайны не существует,— заявил мэтр Кардоннэ, который обрел прежнюю напыщенность.— Вчера вечером Рене Франсуа угрожал убить Пюжо. Все это слышали. Он просто привел свою угрозу в исполнение. Кому еще было выгодно убить Пюжо?

— Вам,— сказал инспектор.

— Мне? Какая нелепость!

— Пройшей ночью по пути сюда, мэтр Кардоннэ, я совершил небольшой взлом в вашей конторе,— сказал Мордан.— И, просматривая бумаги, наткнулся на письмо от лондонского антиквара, предлагавшего вам 50 тысяч франков, если вы сможете устроить ему продажу альдины по сходной цене.

— Я... Я... Да, это правда,— заикаясь, произнес нотариус.— Но я даже не стал отвечать на это нелепое предложение. И, разумеется, я не стал бы убивать человека из-за 50 тысяч франков.

— Предположим, что Пюжо тоже знал об этом предложении. Предположим, что он пытался вас шантажировать, что между вами вспыхнула ссора и в результате он был убит.

— Но меня усыпили хлороформом, инспектор.

— Вас якобы усыпили. Хлороформ был только на вашем платке. На вашем собственном платке, мэтр Кардоннэ. Почему, а?

— Ну, я... Я, должно быть, задремал. Вор с легкостью мог вытащить платок у меня из кармана.

— А вы с легкостью могли притвориться усыпленным, чтобы отвести от себя подозрения и направить следствие по ложному пути.

— Вы осмеливаетесь обвинять меня, инспектор? — бородка нотариуса воинственно топорщилась.

— Я никого не обвиняю. Пока. Просто строю предположения... Банде! Чувствуете, пахнет горелой кожей!

Я стоял спиной к огню, чтобы не смотреть на пламя, пожирающее бесценный фолиант. Я сказал, что чувствую и, повернувшись, увидел, как доктор Сторч бросился к очагу.

— Смотрите, инспектор! — крикнул он. — Там — книга! Очень большая!

Все кинулись к камину. Одни пытались сбить пламя. Другие очищали от горячей воды дымящийся, тлеющий предмет, обнаруженный доктором Сторчем. Это была, разумеется, книга, но переплет и страницы обуглились до неузнаваемости. Инспектор Мордан осторожно разложил почерневшие, рассыпающиеся останки на камине.

— Вы специалист, доктор Сторч, — сказал он. — Что вы можете предположить?

Сторч взял увеличительное стекло и склонился над полусожженной книгой.

— Какая жалость! — воскликнул он. — Альдина погибла.

— Вы уверены, доктор Сторч?

— Абсолютно.

Резким движением инспектор Мордан смел груды пепла, открыв половину уцелевшей страницы. Она была еще влажна и от нее валил пар.

— Вот это удача! — воскликнул он. — Осталась неповрежденная часть. Вы все еще считаете, что это работа Альда, доктор Сторч?

— В этом нет никакого сомнения, — ответил тот.

Инспектор Мордан выпрямился. Его правая рука скользнула в карман и появилась уже с револьвером. Лево́й он схватил доктора Сторча за белоснежную шевелюру и с силой дернул. Копна седых волос сползла, обнажив голый сверкающий череп.

— Ни с места, Эмиль Дор! — воскликнул инспектор Мордан. — С картинами у вас получалось, а вот с книгами... Вы совершенно не разбираетесь в шрифтах. Шрифт этой книги был создан Гарамом пятьдесят лет спустя после Альда-старшего. Ну-ка, Банде, взгляните на засечки. И на прописные буквы. Ошибки быть не может — это Гарамон.

— Может быть, я и ошибся, — признал лысый господин, которого Мордан называл теперь Эмилем Дором. — Но это не повод, чтобы унижать меня...

— Хватит притворяться, Эмиль, — сказал Мордан. — Задумано все было умно, но вы проиграли. Вы положили сходное с альдиной фолио Гарамона в камин, понадеявшись, что оно

сторит настолько, что мы все примем его за альдину и прекратим дальнейшие поиски. Тем временем вы смогли бы беспрепятственно вынести подлинную книгу. Бригадир, вы не обыскали вчера «испано-сюизу»? Я тоже. Мы оба сделали глупость. Что ж, обьщем ее сейчас. Держите его! — Мнимый доктор Сторч рванулся к двери. Мордан не стрелял, потому что поблизости находились Жаннет и Франсуа. Но беглеца скрутили жандармы.

— А теперь, Эмиль,— сказал инспектор,— может быть, вы расскажете нам, что вы сделали с доктором Хьюго Сторчем?

Вор угрюмо молчал. Глядя на его ноздри, дрожавшие от ярости, я вспомнил, как на террасе кафе Гролье инспектор спрашивал меня об Эмиле Доре.

— Ну, что ж, Эмиль,— продолжал инспектор.— Если вы не хотите говорить, расскажу я. Вы убили его. Иначе как бы вам удалось завладеть его автомобилем и деньгами. Вы не удовлетворились этим и решили прибрать к рукам альдину. Вы убили и Жюля Пюжо.

— Вам не удастся это доказать.

— Разумеется, удастся,— сказал инспектор Мордан.— То, что именно вы убили Жюля Пюжо, я знал еще минувшей ночью, но повременил вас арестовывать до тех пор, пока не выяснится, что вы сделали с книгой. Вы застрелили Пюжо в вашей собственной комнате из пистолета, который якобы у вас украли. С первого выстрела вы промахнулись, и пуля застряла в стене. Вы перевесили картину, чтобы скрыть след от пули, но не обратили внимания на осыпавшуюся штукатурку. А я обратил. Когда потревоженный выстрелами Франсуа вышел из комнаты, вы перетащили тело Пюжо и втолкнули его через открытое окно в комнату Франсуа. Затем вы закрыли окно, чтобы рассеять подозрения. Вы не ожидали, что здесь окажусь я, и надеялись, что местная жандармерия без труда признает Франсуа виновным в убийстве, ведь он в присутствии свидетелей угрожал Пюжо прошлым вечером.

— У меня не было причины убивать Пюжо.

— Была, и очень серьезная,— возразил Мордан.— Только из окна Пюжо можно было увидеть ту часть двора, где стояла ваша «испано-сюиза». Можно предположить, что Пюжо видел, как вы прячете украденную книгу в машине...

— Вот книга, инспектор,— сказал вошедший с альдиной в руках бригадир.— Она была спрятана под сиденьем.

— Ну, вот,— продолжил Мордан.— Пюжо, не обладавший талантом подлинного шантажиста, должно быть, пришел к вам и прямо потребовал заплатить за молчание. Вполне вероятно, что он потребовал те полмиллиона франков, которыми вы столь необдуманно хвастались вчера; возможно, угрожал вам разобла-

чением. Вам нельзя было оставаться в его власти, поскольку могло раскрыться, что вы не доктор Сторч, вот вы и убили Пюжо. Убили, чтобы спасти свою шкуру. Вы проиграли, Эмиль. Так или иначе, голова ваша достанется парижскому палачу. Кстати, что вы сделали с доктором Сторчем?

— Догадайтесь! — прорычал Эмиль Дор.

Мордан выяснил все еще до полудня. Оставшуюся часть утра он вместе с бомжорскими жандармами звонил в Париж по междугородней. Сыскной полиции потребовалось всего несколько часов, чтобы обнаружить тело доктора Сторча в его собственном чемодане в камере хранения на Лионском вокзале. Дор, очевидно, следил за доктором Сторчем и, когда старый библиофил забрал деньги из банка, задушил его в отеле, где тот остановился. Доктор Сторч успел уже написать записку, в которой сообщал, что уезжает, поэтому для Дора не составило труда позвонить в администрацию отеля и попросить, чтобы багаж (а значит, и тело Сторча) отвезли на вокзал. Затем, чтобы исчезновение доктора обнаружили не сразу, убийца решил в течение некоторого времени выдавать себя за него и отправился на машине в Бомжор. Очутившись в замке, он не смог побороть искушения. Это был вызов его профессиональному мастерству. Похищая альдину, он испытывал саму судьбу.

Вот и все. Хочу добавить, что в конце концов купил эту книгу за пятнадцать тысяч долларов. Вероятно, она могла бы обойтись и дешевле, поскольку предложений было не слишком много, но я знал, что приобрел подлинную ценность. Пусть лишние деньги будут свадебным подарком Рене Франсуа и Жаннет Лакур. Моя фирма может себе это позволить.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Номер телефона совпадает с условной датой начала книгопечатания И. Гутенбергом — 1440 г.
- 2 Стоун Льюис — американский киноактер 30-х годов.
- 3 Альдины — книги, напечатанные знаменитым итальянским издателем эпохи Возрождения Альдо Маноуцием (1450—1515).
- 4 «Гипнэротомехия Полифила» («Сон Полифила») — альдина, устойчиво пользующаяся наиболее громкой славой. Эту книгу выделяют как самую прекрасную не только среди альдин, но и среди печатных книг итальянского Возрождения вообще. В современном каталоге сокровищницы книжного искусства — Музея Бодони в Парме — так и сказано: «Считается самой красивой иллюстрированной книгой Возрождения». «Гипнэротомехия Полифила» вышла в свет в декабре 1499 г. По словам известного советского книговеда М. И. Шелкунова, «этим изданием Альд как бы подводит итоги всех достижений типографского искусства к концу XV века».
- 5 Халс (Гальс) Франс (между 1581 и 1585—1666) — голландский живописец.
- 6 Виолле-ле-Дюк Эжен Эммануэль (1814—1879) — французский архитектор, историк и теоретик архитектуры. Реставрировал ряд французских готических соборов и других памятников старины.

Гийом Аполлинер

* * *

Простите невежество мне.
Простите, что больше не знаю старинной игры
стихотворной.
Ничего я больше не знаю и только люблю.
Цветы под взглядом моим превращаются в пламя
покорно
И я, подобно богам, размышляю,
С улыбкою глядя на существа, что не мною
созданы были.
Но если бы тень, наконец уплотнившись,
Многообразие форм любви моей повторила,
Я восхитился б твореньем своим.

СЛОН

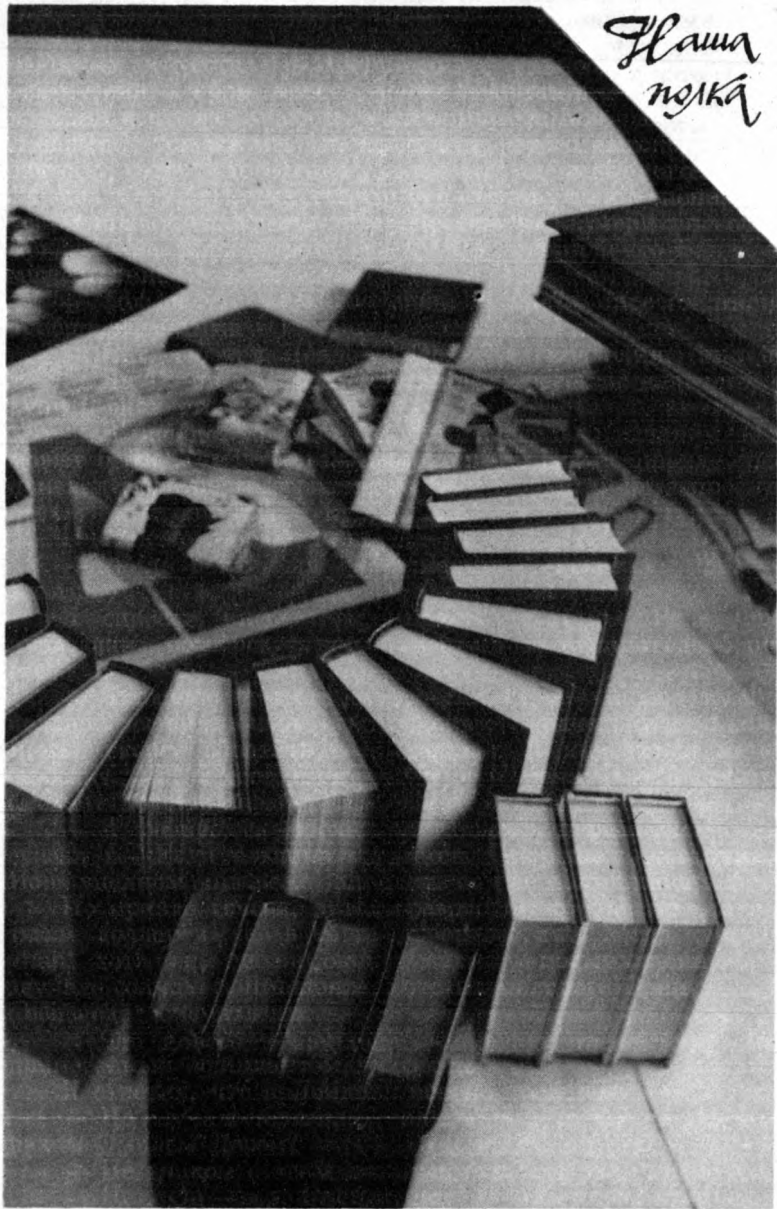
Слова мои — то же, что бивни слона,
Подарок заморских послов.
За пурпур славы плачу сполна
Ценою поющих слов.

ГУСЕНИЦА

Работайте, о бедные поэты!
Богатство достигается трудом.
Хоть гусеница портит лист, но к лету
Становится нарядным мотыльком.

*Перевод с французского
М. Кудинова*

Глам
ночка



Книги пестрыми рядами стояли на полках, и за ними не видно было стен; книги высокими грудями лежали на полу... И казалось, что безмолвно содрогается и рвется наружу скованная ими человеческая мысль, и никогда не было в этом царстве книги настоящей тишины и настоящего покоя.

Л. АНДРЕЕВ

ХВАЛА ЦЕНИТЕЛЯМ И РАЧИТЕЛЯМ КНИГИ

В библиофильстве существуют своего рода «вечные вопросы» — о смысле и цели собирательства, о редкостном экземпляре с тщанием отысканной библиофилом книги... Сменяются поколения, но проблемы остаются. Они лишь приобретают новое, современное звучание, порожаемое духом и требованиями времени. Сегодня, как сто и двести лет тому назад, спорят любители книжной премудрости о том, что же, наконец, считать редкой, ценной, уникальной книгой. И сегодня волнует библиофилов вопрос о судьбах общественно значимых личных собраний. Ломая копыя в дискуссиях на заседаниях библиофильских клубов, в жарких спорах над новым приобретением, полезно порой взглянуть — сколь многое расставляет по местам время, решение каких до сих пор волнующих нас проблем представляет нам история отечественного библиофильства.

К широко известным работам П. Н. Беркова и В. В. Кунина в 1984 году прибавилась книга доктора философских наук А. Х. Горфункеля и заведующего отделом редких книг научной библиотеки Ленинградского университета Н. И. Николаева «Неотчуждаемая ценность»*. Выпущенная университетским издательством тиражом 10 тысяч экземпляров, книга Горфункеля и Николаева носит скромный подзаголовок «Рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки». Даже в том случае, если бы авторы ограничились только этой сравнительно узкой целью — рассказать о книжных униках прославленного книгохранилища, — книга их читалась бы с захватывающим интересом. Ведь в ней повествуется и о судьбах книг, которые (например, издание «Романов и повестей Александра Пушкина» 1837 года) дошли до нашего времени... в одном-единственном экземпляре.

В действительности, содержание книги «Неотчуждаемая цен-

* Горфункель А. Х., Николаев Н. И. Неотчуждаемая ценность: Рассказы о кн. редкостях унив. 6-ки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984, 176 с., ил., 16 л. ил.

ность» значительно шире. В ней запечатлен яркий фрагмент истории русского библиофильства XVIII—XIX веков. Авторы прослеживают судьбы примечательных библиотек Петра Федоровича Жукова—современника и знакомого М. В. Ломоносова; ученого-геолога Петра Борисовича Иноходцова; купца Василия Андреевича Пивоварова; чиновника Платона Яковлевича Актова; академика Дмитрия Ивановича Языкова, участника «республики ученых»—знаменитого румянцевского кружка; путешественника, просветителя, революционера Федора Васильевича Каржавина; философа Николая Николаевича Страхова—близкого друга Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого... Один перечень этих имен немало говорит библиофильскому сердцу. Но когда читаешь о новых находках книг из этих прославленных библиотек, об их причудливых судьбах, о путешествиях знаменитых изданий в пространстве и во времени, о книгах, избежавших ножа гильотины и пламени костра,—осознаешь в полной мере историко-культурное значение той, незаметной подчас для глаза, работы, которая из века в век вершится библиофилами.

Не всякое собирательство книг имеет смысл. Их слепое накопительство, «держание под замком» противоречат общественной, по сути своей, природе книги. Более того, «библиофильство, не подкрепленное подлинной культурой, не одушевленное гуманной и патриотической идеей, библиофильство эгоистическое, выражающее себя как страсть к собирательству книжных редкостей, в конце концов часто уничтожает плоды собственных, порой немалых усилий» (с. 52). Подобные весьма современные и своевременные размышления авторов о сущности библиофильства как социального явления подкрепляются главной мыслью, красной нитью проходящей через всю книгу,—подлинно счастливы судьбы тех личных собраний, которые продолжают жить второй жизнью в составе общественных книгохранилищ.

Начиная с чеховских слов о высокой ценности библиотечной книги, взятых в качестве эпиграфа к «Неотчуждаемой ценности», до заключительного «Списка важнейших книжных коллекций, хранящихся в научной библиотеке Ленинградского университета», звучит гимн тем, кто принес в дар обществу, отечественной культуре плоды своих многолетних усилий и трудов. К слову, «Список» читается с большим интересом: он не просто дополнение к книге, но неотъемлемая ее часть. В «Списке» представлены сведения о ста шестидесяти двух личных библиотеках (и их владельцах), полностью или частично вошедших в состав фондов книгохранилища Ленинградского университета. Причем авторы напоминают, что «с личной библиотеки начиналась двести лет назад история университетского книжного собрания» и что «именно эти частные библиотеки придают неповторимый облик

университетской книжной коллекции» (с. 161). Познавательное-справочное значение «Списка» трудно переоценить.

Нельзя не сказать о последней главе, которая дала название всей книге. Она имеет подзаголовок «Старопечатная книга и ее крестьянский читатель». Помимо интереснейших сведений об археографических экспедициях, в результате которых были сделаны уникальные находки, эта глава показывает, сколь заботливым, поистине высококонравственным было отношение к книге у русских крестьян, как ценилось, наряду с практическими умениями, книжное знание. Книги в крестьянских домах тщательно сберегались, передавались из поколения в поколение, а «книгочеи всегда почитались как самые уважаемые люди» (с. 152). Книга для крестьянского читателя была поистине неотчуждаемой ценностью.

Как важно в наши дни не только сохранять, но и приумножать эту добрую традицию — неперенного бытования книги на селе, бережного, уважительного отношения к ней современного сельского читателя. К сожалению, по наблюдениям публициста Ивана Васильева, книга становится редкой гостьей в домах сельских жителей. Те организации, которые обязаны доставлять книгу на село, не выполняют свои обязанности. Здесь есть над чем задуматься и нам, книголюбам.

«Неотчуждаемая ценность» насыщена неустаревающим теоретическим материалом. Включаясь в дискуссию о содержании понятия «редкая книга», авторы высказывают свой оригинальный подход к решению этой проблемы. Их основное положение сводится к тому, что «не автор и не типограф — время и история делают книгу редкой» (с. 7). Весьма плодотворно — указание на недостаточность количественного критерия при определении редкости книги. Важнейшим признаком редкости книг, по мнению авторов, может служить их историко-культурная ценность, то значение, которое имеют издания, сохранившиеся в небольшом количестве экземпляров, для истории русской, советской и мировой культуры.

А. Х. Горфункель и Н. И. Николаев ставят актуальную проблему — подчеркивают необходимость всеобщего учета редких и ценных изданий, подготовки и печатания сводных каталогов старопечатных и редких книг. Хотелось бы заметить, что эта задача стоит не только перед сотрудниками отделов редких книг общественных книгохранилищ, но и в не меньшей степени перед организациями Всесоюзного добровольного общества любителей книги. В собраниях библиофилов немало редких и уникальных изданий, судьбы которых заслуживают заинтересованного внимания общественности.

Книга Горфункеля и Николаева — превосходный путеводи-

тель по сокровищнице одной из старейших университетских библиотек страны. Авторы рассказывают об истории формирования ее фондов и повествуют о наиболее примечательных — редких и редчайших — экземплярах, хранящихся в библиотеке; читатель найдет в книге рассказы о прижизненных изданиях трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, первых изданиях произведений классиков общественной мысли, науки и литературы, о детищах «колыбельного периода» книгопечатания — инкунабулах.

Ощущение личного присутствия, соприкосновения с сокровищами библиотеки порождают с тщанием подобранные и напечатанные (в значительной части!) на мелованной бумаге воспроизведения титульных листов, иллюстраций знаменитых книг, портреты владельцев наиболее примечательных книжных коллекций.

Два замечания хотелось бы сделать в заключение. Первое относится к авторам: книге, как воздух, нужен именной указатель. Например, авторы сообщают интереснейшие сведения об А. Ф. Онегине (Отто), но их не так-то просто отыскать. Второе замечание следует адресовать издателям. «Неотчуждаемая ценность», рассчитанная на долгую жизнь — не только на чтение и перечитывание, но и на пользование ею как справочным изданием, — безусловно, заслуживала твердого переплета. Не сомневаюсь, что многие из тех, кому посчастливилось приобрести эту труднонаходимую книгу, уже одели ее в достойный наряд.

В. Я. Брюсов

ПО ПОВОДУ СБОРНИКОВ
«РУССКИЕ СИМВОЛИСТЫ»

Мне помнятся и книги эти,
Как в полусне недавний день;
Мы были дерзки, были дети,
Нам все казалось в ярком свете...
Теперь в душе и тишь и тень.
Далеко первая ступень.
Пять беглых лет — как пять столетий.

1900

СОКРОВИЩА БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНСКОГО ДОМА

Пушкинский Дом — гордость нашей культуры и науки. Об этом замечательном учреждении, имеющем и другое, более «официальное» название — Институт русской литературы АН СССР — в последние годы вышло несколько книг. История, деятельность и деятели Пушкинского Дома, его Литературный музей нашли в этих изданиях подробное отражение. Большое и неперемнное участие в них принимал один из старейших работников Пушкинского Дома В. Н. Баскаков. Им же написана и эта, небольшая, но увлекательная и чрезвычайно нужная книга* о библиотеке Пушкинского Дома.

Впервые широкий читатель знакомится с одной из уникальнейших наших библиотек, славящейся не столько общим количеством собранных изданий, которых, быть может, меньше, чем в других крупных библиотеках (но все же собрано 600 тысяч), сколько богатыми неразрозненными коллекциями книг и рукописей, равных которым трудно найти.

Краеугольным камнем в основании библиотеки, да и всего Пушкинского Дома, стала личная библиотека и собрание рукописей А. С. Пушкина. Само по себе это говорит о громадной культурной ее ценности. Ее история — «во многом и история самого Пушкинского Дома. Пушкинский Дом начинался с библиотеки, — пишет В. Н. Баскаков. — И этой библиотекой была личная библиотека великого русского поэта Пушкина. Еще не был утвержден даже проект положения о Пушкинском Доме... но библиотека Пушкина уже легла в основание его, составив как бы фундамент будущего здания научного учреждения».

Автор рассказывает о том благороднейшем деле, какое совершил наш выдающийся пушкинист Б. Л. Модзалевский, который в 1900 году перевез в Петербург из Ивановского сохранив-

* Баскаков В. Н. Библиотека и книжные собрания Пушкинского Дома. Л.: Наука, 1984, 37 с., ил.

шиеся книги Пушкина. Тогда и был заложен фундамент теперешней библиотеки.

Вслед за библиотекой Пушкина в Пушкинский Дом поступили библиотеки из села Тригорского (также по инициативе Б. Л. Модзалевского), П. А. Плетнева, П. А. Ефремова, И. Л. Леонтьева-Щеглова, Н. А. Котляревского, коллекция юбилейных изданий, собранная А. А. Бахрушиным. Увы, библиотеку Пушкинского Дома сразу же ждали финансовые трудности, и вот редкое книжное и рукописное собрание П. А. Ефремова (20 тысяч одних только книг) не было приобретено полностью. Но самые ценные рукописи и книги все же были куплены.

В предреволюционные годы библиотека Пушкинского Дома насчитывала всего 30 тысяч томов. Заботилась о них, каталогизировала их Евлалия Павловна Казанович, первый историк Пушкинского Дома, «бестужевка», личность, оставившая заметный след в культурной жизни Петрограда-Ленинграда. Заботами первых сотрудников библиотеки, энтузиастов книги и собирательства, подчеркивает В. Н. Баскаков, был создан тот высокий дух любви к книге, который всегда отличал Пушкинский Дом.

Интенсивно библиотека стала расти после Октябрьской революции. За короткое время были приобретены библиотеки А. И. Аничкова, Н. С. Боткиной-Враской, Ф. И. Стравинского (часть ее), А. Н. Майкова (также часть), книжные собрания и архивы В. М. Гаршина, В. А. Жуковского, Ф. К. Сологуба, Я. П. Полонского, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, И. А. Гончарова и многих других. В 1927 году в нее влилась, после двадцатилетних хлопот (при активнейшем участии того же Б. Л. Модзалевского) знаменитая парижская библиотека А. Ф. Онегина. Принимал ее другой известный пушкинист Н. В. Измайлов... Собрание Онегина принесло Пушкинскому Дому не только единственную в своем роду Пушкиниану, но и 600 томов из библиотеки В. А. Жуковского с его записями и пометами, множество других документов и книг.

Украшением библиотеки стали личные книжные собрания А. Н. Островского и А. А. Блока, обессмертившего Пушкинский Дом в своем стихотворении. Много сделал для библиотеки А. М. Горький, бывший короткое время директором Пушкинского Дома. Книги, периодика, рукописи, переданные им, составили основной фонд так называемого «Горьковского кабинета» — сектора по изучению творчества великого советского писателя.

С начала 30-х годов Пушкинский Дом стал научно-исследовательским институтом (тогда-то он и получил свое академическое наименование). Все собранные коллекции приобрели характер научного материала. Возникли «кабинеты»: пушкинский, лермонтовский и другие. Многочисленные издания,

которые мы ежегодно приобретаем с грифом ИРЛИ,—все это детище институтских «кабинетов», других секторов, плод деятельности высококвалифицированных сотрудников, которые работают с редчайшими изданиями из книжных собраний этих секторов. Сектор древнерусской литературы пользуется, например, своим книжным собранием, основу которого составила библиотека Владимира Ивановича Малышева. Сектор народного творчества пользуется в своей работе библиотеками, переданными академиками С. Ф. Ольденбургом и В. М. Жирмунским... Книгохранилище Пушкинского Дома продолжает непрерывно пополняться.

В. Н. Баскаков пишет о каталогах, существующих в каждом секторе, и об общем алфавитном каталоге, не имеющем себе подобных в других библиотеках. Хочется выразить пожелание об издании хотя бы некоторых каталогов, доступных массовому читателю, библиофилам: в первую очередь это относится к описанию библиотеки А. С. Пушкина, основой которого должен стать не переиздававшийся с 1910 года известный труд Б. Л. Модзалевского. Без сомнения, и сама книга В. Н. Баскакова, читающаяся с увлечением, может быть переиздана в расширенном виде.

А. С. Пушкин

МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

1815

Л. Наппельбаум

УРОКИ ЧТЕНИЯ*

Начну с того, что появление этих книг принесло мне большую личную радость. И вот почему: входя в библиотеки, я испытывала неудовлетворенность, читая на стене одну и ту же цитату: «Любите книгу—источник знаний. М. Горький». Что такое «источник знаний»?—думала я. Учебник, который мы зубрим, чтобы не возвращаться к нему после экзамена? Справочник, который мы открываем на минуту, чтобы уточнить факт? И учебник, и справочник—издания необходимые, занимающие почетное место среди других. Но книга для меня, как и для миллионов людей,—не утилитарный предмет, а один из важнейших элементов жизни, нечто душевно дорогое, даже интимное. И мог ли смотреть иначе на книгу Горький, который шел к ней таким трудным путем, человек, называвший себя великим книгоцеем?

Но вот вышло шесть сборников, посвященных книге. Издательство «Книга» за три года напечатало пять сборников высказываний писателей о книге, чтении и библиофильстве, а издательство «Прогресс» выпустило том «Человек читающий»—о роли книги в жизни человека и общества, охвативший высказывания писателей XX века из шестнадцати стран мира. Во всех этих сборниках помещены не афоризмы, не вырванные из контекста цитаты, а рассказы, эссе, очерки, пространные и мотивированные рассуждения, памфлеты, большие отрывки—сюжеты, в центре которых книга.

* Лучезарный феникс: Зарубежные писатели о книге, чтении и библиофильстве XX века/Сост. Р. Л. Рыбкин. М.: Книга, 1979, 222 с.; Корабли мысли: Зарубеж. писатели о кн., чтении, библиофилах/Сост. и авт. послесл. В. В. Кунин. М.: Книга, 1980, 236 с.; Очарованные книгой: Рус. писатели о кн., чтении, библиофилах/Вступ. ст., сост. и примеч. А. В. Блюма. М.: Книга, 1982, 287 с., ил.; Вечные спутники: Сов. писатели о кн., чтении, библиофильстве/Сост., вступ. ст. и примеч. А. В. Блюма. М.: Книга, 1983, 222 с.; Зеркало мира: Писатели стран зарубеж. Востока о кн., чтении, библиофилах/Сост. В. А. Эльвова. М.: Книга, 1984, 240 с.; Человек читающий: Писатели XX в. о роли кн. в жизни человека и о-ва/Сост. и авт. предисл. С. И. Балза. М.: Прогресс, 1983, 456 с., ил., факс.

Разумеется, как ни велик собранный материал, большой, серьезный разговор о книге только начат названными изданиями.

Сборники издательства «Книга» адресованы в основном библиофилам. Библиофилия и история литературы тесно соприкасаются, и вполне естественно, что здесь иногда вне связи с конкретным изданием можно встретить рассуждения о самых различных авторах. В первом выпущенном «Книгой» сборнике — «Лучезарный феникс» принцип отбора еще не выкристаллизовался. Например, рассказ «Поэт» К. Чапека, где речь идет о психологии творчества, или «Братья-писатели» К. Марли — о литературном быте, выглядят случайно.

«Человек читающий» обращен не к библиофилам, а ко всем читателям. Но и здесь возникает желание поспорить с отбором текстов. Например, высказывания Г. Уэллса и Н. Саррот о романе, рассказ Э. Хемингуэя «Маэстро задает вопросы» были бы уместней в сборнике писателей о своем труде, чем в таком, где они выступают в качестве читателей.

Но в целом выход этих сборников — значительное событие. И прежде всего потому, что в них в полный голос сказано о таком великом явлении нашей жизни, как книга. Мы встречаем здесь, наверное, десятки попыток дать ей определение. И хотя почти с каждым из них можно согласиться, ни одно из них нельзя назвать исчерпывающим. Арабскому мыслителю XVIII—XIX веков Аль-Джахизу понадобилось две страницы, чтобы определить значение книги. О том, что книга — это кладовая человеческого опыта, память человечества, раздаются голоса из всех времен и с разных концов света. Для английского поэта и критика XIX века Ли Ханта книга — органическая часть жизни, он убежден, что «человечество создано книгами, как и жизненными обстоятельствами». Другой англичанин, Томас Карлейль, пытается даже доказать, что книги понемногу вытесняют университет, церковь и даже парламент. Наш современник, умерший в 1964 году, египтянин Аббас Махмуд аль-Аккад нашел в книге еще один, помимо пяти чувств, способ познания действительности. И, наконец, название, данное сборнику издательством «Прогресс», отчетливо говорит, что появление печати в жизни человечества может быть воспринято как новая эра, поднимающая человека мыслящего на высшую ступень.

Горький справедливо сказал, что книга — источник знаний. Но эти слова звучат совсем иначе, сильнее, когда вслед за ними прочитываешь его мысль, что из знаний вытекает любовь к трудящемуся человечеству. Горький много говорил о книге. Например: «Я люблю книги: каждая из них кажется мне чудом». Говорил, что красноречивей и понятней всего душа раскрывается в книге, а однажды поставил ее даже выше природы.

Порой писатели высказывают мысли, противоречащие друг другу и все же — верные. Книга соединяет людей, разьединенных пространством и временем; в то же время, читая, человек остается наедине с собой. Испанец Мигель де Унамуно читает, чтобы не видеть того, что происходит в его угнетенной стране; Назым Хикмет ценит книгу за то, что она не дает забыть о социальной опасности, грозящей миру.

Перед нами проходят различные типы читателей и разные манеры чтения. Один считает, что книгу надо прочесть не менее двух раз. Другой — что всего лучше читать по отрывку из разных книг. Меняется обстановка, в которой происходит чтение. Ли Хант рассказывает, что кабинет Монтеня представлял собой круглую комнату, всю уставленную пятью рядами книжных полок, из окон которой на три стороны открывались прекрасные пейзажи. Короленко вспоминает, как в детстве старший брат послал его в библиотеку сдать книги, как по дороге он притулился в нише какого-то здания и пытался залпом проглотить «Домби и сына», не замечая, что толпа озорных мальчишек собралась вокруг него и покатывается со смеху. Да, страсть к книге будущего писателя, заглушавшая их голоса, вызывает уважение. Но ведь и в «кабинетах» перечитывали по многу раз книги не праздные сибариты. По-разному закладываются основы искусства чтения, в котором мы очень нуждаемся. Читать учат только в начальной школе, но все ли грамотные люди умеют многое извлечь из книг?

Первое достоинство вышедших сборников в том, что они поднимают книгу на должную высоту. Второе же, не менее важное, состоит в том, что они содержат в себе призыв к серьезному, углубленному чтению, и тот, кто пожелает и сумеет, сможет из них извлечь уроки чтения.

Но, разумеется, искусство чтения нужно людям грамотным и обладающим доступом к книге. Чтобы возникла в этом искусстве общественная нужда, надо было, чтобы книга стала народным достоянием. Ее демократизация — величайшая заслуга книгопечатания перед человечеством. Этот процесс можно проследить во многих разделах сборников. Борьба за книгу началась давно. В «Кораблях мысли» о ней повествует поэт XVII века Д. Мильтон в духе парламентских речей, посвященных свободе книгопечатания. Что касается России, то доводы против цензуры были приведены уже в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, в главе «Торжок».

В сборниках, наряду с гимном величию, мудрости и красоте книги, немало страниц посвящено ее участию в борьбе человечества за свое освобождение. В рассказы о книгах врывается

повествование об опасностях, тюрьмах, смертях. В рассказе В. Лидина арестован из-за книги профессор Чекунов. Азиз Несин арестован за статью, которую даже не успел напечатать. Немецкий поэт Эрих Кестнер видит, как фашисты сжигают его книги.

В литературе Западной Европы сложился тип библиофильской новеллы, герой которой чаще всего одержим маниакальной страстью к собиранию книг. В «Кораблях мысли» приведены подобные новеллы Скотта, Нодье, Флобера, Франса, Дюамеля. В книге собирателя волнует шрифт книги, ширина полей ее страниц, ее редкость, цена на аукционе и другие подробности, не имеющие прямого отношения к содержанию. Эти маниакально влюбленные в книгу люди не читают книг. Это болезненное отклонение от библиофилии—библиомания. Для библиомана книга превращена только в предмет собирательства—в вещь. Знаменательно, что в текстах русских писателей тип библиомана почти полностью отсутствует. В России на все формы деятельности в области книги всегда смотрели как на подвижничество.

И все же, оказывается, в книге может заключаться... опасность. Всего четче это сформулировал Артур Конан Дойл. Он взглядел в книгу «нечто жуткое», «мумию души», и у него возникло опасение, что, «погруженные в последние мертвецов, мы никогда не узнаем собственных мыслей и чувств». Книга действительно может заслонить жизнь, лишить непосредственности восприятия.

Как же нейтрализовать эту опасность? Что ей противопоставить? Не может ли она служить поводом, чтобы в той или иной мере ограничить чтение? Ответ на эти вопросы также рассыпан на многих страницах, на них отвечает и сам Конан Дойл, но отчетливей говорит об этом Марсель Пруст.

Смысл его рассуждений таков: роль чтения в нашей жизни сводится к тому, чтобы служить побуждением к самостоятельной работе духа: «Наша мудрость начинается там, где она кончается у автора». Чтение должно быть творческим процессом, тогда оно—волшебный ключ, «открывающий нам в глубине нас самих дверь обитателей, куда мы иначе не сумели бы проникнуть».

Можно продолжать мысль Пруста. Против книжности защищен человек начитанный, способный сравнивать, критиковать, оценивать. К этому надо прибавить: человек активный, совмещающий читательский опыт с опытом жизненной практики. Такое творческое чтение необходимо. Оно не только не заслоняет жизни, но помогает нам понять себя и устремиться к полному раскрытию своей личности.

В этом, пожалуй, и заключается главный урок чтения, который дают нам вышедшие сборники.

ЗОЛОТОЕ ДНО СИБИРИ

«Птенец гнезда Петрова» Федор Иванович Соймонов опубликовал в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих» (1761) статью «Древняя пословица: Сибирь золотое дно».

Он писал о природных богатствах Сибири, о ее людях. Соймонов знал Сибирь не только как администратор — сибирский губернатор с 1757-го по 1764 год, — но и как ученый, продолживший славные дела Камчатской экспедиции, и как бесправный, битый кнутом, лишенный всех чинов и званий каторжник Охотского острога, куда он попал во времена «бириновщины» и откуда освободила его дочь Петра I Елизавета Петровна. Он был человеком, видящим далеко вперед, и подобно другому сибирскому изгоя — А. Н. Радищеву, — понимал, что этому краю предстоит сыграть великую роль в истории России.

С тех пор миновало более 200 лет. Золотое дно Сибири оказалось настолько обильным, что по настоящему еще и не познано и приносит нам все новые и новые открытия. До последнего времени они касались материальных богатств — то обнаружатся нефтяные моря под мерзлой землей приобских равнин, то уникальные запасы меди и высокосортного угля в районе БАМа...

И вот совсем недавно стали известны новые пласты сибирских сокровищ. Можно даже точно указать время их открытия — лето 1965 года, когда экспедиция, организованная Сибирским отделением АН СССР, привезла из отдаленных деревень 38 рукописных и старопечатных книг. За этим следовали новые открытия — коллекция старинных изданий, найденных за Уралом, пополнялась сотнями новых интереснейших образцов, выходящих далеко за пределы местного значения.

Сибирские ученые создали подлинную школу археографов, которая деятельно ведет поиски и изучение рукописной и древнепечатной книги. Эту школу академик Д. С. Лихачев назы-

ваит удивительным явлением в наших гуманитарных науках, объединившим филологов и историков, искусствоведов и музыкантов. «Была открыта огромная крестьянская литература XVIII—XIX вв.—литература, свидетельствующая о неутомимых, горячих и бескомпромиссных поисках народом правды-истины, об отчаянной борьбе крестьянства с самодержавным государством за право думать и верить по своему собственному разумению». Так оценивает эту работу Д. С. Лихачев в предисловии к книге доктора исторических наук Н. Н. Покровского «Путешествие за редкими книгами*», в которой автор, возглавляющий работу сибирских археографов, рассказывает о поисках в Сибири старинных изданий.

От этой книги трудно оторваться не только потому, что автор ее прекрасно владеет словом и рассказывает занимательно о поисках и открытиях, а и потому, что свой рассказ о книгах он сочетает с повествованием о судьбах людей, создавших и хранивших эти книги. Со страниц встают картины жизни замечательных людей — владельцев библиотек в глухих сибирских селениях, переписчиков и авторов книг, ставших раритетами. История жизни крестьянских писателей Мирона Галанина, беглого холопа Максима, книжников Родиона Набатова и Ефрема Сибиряка читаются как увлекательные, полные необыкновенных исканий и приключений повести. А рассказ о создании «Повести дивной», изложенный в последней главе, воспринимается как сжатая до предела, порой концептивно изложенная, трагическая история крестьянских судеб середины прошлого века. Сжатость изложения создает высокий потенциал восприятия у читателя. Чувствуется, что за пределами рассказанного у автора остается огромное количество еще неиспользованного интересного и значительного материала. Это будит мысль читателя, стремление самому включиться в поиски...

Каждый, кто прочитает книгу Н. Н. Покровского, узнает много нового и об истории страны. Неизвестные страницы прошлого, например, раскрывает рассказ о том, как был найден в Сибири рукописный текст «Судного дела» Максима Грека, что было обнаружено в нем, как раскрылись темные места судилища, непонятные ранее. В «Повести дивной» содержатся малоизвестные сведения о борьбе против самодержавия уральских казаков, об их быте и т. п.

Н. Н. Покровский упоминает о своих учениках — молодых новосибирских исследователей истории книги И. А. Гузнер и Л. А. Ситникове, нашедших каталог личной библиотеки первого

* Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. М.: Книга, 1984, 191 с., ил., факс.

русского историка, замечательного ученого В. Н. Татищева. Об этой уникальной находке молодые исследователи поведали в специальных изданиях, мало доступных широкому читателю. А теперь один из них, Л. А. Ситников, издал популярную работу по истории книги в Сибири.

Не будем пересказывать ее содержание, скажем только, что в ней открывается много нового, таившегося под многолетними наслоениями истории. Автор пишет: «Книги и рукописи, архивные документы, воспоминания современников открывают нам имена владельцев книжных сокровищ Сибири — крестьян и мастеровых, купцов и чиновников, инженеров и офицеров... Нет, Сибирь не была глухой провинцией, жившей без книг, без чтения».

Ситников подтверждает эту мысль многими находками, обнаруженными им в Тобольске и Свердловске, в Барнауле и Иркутске, рассказами о владельцах сибирских библиотек, о сокровищах, таившихся в их собраниях. Чувствуется кропотливая вдумчивая работа автора над источниками, умение искать и находить скрытые в архивах и в забытых печатных изданиях следы книжной культуры Сибири и Урала. Жаль, что книга Л. Ситникова издана таким малым тиражом — всего 2500 экз.!

Мы можем теперь с большим основанием говорить не только о материальных богатствах, которые таит Сибирь, но и о богатствах духовных, которые на протяжении прошедших веков накапливались в ней, оказывали влияние на формирование общественных взглядов, на хозяйственную деятельность жителей зауральских краев России...

Наряду со специальной литературой по истории книги в Сибири, которой в последние годы появилось уже немало, теперь все больше будет выходить научно-популярных изданий, раскрывающих для широкого читателя книжные богатства Зауралья. Достаточно проникнуть зорким глазом знатока-библиофила в хранилища библиотек Тобольска и Томска, Омска и Барнаула, Иркутска и Бийска, Дальнего Востока и Забайкалья, чтобы обнаружить подтверждение истины, которая прозвучала 200 лет назад в статье Ф. И. Соймонова: Сибирь — золотое дно!..

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Авдеев М. В. 258
 Айвазовский И. К. 96
 Айтматов Ч. Т. 103
 Акимов Н. П. 103
 Аксаков И. С. 85, 89, 96
 Актон П. Я. 290
 Алексеев В. П. 54, 55
 Алексей, архиепископ 122
 Алеман М. 36
 Алпимов С. А. 152, 154
 Алпатов М. В. 113, 112, 124
 Аль-Аккад А. М. 297
 Альд П. М. 311
 Альтамира Р. 37
 Альфонсо Мудрый, исп. король 32, 36
 Амчиславский Б. С. 41
 Андреев Л. Н. 102, 259, 287
 Андреева М. Ф. 103
 Андроников И. Л. 95, 96, 97
 Аникст М. А. 151, 154
 Аничков А. И. 294
 Антонова В. И. 124
 Аполлинер Г. 152
 Апухтин А. Н. 184
 Арагон Л. 67
 Аркас С. 31
 Арон А. 133
 Аргемьев А. Р. 216
 Арсенбуча Х. Э. 34
 Арсеньев В. К. 10
 Архипов Е. Я. 49
 Архипов Е. Я. 108
 Асеведо И. 35, 39
 Асеев Н. Н. 52, 56, 142
 Ассиэский Франциск 114
 Афанасьев А. Н. 136, 221
 Афиногенов А. Н. 106
 Ахмадулина Б. А. 52, 56, 141
 Ахматова А. А. 52, 55, 56, 188
 Бабаянц И. 139, 141
 Багашев И. В. 10
 Багров Л. С. 236
 Байрон Д. Н. Г. 64
 Бальзак О. де 61
 Бальмонт К. Д. 78, 97, 108, 188, 277
 Баранов А. Н. 13
 Баранович Л. 259, 264
 Баратынский Е. А. 96
 Бароха П. 36
 Барто А. 41
 Бархин С. М. 152, 153
 Васкаков В. Н. 49, 293, 294, 295
 Васыров Г. Ф. 145, 152
 Ваглер У. Э. 68—70, 72, 73—55, 77, 78
 Батуев А. П. 13
 Бахрушин А. А. 294
 Беликов И. Г. 7
 Бельский М. Р. 45
 Бельгй А. 97, 188, 190, 247
 Белокин А. И. 152
 Беляев И. С. 262
 Беме Я. 235, 236, 259, 264
 Бегуа А. Н. 63, 64, 102, 103, 144, 145
 Бергамин Х. 31
 Бердяев Н. А. 253, 255, 257, 264
 Берков П. Н. 47, 50, 289
 Бернштейн Г. М. 152
 Берьенда П. 259
 Бетховен Л. ван 204
 Биндер Л. 131, 133
 Бирман С. Г. 103
 Бисти А. Д. 146, 152
 Бисти Д. С. 128, 148
 Бисти Н. Д. 152
 Благой Д. Д. 107
 Блейк У. 240
 Блинов М. 25, 29
 Блок А. А. 96, 100, 103, 108, 140, 188,
 190, 205, 251, 254, 294

- Блок Ж.-Р. 62
 Блокмэн Л. 265, 266
 Блюм А. В. 296
 Богатырев М. Ф. 177
 Боголюбов М. Н. 48
 Богомоллов С. И. 50
 Богослов Григорий 123
 Бодянский О. М. 263
 Бомбова В. 127
 Боткина-Враская Н. С. 294
 Боттичелли С. 203
 Брейгель П. ст. 203
 Бреслер В. М. 50
 Бруновский А. 127, 128
 Брусилло А. А. 19
 Брюсов В. Я. 108, 196, 251
 Букина Л. В. 52, 213
 Булгаков М. А. 150
 Булгарин Ф. В. 259
 Буслев Ф. И. 90, 262, 263
 Буэнавентура К. А. 34
 Балза С. И. 296
- Василенко В. М. 139
 Васильев В. В. 152
 Васин К. К. 166, 168, 170, 184, 209
 Васин К. Н. 166
 Вахтангов Е. Б. 97, 101
 Вега Лопе де 32, 36
 Веласкес Р. де Сильва 37
 Вельтман А. Ф. 230, 235, 247
 Венецианов А. Г. 96
 Верейский О. Г. 128
 Верхоланцев М. М. 136, 138, 140
 Веселовский Н. И. 221
 Винокуров Е. М. 52, 56
 Винчи Леонардо да 136
 Виолле-ле Дюк Э. Э. 285
 Вишневский Вс. В. 65, 67
 Вознесенский А. А. 142
 Волкова Н. Б. 65, 98—100, 103, 106,
 107, 109
 Волконская З. А. 96
 Волошин М. А. 97, 107, 108
 Воробьева Е. Н. 108
 Востоков А. Х. 263
 Врубель М. А. 136
 Вяземский П. А. 107
- Габриак Ч. де (Дмитриева-Васильева
 Е.) 107, 108
 Гаксот П. 63
 Галчинский К. 54
 Гальдос Б. П. 36
- Гамзатов Р. Г. 103
 Гамсун К. 171
 Гаршин В. М. 294
 Гегель Г. В. Ф. 257, 264
 Герра А. 34
 Герцен А. И. 7, 9, 10, 12, 81, 83, 84, 87,
 89, 96, 197
 Гершензон М. О. 82, 83, 86, 88
 Гёте И. В. 179, 226, 234, 237, 264
 Глинна М. И. 184, 203
 Глиэр Р. М. 97
 Гложник В. 127
 Гоголь Н. В. 67, 96, 150, 214, 216, 218,
 219, 221, 226, 229, 250, 255, 259,
 261
 Гойя Ф. 37
 Голлербах Э. Ф. 108
 Гольцев В. В. 209
 Голятовский И. 259
 Гончаров А. Д. 148
 Гончаров Д. Н. 107
 Гончаров И. А. 52, 171, 221, 259, 294
 Гончарова А. Н. 107
 Гончарова Е. Н. 107
 Гончарова Н. Н. 107
 Горбачевский И. И. 9
 Горбунов И. Ф. 223
 Горский А. В. 263
 Горфункель А. Х. 289
 Горький А. М. 12, 13, 24, 97, 100, 103,
 143, 225, 294, 296, 297
 Горяев В. Н. 128
 Гофман Э. Т. А. 226, 237
 Гранстрем Е. Н. 124
 Грассе Б. 62
 Грек Максим 301
 Греч Н. И. 259, 261, 262
 Григорьев И. К. 48
 Грин А. С. 12, 13
 Гринченко Н. А. 50
 Грузов М. А. 44
 Грунский Н. К. 262
 Гузнер И. А. 301
 Гутенберг И. 285
 Гюго В. 61, 171
- Давыдов И. А. 257
 Даль В. И. 232
 Данте А. 92, 135
 Даргомьжский А. С. 184
 Дашкова Е. Р. 59
 Декарт Р. 264
 Делакруа Э. 205
 Дементьев М. А. 107
 Державин Г. Р. 171

- Дехтерев Б. А. 128
 Джамиль М. 57
 Джерманетто Д. 39
 Джонс В. 227
 Диделите Г. 77
 Дизраэли А. 64, 65
 Диккенс Ч. 228
 Добролюбов Н. А. 50, 89
 Добужинский М. В. 77, 102
 Довженко А. П. 106
 Домнич И. Н. 26
 Достоевский Ф. М. 84, 96, 99, 100, 150,
 171, 214, 220, 221, 232, 238, 240,
 242, 245, 247, 256, 259, 261, 263,
 264, 290, 294
 Драч И. 54
 Дружинин А. В. 258, 259, 264
 Ду Фу 55
 Дуран А. 34
 Дурылин С. Н. 103
 Дьяконов Л. В. 191, 209
 Дьяконова (Заболотская) Л. А. 161—
 164, 170, 173, 174, 176, 186, 189
 Дэспинетт Ж. 130, 132
 Дюамель Ж. 299
 Дюдин И. Я. 43
 Дюма А., отец 63
 Дюрер А. 77
- Евреинов Н. Н. 102
 Евтушенко Е. А. 56
 Егоров Б. Ф. 50
 Егоров Е. Ф. 169
 Ежова Е. А. 224
 Ермаков Е. В. 21, 24
 Ермолаев А. И. 263
 Ермолова М. Н. 226
 Есенин С. А. 52, 96, 190, 196, 205
 Есенский Я. 52
 Ефремов П. А. 294
- Жадова Л. А. 102
 Жаров А. А. 54
 Железнов П. И. 143
 Жигулин А. В. 41
 Жирмунский В. М. 295
 Жуков Г. К. 103
 Жуков М. Г. 151
 Жуков П. Ф. 290
 Жуковский А. С. 109
 Жуковский В. А. 9, 294
 Жуковский Д. Е. 253, 255
- Забелин И. Е. 222, 224, 226
 Заболотская А. И. 160
 Заболотская В. А. 163
 Заболотская Е. А. 174
 Заболотская М. А. 163
 Заболотская Н. А. 174, 185, 186, 209
 Заболотский Ал. Аг. 160—167, 170,
 173, 174, 179, 180, 184, 186—188,
 193, 199, 200, 203
 Заболотский Ал.-сей Ал. 163, 166, 170,
 174, 186, 199, 209
 Заболотский Ал.-др А. 174
 Заболотский А. Я. 159, 160
 Заболоцкая (Клыкova) Е. В. 192, 206,
 209
 Заболоцкий Н. А. 159, 160, 162—184,
 185, 188, 189—209
 Заболоцкий Н. Н. 159
 Завадский Ю. А. 99, 103
 Загребельный П. А. 140
 Замятин Е. И. 214, 223
 Заруцкий И. М. 251
 Захаров А. С. 43
 Зилоти А. И. 103
 Зильберштейн И. С. 102
 Зоценко М. М. 150
 Зуев А. С. 138
- Ибаррури Д. 103
 Иваненко О. Д. 64
 Иванов Вяч. И. 223
 Иванов И. А. 216, 219
 Ивахненко А. И. 129, 133
 Иващенко М. П. 49
 Игнатъев А. А. 99
 Измайлов Н. В. 294
 Ильин И. А. 257, 264
 Ильменёва О. А. 249
 Иноземцев Ю. М. 41, 42, 49
 Иноходцев П. Б. 289
 Инноченти Р. 131, 132
- Кабалеvский Д. В. 102
 Каверин В. А. 41
 Казакова Н. А. 116, 123, 124
 Казакова Р. Ф. 56
 Казанович Е. П. 294
 Калайдович К. Ф. 263
 Калашников А. И. 74, 77, 78
 Каланина А. М. 139
 Калининский Г. 128, 133
 Каллай Д. 127, 130
 Кант И. 264
 Карамзин Н. М. 171, 269

- Каржавин Ф. В. 290
 Каринский Н. М. 262
 Карл VI, король Франции 62
 Карлейль Т. 297
 Кармен Р. 103
 Карский Е. Ф. 262
 Кассирский И. 66, 67
 Кастро А. де 34
 Касьянов М. И. 181—183, 188—190,
 192—198, 209
 Катков М. Н. 196, 222
 Кафка Ф. 150
 Квятка-Основьяненко Г. Ф. 229, 247
 Кельберг П. А. 10
 Кельин В. 39
 Кельин Ф. В. 31
 Ким А. А. 145, 152
 Киквидзе В. 26
 Кириллов Н. В. 10
 Киркевич В. Г. 44
 Киров С. М. 176
 Кирсанов С. И. 142
 Клеман Ф. 128, 131, 132
 Клибанов А. И. 116, 123
 Климент, архиепископ 120
 Ключевский В. О. 15, 225
 Клячко М. П. 148, 152
 Кнебель Н. Н. 45
 Книппер-Чехова О. Л. 103
 Коган Е. И. 147
 Коваленков С. А. 154
 Кодрянская Н. В. 213
 Козинцев Г. М. 103
 Козлов И. И. 259
 Козлов П. К. 9
 Колесников И. Ф. 262
 Коломыйченко М. И. 44
 Кольцов А. В. 96, 171, 172
 Кольцов М. Е. 31, 38
 Кокосов В. Я. 10
 Конаков А. Ф. 169
 Конан Дойл А. 76, 77, 299
 Коноплев А. Б. 151
 Копинский И. 259, 264
 Копыстинский З. 259
 Корнеев А. В. 81
 Коровин К. А. 103
 Короленко В. Г. 12, 13, 96, 261, 298
 Коссио Х. М. 36
 Костин А. Л. 147, 152—154
 Костюшко Т. 264
 Котляревский Н. А. 294
 Коц Е. С. 66
 Коше Ж. 63
 Краевский А. А. 90
 Крамской И. Н. 96
 Красиньский З. 251, 263
 Красицкий И. 259, 264
 Кривошлыков М. В. 22
 Крузенштерн Ю. 63
 Крупская Н. К. 37
 Кудрявцев П. П. 49
 Кузнецов А. М. 293
 Кузнецова М. А. 137
 Кузнецова Н. Г. 125
 Кузмин М. А. 221
 Кузьмин Н. В. 148
 Кунин В. В. 47, 289, 296
 Купченко В. П. 49
 Кустодиев Б. М. 223
 Кьеркегор С. 264
 Кырли И. 169
 Кэрролл Л. 130
 Лабазин А. Ф. 259
 Лабынцев Ю. А. 108
 Лаврентьев Н. С. 141—143
 Лавров П. А. 262
 Лазарев В. Н. 124
 Ларионов Ф. Л. 177, 178, 183
 Ласунский О. Г. 40, 47, 48
 Лафунте М. 37
 Левицкая Е. С. 190, 194, 197
 Лейбниц Г. В. 264
 Ленин В. И. 24, 29, 98, 108, 201, 292
 Леонов Л. М. 214, 221
 Леонтьев К. Н. 216
 Леонтьев-Щеглов И. Л. 294
 Лермонтов М. Ю. 81, 82, 85, 89—91,
 96, 171, 245, 248, 263
 Лесков Н. С. 79, 96, 97, 214, 233, 242,
 244, 246, 247, 255, 256, 259, 294
 Лессинг Г. Э. 264
 Лещинская Г. И. 65
 Лисков А. 235
 Ли Бо 55
 Лидин В. Г. 8, 41, 299
 Лиханов А. А. 7
 Лихачев Д. С. 300, 301
 Лихачев Н. П. 262
 Лобачевский Н. И. 256
 Ломоносов М. В. 289
 Лохманова М. Ф. 140, 141
 Лукницкий П. Н. 108
 Лукомский Г. К. 223
 Лурье Ф. М. 50
 Луцкий С. З. 41, 42
 Ляско К. И. 95
 Маврина Т. А. 152
 Маврос Д. Н. 77

- Маерник Я. 52, 53
Майков А. Н. 294
Майков В. В. 262
Макаревич И. Г. 152, 154
Макаренко А. С. 96
Мальшев В. И. 295
Мандельштам А. В. 22
Мануйлов В. А. 90
Манукян В. В. 42, 45
Маретин Ю. В. 49
Марленгоф А. Б. 196
Маркевич А. Б. 152
Маркевич Б. А. 148
Маркушевич А. И. 47, 50
Маркс К. 292
Марли К. 296
Марлинский А. А. 226, 227, 235, 251, 259, 263
Масанов И. Ф. 15
Масленникова З. А. 203, 209
Матисс А. 110
Матышев А. А. 49
Махонин Ф. Ф. 43
Мачадо А. 31
Маяковский В. В. 96, 98, 100, 143, 184, 188—190, 196, 205
Медведев В. В. 149
Мейерхольд В. Э. 98, 103, 108, 196
Мельников-Печерский П. И. 221, 223, 259
Мельшин-Якубович П. Ф. 251, 263
Мережковский Д. С. 221, 254
Мизина Л. С. 103
Миклода А. 77
Милотин И. К. 170, 184
Мильтон Дж. 298
Митрохин Д. И. 147
Митурич-Хлебников М. П. 128, 151, 152
Михайлов О. Н. 213, 214
Михайлова А. А. 64
Михайловский Н. К. 248, 250
Михалков С. В. 56, 102
Михозлс С. М. 103
Мицкевич А. 258
Мнева Н. Е. 124
Мнухин Л. А. 50
Могила П. 259
Модзалевский Б. Л. 293, 295
Мозжухин И. И. 176
Молок Ю. А. 144
Молчанов А. М. 225
Молчанов Н. М. 225, 226
Монин Е. Г. 151
Монтень М. де 298
Моруа А. 61—67
Моруа Ж. 65—67
Моруа М. 67
Моруа О. 67
Моцарт В. А. 204
Муане Ж.-П. 63
Мурильо Б. Э. 37
Мусоргский М. П. 223
Мухин Д. С. 139, 141
Мухина В. И. 45
Мыльников А. С. 50
Мямлин И. Г. 45
Мячина М. Д. 183
Надеждин Н. И. 263
Найденев В. А. 227, 228
Найденев Н. А. 224
Напшельбаум Л. М. 296
Нарежный В. Т. 235, 259
Наркирьер Ф. С. 65
Наровчатов С. С. 41
Нарушевич А. 259, 264
Нелюбина Э. Н. 43
Немировский Е. Л. 50
Некрасов А. И. 121, 124
Некрасов Н. А. 12, 78, 96, 171, 172, 219, 226
Немцевич Ю. У. 259, 264
Несмелов В. И. 264
Нестеров М. В. 103
Нечаев В. П. 108
Никитенко А. В. 83, 84, 87, 90
Никитин И. С. 171, 172
Николаев Н. И. 289, 291
Николаева Г. Е. 99
Николай I 81—83
Ницше Ф. 264
Новалис Ф. 231, 235, 237
Новиков Н. И. 223, 259
Нодье Ш. 299
Норвид Ц. К. 251, 263
Носедаль К. 34
Ноттафт Ф. Ф. 49
Ободовская И. М. 107
Обручев В. А. 9
Оводов А. П. 244, 249, 251
Огарев Н. П. 87
Одоевский В. Ф. 90, 231, 235, 259
Озеров Л. А. 41
Окас Э. 77
Олейник Б. И. 54
Оленин А. Н. 263
Олеша Ю. К. 150
Ольденбург С. Ф. 295

- Онегин А. Ф. 292, 294
 Орлов В. Н. 103
 Осетров Е. И. 41, 47, 78
 Островский А. Н. 294
 Островский Н. А. 106
 Остроухов И. С. 96
 Осьмеркин А. А. 103
 Охлопков Н. П. 99
 Охотин Н. Г. 107
- Павлишин Г. Д. 133
 Палкин К. И. 15
 Палкин М. И. 13
 Панов М. Ю. 46
 Панова В. Ф. 99
 Пархоменко А. Я. 27
 Паскаль Б. 236, 261, 264
 Пастернак Б. Л. 103, 157, 203
 Паустовский К. Г. 99, 103, 214
 Пашенная В. Н. 108
 Перевезенцев Ю. Ю. 150
 Першин С. А. 45
 Пестель П. И. 82
 Петрицкий В. А. 47, 48, 289
 Петров В. А. 47
 Петров Олекса 120
 Петров-Водкин К. С. 144
 Петряев Е. И. 7—16, 47
 Петрянов-Соколов И. В. 48
 Печерин В. С. 81—91
 Пивоваров В. А. 290
 Пивоваров В. Д. 128
 Пидаль Р. М. 36
 Пиксанов Н. К. 50
 Писемский А. Ф. 233, 243, 245, 247, 259
 Пискарёв Н. И. 144
 Пифагор 257
 Платов М. И. 173
 Плетнев П. А. 294
 Плотин 257
 По Э. 292
 Погодин М. П. 85, 88, 222, 226, 259, 263
 Погорельский А. А. 231, 235, 259
 Подтелков Ф. Г. 18, 22
 Пожарский Д. М. 260
 Пожарский С. М. 65, 148, 154
 Покровский Н. Н. 301
 Полевой Н. А. 259
 Поленов В. Д. 97, 103
 Полозкова С. А. 50
 Полонский Я. П. 294
 Польнер Е. А. 183
- Поляков М. И. 46, 151
 Поплавский Г. Г. 133
 Попов А. Д. 106
 Попов Н. Е. 128, 154
 Попов Н. Н. 175
 Попов Н. П. 114, 116, 123
 Постяников Н. М. 123, 124
 Потанин Г. Н. 9
 Потебня А. А. 235
 Прохатица М. 128
 Пржевальский Н. М. 9
 Припвин М. М. 103, 104, 214, 219, 223
 Припвина В. Д. 103, 104
 Пройслер О. 133
 Прокофьев С. С. 102, 106, 204
 Пруст М. 299
 Пушкин А. С. 12, 42, 52, 95, 99, 107, 109, 135, 136, 171, 231, 259, 289, 293, 295
 Пыпин А. Н. 263
- Равель М. 204
 Радищев А. Н. 298, 300
 Радлов Э. Л. 108
 Раевский С. А. 90
 Разумов В. А. 45
 Распутин В. Г. 152
 Рац М. В. 47, 50
 Рембрандт Х. ван Рейн 77
 Ремезов С. У. 229, 235, 236
 Ремизов А. М. 108, 213, 215, 218, 236, 238, 257
 Ремизова-Довгелло С. П. 214, 218, 238, 262
 Репин И. Е. 102
 Рерберг И. Ф. 147
 Рерих Н. К. 203
 Риваденейра А. 33
 Риваденейра М. 33, 34, 36
 Родченко А. М. 147
 Родченко В. А. 141, 142
 Рожков Н. А. 257, 264
 Розанов В. В. 219, 247, 254
 Розанов И. Н. 47
 Розанов С. П. 123
 Розов Н. Н. 117, 124
 Ролл Д. 125—127, 134
 Ромм М. И. 102, 106
 Росас В. 31
 Роселл К. 34
 Роцигна-Иясарова Е. Н. 108, 109
 Рубенс П. П. 77
 Рудомяно М. И. 30, 35
 Ружевич Т. 54

- Руфина Н. А. 179, 190, 194, 197
 Рыбаков Б. А. 113, 123
 Рыбкин Р. Л. 366
 Рычков А. В. 107
 Рязановский И. А. 222, 223
- Сабашников М. В. 45
 Сабашников С. В. 45
 Саллиас (Салиас) Е. А. 240
 Салтыков-Щедрин М. Е. 12, 13, 96, 124, 247
 Санд Ж. 61, 64
 Саркизов-Сарадини И. М. 49
 Саррот Н. 296
 Сбоев Н. Г. 189, 198, 209
 Световидов С. Н. 216
 Свифт Дж. 133, 226
 Северянин И. В. 188
 Севинье М. де 61
 Седельников А. Д. 114, 116, 123
 Селещук Н. М. 77
 Семанов С. Н. 17
 Сенковский О. И. 251, 257, 259, 290
 Сен-Мартен Л. К. 259
 Серапилова Ж. К. 50
 Серафимович А. С. 106
 Сервантес Сааведра М. де 32, 36
 Серебряков А. Ф. 134
 Сведеборг (Сведенборг) Э. 259
 Сибгатуллин И. 209
 Сидорин Я. С. 45
 Сидоров А. А. 47
 Сикорский Н. М. 50
 Симонов К. М. 97, 102
 Сятников Л. А. 301, 302
 Скала И. 54
 Скорина Ф. 50
 Слуцкий Б. А. 52, 56
 Смирдин А. Ф. 259
 Смирнов С. С. 102
 Смирнов-Сокольский Н. П. 47
 Смоленский Авраамий 114, 122, 123
 Собинов Л. В. 106
 Соболевский А. И. 262, 263
 Соймонов Ф. И. 300, 302
 Скотт В. 299
 Соколов-Скала П. П. 102
 Солнцев Ф. Г. 263
 Соловьев Вл. 264
 Соловьев П. Н. 240
 Сологуб Ф. К. 188, 254, 258, 294
 Сомов К. А. 64, 67
 Сомов О. М. 230
 Спасская Е. Н. 193
 Спасский В. П. 178
- Спектор И. Н. 61, 67
 Спиноза Б. 264
 Спиринова В. А. 135
 Среаневский И. И. 263
 Стасов В. В. 124
 Стоун Р. 77
 Стравинский Ф. И. 294
 Страхов Н. Н. 222, 290
 Строев П. М. 226, 263
 Суворин А. С. 96
 Суворов А. В. 140
 Суворова К. Н. 108
 Судейкин С. Ю. 97
 Суково-Кобылин А. В. 96
 Сысоев В. П. 133
 Сычугов С. И. 13
 Сюффель Ж. 63
 Сяо Эми 39
- Танский М. В. 10
 Татищев В. Н. 123, 301
 Твардовский А. Т. 52, 56, 98, 99, 102, 142
 Тедер Э. К. 50
 Теккерей У. 152, 154
 Телешов Н. Д. 103
 Теллингтер С. Б. 147
 Тик Л. 235, 237
 Тихоновравов Н. С. 263
 Тишков Л. А. 150, 152
 Товстоногов Г. А. 103
 Токмаков Л. А. 133
 Толстая Т. В. 151, 152
 Толстой А. К. 171, 184, 249
 Толстой А. Н. 98
 Толстой Л. Н. 67, 147, 152—154, 171, 216, 221, 238, 244, 256, 259, 263, 290
 Толстяков Г. А. 265
 Томас Т. Н. 36
 Траквилион-Ставровецкий К. 259
 Третьяков С. М. 96
 Третьяков П. М. 96
 Троянкер А. Т. 151, 154
 Тункин Г. 73
 Тургенев И. С. 12, 67, 171, 219, 221, 233, 259, 263
 Тэнниэл Дж. 130
 Тютчев Ф. И. 96, 171
- Уваров С. С. 84, 88
 Узин В. С. 33
 Унамуно М. де 298
 Упятис П. 77

- Урнов М. В. 39
 Успенский Г. И. 251
 Утков В. Г. 300
 Уэллс Г. 296
 Уэргейн С. 76
- Фаворский В. А. 144, 145, 146, 147
 Фадеев А. А. 41
 Фалес 257
 Фальк Р. Р. 103
 Федин К. А. 213, 214
 Федоров Иван, первопечатник 45, 108, 222
 Федорова Г. А. 135
 Федотова Г. Н. 226
 Федосов Яков, резчик 115, 116
 Фейхтвангер Л. 66
 Фет А. А. 171, 251
 Филонов П. М. 203
 Финк В. Г. 39, 65, 66, 67
 Фихте И. Г. 264
 Фишер К. 255, 264
 Флеминг А. 61
 Флобер Г. 299
 Фомына И. И. 147
 Франс А. 299
 Фролов В. А. 77
 Фролов П. К. 124
- Халс (Гальс) Ф. 285
 Хант Ли 297, 298
 Хаожань Мэн 55
 Хармс Д. 203
 Хемингуэй Э. 103, 296
 Хесус Т. де 36
 Хикмет Н. 298
 Холодная В. В. 176
 Хомяков А. С. 222, 226
 Хопкинс Дж. 73
- Цветаева М. И. 50, 52, 57, 98, 103, 104
 Цзяоин Бо 55
 Циолковский К. Э. 13, 15, 16
 Ципар М. 127
 Цуприк Р. И. 49
 Цявловский М. А. 97
- Чаадаев П. Я. 82
 Чайковский П. И. 184, 203, 246
 Чаковский А. Б. 102
 Чапек К. 150, 152, 296
 Черкесов Ю. Ю. 63
- Черников А. Я. 72
 Чернышевский Н. Г. 10, 16, 96
 Чехов А. П. 67, 96, 97, 99, 103, 106, 178, 238, 239
 Чехов М. А. 102
 Чехов С. М. 103
 Чехонин С. В. 223
 Чижов Ф. В. 88
 Чулков Г. И. 255
 Чяпаускас А. 77
- Шабдар 164, 169
 Шалапин Ф. И. 97, 10, 103, 170, 171
 Шалапина М. В. 170
 Шандивер О. де 62
 Шафиров П. П. 73
 Шахматов А. А. 263
 Шевченко Т. Г. 129, 133, 258, 261
 Шевырев С. П. 88, 89, 226, 263
 Шекспир У. 138, 140, 171, 261, 264
 Шелли П. Б. 64
 Шеллинг Ф. В. 264
 Шершеневич В. Г. 196
 Шестов Л. И. 253, 257, 264
 Шиллер Ф. 152, 153, 264
 Шимкевич Ж. 62
 Шкловский В. В. 41, 102
 Шляпкин Ил. А. 261, 262
 Шмаков А. А. 49
 Шолохов М. А. 17, 18, 23, 24, 29
 Шорин В. И. 27, 29
 Шостакович Д. Д. 27, 204
 Штыллинг И. Ф. 259
 Шукшин В. М. 103
 Шулгына Л. М. 152
 Шульц Ю. Ф. 50
- Шаденко Е. А. 22, 29
 Шеголев П. Е. 50
 Шеколдин Ф. И. 249, 250
 Шелкунов М. И. 285
 Щепкина М. В. 116, 124
- Эдуард VII 65
 Эйдинг Л. З. 54, 55, 149
 Эйзенштейн С. М. 98, 106
 Элухен К. В. 170, 171
 Эль Греко Д. 37
 Эльвова В. А. 296
 Энгельс Ф. 292
 Эссина Х. дель 36
 Эренбург И. Г. 31, 38, 39, 97, 102
 Эрзог Э. 62

Эркес Н. 62
Эрнандес Х. 31
Эттингер П. Д. 145
Эфрон А. С. 98, 103, 104

Юаньми Тао 55
Южин (Сумбатов) А. И. 226

Юргенсон П. И. 96

Ягич В. 263
Языков Д. И. 290
Яковлев Ю. П. 49
Яналов А. М. 164

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИКОВ (р. 1911)

Член Союза журналистов СССР. Генерал-майор в отставке. Председатель клуба книголюбов ЦДСА им. М. В. Фрунзе.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМАНОВ (р. 1934)

Историк. Писатель. Автор биографий «Макаров» (1972) и «Брусиллов» (1980), выпущенных в серии «ЖЗЛ»; монографии «Ликвидация антисоветского кронштадтского мятежа 1921 года» (1973), сборника литературно-критических статей и очерков «Сердце Родины» (1977), исследования «„Тихий Дон“ — литература и история» (1977; 1982) и др.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА РУДОМИНО

Заслуженный работник культуры РСФСР. Основатель и директор Всесоюзной Государственной библиотеки иностранной литературы с 1921 по 1973 г. Почетный вице-президент Международной федерации библиотечных ассоциаций. Занимается изучением зарубежной литературы и библиографии.

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛАСУНСКИЙ (р. 1936)

Писатель. Книговед. Автор работ, посвященных теории и практике библиофильства.

ЯН МАЕРНИК (р. 1936)

Словацкий писатель. Поэт. Переводчик. Автор книг стихов «Миг взросления», «Это случилось», «Откуда» и др.

ИОСИФ НАУМОВИЧ СПЕКТОР (р. 1946)

Ленинградский библиофил. Активный член Общества любителей книги.

УИЛЬЯМ ЭЛЛИОТ БАТЛЕР (р. 1939)

Профессор Лондонского университета. Ответственный секретарь английского Общества экслибрисистов. Редактор журнала о книжном знаке «Буклейт джорнел». Автор книг и статей о современной книжной графике и экслибрисе.

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЧЕРНИХОВ (р. 1939)

Кандидат химических наук. Ученый секретарь секции книжной графики и экслибриса при Центральном правлении Всесоюзного общества любителей книги.

АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ КОРНЕЕВ (р. 1946)

Литературовед. Автор работ по истории русской литературы XIX века.

КИМ ИЗРАИЛЕВИЧ ЛЯСКО (р. 1928)

Журналист. Автор многих статей в периодической печати на различные темы.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РЫБАКОВ (р. 1908)

Археолог. Историк. Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Автор трудов по археологии, истории, культуре славян и Древней Руси.

НЕЛЛИ ГЕОРГИЕВНА КУЗНЕЦОВА

Журналист. Автор статей и очерков по литературе и искусству, в частности по искусству книжной графики.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА СПИРЯНОВА

Искусствовед. Занимается исследованием современного советского искусства.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЛОК (р. 1929)

Кандидат искусствоведения. Автор изданий «Владимир Михайлович Конашевич», «Книга о Владимире Фаворском» и работ по теории и истории русской графики.

НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (р. 1932)

Кандидат биологических наук. Автор статей, посвященных жизни и творчеству поэта Николая Заболоцкого.

SUMMARIES

I. G. BELIKOV
People, Manuscripts, Books

An account of life and work of E. Petrayev, a soviet bibliophile and writer from Kirov.

SERGEI SEMANOV
Fidelity to Facts in "And Quiet Flows the Don"

Checking historic facts as described in M. Sholokhov's "And Quiet Flows the Don" against genuine historic records, Sergei Simanov, the Russian Civil War historian describes the novel as an accurate historic chronicle.

MARGARITA RUDOMINO
A Gift from the Spanish People

The founder of the All-Union State Library of Foreign Literature, Honoured Vice-President of the International Federation of Library Associations presents a collection of Spanish books that the Republic of Spain donated to the Soviet Union in 1938. The article reviews the most valuable items of the collection and explores their historic background.

OLEG LASUNSKY
Re-reading the Catalogues

A prominent bibliophile reviews book catalogues issued by some bibliophile clubs and outlines the history of the bibliophile movement in this country.

JÁN MAJERNIK
"When a Poet Translates..."

The popular Slovak poet is known as a translator of poetry by A. Akhmatova, M. Tsvetayeva, Y. Yevtushenko and many other Russian poets. In his interview he discusses the books that shaped both his personality and his writing.

V. PETROV
Bibliophiles' Debates

A Leningrad bibliophile reports on the current problems of the bibliophile movement's theory and history discussed at a conference held in Leningrad in October 1985.

I. SPEKTOR
André Maurois in My Library

A bibliophile from Leningrad presents his collection of the popular French writer's works and portrays Maurois as a book-collector and book-lover.

WILLIAM BUTLER**Some Points on the Future of the Exlibrist Societies**

The article features the International Association of Exlibrist Societies. Mr. Butler, an expert in modern book design dwells upon some practical aspects of its activity.

ALEXEI CHERNIKOV**William Elliot Butler and the British Exlibrist Society**

The author recalls his meeting with W. Butler, portrays his life and work and surveys the links between exlibrists in Great Britain and the Soviet Union.

A. KORNEYEV**Pechorian and Pecherin**

A biographic sketch of V. S. Pecherin, a young scientist, poet and professor of Moscow University—and a presumed prototype of the main character in M. Lermontov's novel "A Hero of Our Time".

KIM LYASKO**Depository of the Antiques**

In his interview, N. B. Volkova, Director of the Central State Archives of Literature and Arts traces the Archives' history and describes the way their stock is looked after and enriched. Theoretic and educational activities of the Archives are also discussed.

BORIS RYBAKOV**The Art of the Strigolniks**

Academician B. A. Rybakov (Academy of Sciences of the USSR) explores the sources and character of the art of the Strigolniks, Novgorod and Pskov heretics who opposed Christian Orthodox ritualism. Their literature, epigraphy and art enjoyed popularity in late fourteenth century Russia and contributed greatly to the development of humanistic ideas.

NELLI KUZNETSOVA**A Fairy Tale Seen With Our Own Eyes**

A journalist and book design critic reviews an exhibition of book illustrations held in Bratislava (Czechoslovakia) in 1985, paying special attention to most remarkable illustrations made by artists from the USSR, the Federal Republic of Germany, Czechoslovakia and other countries.

VALENTINA SPIRYANOVA**Artist and Literature**

A review of the exhibition of Moscow book illustrations held in the fall of 1985 in Podolsk near Moscow. "Artist and Literature" was the motto of the exhibition.

YURI MOLOK**Bibliophiles and Books Today**

The article discusses the interaction of bibliophiles and book designers today. It also gives a brief historic account of book and book illustration exhibitions.

NIKITA ZABOLOTSKY**"The Primal Disposition of His Soul..."**

The son of the acclaimed Russian Soviet poet in his reminiscences sheds new light on his father's life and poetry.

ALEXEI REMIZOV
A Blue Flower

These autobiographic notes from A. Remizov's book "With Closely Cropped Eyes" recreate the images of the writer's childhood, his personal discovery of the world of fairy tales, books, letters. The publication is supplemented with excerpts from the memoirs of S. P. Remizova-Dovgello, the writer's wife, and a commentary providing the necessary background for readers of this unconventional Russian writer who often resorted to lexical and syntactical archaization of the language in his prose.

LAWRENCE BLOCKMAN
The Death in the Castle

We present the first Russian translation of a story by L. Blockman, President of the American Association of Detective Story Writers. The story describes an investigation of a crime triggered off by bibliomania.

ANATOLI KUZNETSOV
Treasures of the Pushkin's House Library

The article examines some rare editions belonging to the Institute of Russian Literature and Arts (Academy of Sciences of the USSR).

L. NAPPELBAUM
Lessons of Reading

Borrowing material from Russian and world literature, the author views reading not merely as a personality-shaping process but also as a key to self-awareness.

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА И ЖИЗНЬ

Живая память	
<i>И. Беликов.</i> Люди, рукописи, книги	7
<i>Сергей Семанов.</i> Жизненная реальность в «Тихом Доне»	17
<i>М. Рудомино.</i> Дар испанского народа	30
<i>Олег Ласунский.</i> Перечитывая каталоги	40
<i>В. Петров.</i> Библиофилы спорят. 2-я научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и истории библиофильства». Ленинград, октябрь 1985	47
<i>Ян Маерник.</i> «Когда поэт переводит...» <i>Беседу вела Людмила Букина</i>	52

БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОФИЛЫ

<i>И. Спектор.</i> Произведения Андре Моруа в моей библиотеке	61
<i>Уильям Батлер.</i> Размышления о будущем общества экслибрисистов	68
<i>Алексей Чернихов.</i> Уильям Батлер и английское Общество любителей экслибриса	72

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ КНИГ

<i>Алексей Корнеев.</i> Печорин и Печерин	81
---	----

ПОИСКИ И НАХОДКИ

<i>Ким Ляско.</i> Хранилище реликвий. Путешествие по фондам цгали СССР	95
--	----

РЕЗЦОМ И КИСТЬЮ

<i>Б. А. Рыбаков.</i> Искусство стригольников	113
---	-----

Книга в выставочных залах

<i>Нелли Кузнецова. Сказка, увиденная воочию. Биеннале иллюстраций. Братислава, 1985 (БИБ)</i>	125
<i>Валентина Спирианова. Художник и литература. Выставка в Подольске</i>	135
<i>Юрий Молок. Библиофил и современная книга. Заметки с выставки</i>	144

ДЕЛА МИНУВШИЕ

<i>Никита Заболоцкий. «Первоначальный строй его души». К биографии Н. А. Заболоцкого</i>	159
--	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

<i>Алексей Ремизов. Голубой цветок. Фрагменты из книг «Подстриженными глазами» и «В розовом блеске». Предисловие Олега Михайлова. Подготовка текста и примечания Людмилы Букиной</i>	213
<i>Лоренс Блокмэн. Смерть в замке. Перевод, предисловие и примечания Г. А. Толстякова</i>	265

НАША ПОЛКА

<i>Велимир Петрицкий. Хвала ценителям и рачителям книги</i>	289
<i>А. Кузнецов. Сокровища библиотеки Пушкинского дома</i>	293
<i>Л. Наппельбаум. Уроки чтения</i>	296
<i>В. Утков. Золотое дно Сибири</i>	300

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РУБРИКЕ

<i>Александр Блок. «Как тяжело ходить среди людей...»</i>	58
<i>М. Ю. Лермонтов. «Пускай поэта обвиняет...»</i>	91
<i>Слава</i>	92
<i>Сергей Городецкий. Акростих</i>	109
<i>Константин Бальмонт. Пушкин</i>	110
<i>Георгий Шенгели. Отрывок</i>	156
<i>София Парнок. «Вчера ты в этой жизни жил...»</i>	210
<i>Гийом Аполлинер. «Простите невежество мне...» Слон. Гусеница. Перевод с французского М. Кудинова.</i>	286
<i>В. Я. Брюсов. По поводу сборников «Русские символисты»</i>	292
<i>А. С. Пушкин. Эпитафия</i>	295

<i>Именной указатель</i>	303
<i>Коротко об авторах</i>	312
<i>Резюме на английском языке</i>	314

АЛЬМАНАХ ВИБЛИОФИЛА

Выпуск двадцать второй

Редактор ВОР *Л. И. Антипова*
Редактор издательства *М. Я. Фильштейн*
Художественный редактор *Н. Г. Пескова*
Технический редактор *А. З. Коган*
Корректор *И. В. Потемина*

НК

Сдано в набор 27.08.86. Подписано в печать 05.03.87.
А02446. Формат 60×84/16. Бум. офсетная № 1-70 г., мелованная 120 г. Гарнитура школьная. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 18,60+0,93. Усл. кр.-отг. 22,78. Уч.-изд. л. 19,09+0,75. Тираж 50 000 экз. Изд. № 4395. Заказ № 3014.

Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

**ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
«АЛЬМАНАХА БИБЛИОФИЛА»!**

Редакционный совет просит авторов присылать статьи в трех экземплярах, перепечатанные в соответствии с установленными нормативами. Все цитаты в тексте должны сопровождаться ссылками на источники.

Иллюстративный материал просьба присылать в двух экземплярах размером 13×18 см, желательно с негативами.

Необходимо сообщить краткие сведения об авторе и его подробный почтовый адрес.

Редакционный совет рассматривает не только готовые материалы, но и заявки.

Рукописи не возвращаются.

Адрес редакции альманаха: 103009 Москва, Большой Гнездяниковский пер., 10. Телефон 229-23-47.